МАЯКОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ

МАЯКОВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ 1968

МАЯКОВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ

8Р$_2$
М—39



*Под редакцией Л. В. МАЯКОВСКОЙ,
А. И. КОЛОСКОВА*

7—2—2

ОТ РЕДАКЦИИ

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны воспоминания о В. В. Маяковском лиц, близко знавших его, разделявших его взгляды, понимавших значение деятельности великого поэта социалистической революции.

Большинство материалов сборника неизвестно широким кругам читателей, многие публикуются впервые. Некоторые воспоминания (Н. П. Махарадзе-Смольняковой, П. Г. Цулукидзе, Е. А. Лавинской) при жизни авторов не были подготовлены для печати и здесь публикуются в том виде, какими они оставлены ими; редакция позволила себе сделать лишь некоторые сокращения и самые необходимые стилистические поправки. Воспоминания И. Б. Карахана, также не публиковавшиеся при жизни автора, потребовали значительной редакционной обработки, но и в этом случае основные мысли и факты полностью сохранены.

Особый раздел сборника — «Помню Маяковского...» — составляют публикации, в разное время появившиеся в местной печати.

А. А. Маяковская

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАТЕРИ

Памяти моего сына

Володя с четырех лет полюбил книги. Он часто просил меня читать ему. Если я была занята и не могла читать, он расстраивался, плакал. Тогда я бросала все дела и читала ему — сначала сказки, а затем басни Крылова, стихотворения Пушкина, Некрасова, Лермонтова и других поэтов. Читала я ему ежедневно.

Сказки его занимали недолго — он просил прочесть что-нибудь «правдушное». Особенно любил Володя стихи. Те, что ему нравились, он просил прочесть два-три раза, запоминал с моих слов и хорошо, выразительно читал наизусть.

Я ему говорила:

— Володя, когда ты научишься читать, тогда не нужно будет просить кого-нибудь — будешь читать сам сколько захочешь.

Игры ему придумывала сестра Оля Она была старше брата на три года и относилась к нему ласково и заботливо. Володя во многом подражал ей: например, Оля забирается на дерево — и он пытается залезть.

В это время мы жили в Грузии, в селе Багдади [1], в Багдадском лесничестве. Мы приехали туда в октябре 1889 года из Армении, где жили сначала в селе Караклис, а затем в селе Никитинка Александропольского лесничества, бывшей Эриванской губернии. Мой муж, Владимир Константинович, был лесничим.

С нами приехал уроженец Дагестана лезгин Имриз Раим-оглы. Он знал русский язык и поступил служить

[1] Ныне районный центр Маяковски Грузинской ССР.

объездчиком. Объездчики охраняли отдельные участки лесничества. В Багдадском лесничестве их было восемнадцать человек. Все, кроме Имриза, грузины.

Багдадское лесничество занимало большое пространство. Вокруг высокие горы, покрытые густым лесом разных пород. В лесу много зверей: оленей, джейранов, медведей, диких кабанов, лисиц, зайцев, белок — и множество птиц.

Объездчики иногда приносили маленьких зверей и птиц. Володя очень любил животных. Любовь к животным сохранилась у него на всю жизнь.

В то время Багдади было глухим селом. Там не было ни школ, ни учителей, ни врачей. Как и все окружающие, в трудном положении оказались и мы.

Заболели скарлатиной дети — Люда и Костя. Нужно было ехать двадцать семь километров в город Кутаис за доктором.

Имриз, видя наше волнение, предложил привезти врача.

Тогда не было автомобилей, и между Кутаисом и Багдади ходили дилижансы — большие, на двенадцать человек, экипажи, запряженные четверкой лошадей. Дилижанс отходил только утром. Дети чувствовали себя очень плохо, и Имриз ушел ночью пешком на станцию Рион, находившуюся в двенадцати километрах от Багдади. Поездом доехал он до Кутаиса и оттуда на извозчике утром привез врача.

Болезнь протекала в тяжелой форме. Трехлетний Костя не перенес ее.

Очень плохо было с учением детей. Старшую дочь, Люду, отвезли в Тифлис. Там жили наши родственники, но Люде у них негде было поместиться. Пришлось устраивать ее в закрытое учебное заведение. В нем она училась и жила. Тяжело было это и для нас и особенно для нее — вдали от родного дома, в казенной обстановке с особым режимом. Хорошо, что родственники навещали ее. Особенно заботился о ней дядя, Михаил Константинович Маяковский.

В Багдади зимы настоящей не было. Шли дожди, падал мокрый снег, дул сильный ветер. Ночи были темные.

Дома в Багдади окружены садами, виноградниками, огородами. А дальше — горы и леса.

Лес был от нашего дома очень близко, а дома построены на большом расстоянии друг от друга. Соседей близко не было.

К дому подкрадывались шакалы. Они ходили большими стаями и визгливо завывали. Вой их был страшен и неприятен. Я тоже впервые здесь услыхала этот дикий, с надрывом вой. Дети не спали — боялись, а я их успокаивала:

— Не бойтесь, у нас хорошие собаки и близко их не подпустят.

В зимние каникулы мы устраивали елку. Имриз выбирал в лесу и привозил в дом большую, красивую елку, помогал украшать ее. Приезжали из Тифлиса Люда, а из Кутаиса — родственники и знакомые с детьми.

Для детей это был настоящий праздник. Вместе со взрослыми они встречали Новый год, им разрешали в эту ночь ждать двенадцати часов.

Дети нетерпеливо посматривали на стрелки часов. Когда стрелка подходила к двенадцати, детям наливали лимонаду, а взрослым — вина и торжественно всех поздравляли с Новым годом. Освещенная елка и сладкий пирог в этот вечер казались особенными.

Каникулы проходили быстро, и наступало время занятий. Все уезжали, и мы вновь оставались одни.

Ранняя весна. Тепло. Цветут фиалки и розы. Фруктовые деревья покрываются белыми и розовыми цветами, а гранатовые — красными. Чистый весенний воздух, ясное голубое небо Дом освещен солнцем.

Дети рано просыпаются и говорят:

— Папа встал, открыл окна и уже разговаривает по-грузински с пришедшими за билетами на рубку леса крестьянами. Давайте одеваться и пойдем в сад.

В семь часов на балконе пили чай, и у взрослых начиналась трудовая жизнь. А Оля и Володя придумывали какие-нибудь развлечения или уходили к речке. Там Володя бросал камни в воду и обычно говорил:

— Я левой рукой бросаю, а они дальше летят...

В раннем детстве он больше владел левой рукой, а когда подрос — одинаково правой и левой

На берегу речки Оля и Володя брали серую глину и делали из нее на балконе разные фигурки. Когда глина высыхала, фигурки распадались.

Любили дети с папой по вечерам сидеть на ступеньках балкона и петь. Он их обнимал, и они хором пели русские песни: «Румяной зарею покрылся восток», «Как ныне сбирается вещий Олег», «По синим волнам океана», «Есть на Волге утес», «Укажи мне такую обитель», «Я видел березку», украинскую песню «Баламутэ, выйды з хаты», грузинскую «Сулико» и другие песни, которые знали дети.

Это была для него передышка — он начинал работать с шести часов утра и работал до двенадцати часов ночи.

В Багдади все жители были грузины, и только одна наша семья — русская. Наши дети играли с соседскими детьми и от них учились грузинскому языку. Оля подружилась с девочкой Наташей Шарашидзе Они разговаривали по-грузински, и от них выучился грузинскому языку Володя.

Дети знакомятся и сближаются всегда скорее, чем взрослые...

Мы жили просто. Работать и мне приходилось много: от раннего утра до позднего вечера. Нужно было заботиться о детях: поддерживать чистоту, давать образование, воспитывать.

Нужно было внимательно следить, чтобы у детей не появлялись плохие черты характера и привычки. Я старалась направлять их на лучший путь, терпеливо и спокойно объясняла им все, оберегала от плохих влияний.

Наступили летние каникулы 1898 года. Приехала Люда, почти взрослая. Она хорошо рисовала, и когда садилась рисовать, к ней присоединялись Оля и Володя.

Люда читала вслух книги, стихи, гуляла с младшими.

Кроме нее приезжали на лето племянницы Саша и Леля Киселевы и их брат Миша.

В июле у нас в семье большой праздник.

Володя родился в день рождения отца — 7 июля (по новому стилю 19 июля) 1893 года,— поэтому его и назвали Владимиром. Праздновали рожденье Володи и отца в один день.

К нам приезжали гости — родственники и знакомые с детьми. Имриз старался к этому дню настрелять дичи, а в день приезда гостей из Кутаиса он празднично оде-

вался и вместе с детьми ходил встречать гостей, приезжавших в дилижансе. В этот день всегда было шумно, весело и радостно.

Знакомство у нас было многонациональное: грузины, армяне, поляки. В то время часть Польши входила в состав Российской империи. Молодежь, оканчивавшая высшие учебные заведения в Варшаве и Петербурге, частично направлялась служить на Кавказ, в города Тифлис и Кутаис и в селения. В грузинском селе Багдади были молодые поляки — юристы. Они хорошо говорили по-русски, работали в суде при помощи переводчиков с грузинского языка. Они бывали у нас, отношения с ними установились хорошие. Из Кутаиса к нам также приезжали знакомые поляки.

Гости чувствовали себя у нас хорошо и свободно, пели русские, украинские и грузинские песни; поляки танцевали польские танцы.

7 (19) июля 1898 года Володе исполнилось пять лет, он получил много подарков. К этому дню Володя выучил стихотворение М. Ю. Лермонтова «Спор», хорошо и очень выразительно прочитал его наизусть — конечно, не до конца, однако довольно много строф для пятилетнего мальчика.

Как-то раз перед толпою
    Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою [1]
    Был великий спор.
«Берегись! — сказал Казбеку
    Седовласый Шат,—
Покорился человеку
    Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
    По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
    Загремит топор;
И железная лопата
    В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
    Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
    Через те скалы́,
Где носились лишь туманы
    Да цари-орлы.

[1] Шат — Эльбрус.— *Примечание Лермонтова.*

Люди хитры! Хоть и труден
Первый был скачок,
Берегися! многолюден
И могуч Восток!»

Володино чтение хвалили.

Память у него была очень хорошая — он запоминал много стихов. Особенно ему нравилось стихотворение А. Н. Майкова «Пастух»:

Был суров король дон Педро,
Трепетал его народ,
А придворные дрожали,
Только усом поведет...

и стихотворение Ф. Н. Глинки «Москва»:

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!

В Багдади в то время не было никаких культурно-просветительных организаций и учреждений для детей. Это сейчас дети Советского Союза имеют детские площадки, библиотеки, кино, театры, Дворцы пионеров, парки культуры, стадионы, а тогда им самим приходилось находить занятия и развлечения.

Володя и Оля любили ходить в горы, в лес, купаться в речке, особенно любили бывать на водяных мельницах. Там они смотрели, как крестьяне мелют кукурузное зерно, как с шумом спадает вода. Знакомились и разговаривали по-грузински с крестьянами и их детьми.

В лесничестве обычно бывало много дела. Ранним утром приходили крестьяне за билетами на порубку леса. Большой двор наполнялся людьми, приезжали с участков объездчики. Около дома стояли арбы — местные повозки на двух колесах, запряженные волами.

У отца было много разъездов по лесничеству. Случались пожары, появлялся в лесу червяк-короед — нужно было принимать меры. Заготовляли семена деревьев разных пород и отсылали их в Россию

В 1899 году мы поселились в каменном доме. Место, где был расположен дом, называлось «крепостью», но от старинной крепости остался только вал вокруг дома и ров, заросший кустарником.

Наша квартира находилась в верхнем этаже, а в нижнем был подвал хозяина, где приготовляли и хранили вино. Нас угощали свежим виноградным соком, который по-грузински называется «маджари».

Во двор выставляли пустые кувшины для хранения вина — в Грузии их называют «чури»,— такие большие, что в них свободно помещался рабочий, чистивший и промывавший эти кувшины.

Когда эти чури лежали на земле боком, в них залезал Володя и говорил сестре:

— Оля, отойди подальше и послушай, хорошо ли звучит мой голос.

Он читал стихотворение «Был суров король дон Педро...». Чтение получалось звучное и громкое.

В это время Володе было шесть лет.

Для хранения вина кувшины зарывались в землю. Однажды в крепости копали яму для чури. Нашли старинную монету и решили, что в давние времена, вероятно, здесь были зарыты драгоценности. Володя и Оля заинтересовались этим рассказом взяли ножи и долго копали ямки. Выкопали несколько ямок и убедились, что никаких кладов там нет. Но какую-то старинную монету они все-таки нашли и были горды и довольны.

Володя был еще маленьким, но любил общество взрослых. Они с ним занимались, читали, разговаривали, играли. Володя любил участвовать в играх взрослых.

Помню, игра была такая: играющий начинал читать стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-либо из играющих — тот должен был закончить стихотворение. Володя принимал участие в игре наравне со взрослыми Или затевалась игра на придумывание возможно большего количества слов на какую-либо букву. Когда взрослым уже надоедала игра и они затруднялись называть слова, Володя все еще энергично продолжал придумывать. Эта игра его очень увлекала.

Володя часто проявлял настойчивость и умел заставить взрослых подчиниться его желанию продолжать игру. Причем в таких случаях всю организацию игры он обычно брал на себя, склоняя на свою сторону даже тех, кто уже устал и не хотел больше играть.

Володя был любознательный, интересный мальчик, и все с ним охотно проводили время. Особенно любил Володя Мишу Киселева, своего двоюродного брата, который был старше его на девять лет. Миша с большим вниманием и любовью относился к Володе.

Летом у нас всегда было много учащейся молодежи. Устраивали прогулки в лес и в горы. Володя не отставал и взбирался на горы вместе со взрослыми. Вечером небо покрывалось миллионами ярких звезд. Летали жучки-светлячки, похожие на летающие звездочки. Володя ловил их, рассматривал, почему они светят. Носились летучие мыши.

После знойного дня наступал прохладный вечер. Дул свежий ветер из ущелья. Спать никому не хотелось. Придумывали игры, пели хором кто как мог, взрослые и дети Кругом — тишина, и слышно только журчанье и плеск речки.

В Багдади протекает быстрая речка Ханисцхали. В ней ловилась вкусная форель, и мы часто ее ели.

Обычно с утра к дому подъезжали объездчики Володя бежал им навстречу, они сажали его на лошадь, и он въезжал во двор.

Имриз часто доставлял ему это удовольствие: брал за уздечку лошадь, на которой сидел шестилетний Володя, и водил ее по двору, таким образом выучил его ездить верхом на лошади.

По соседству с нами находились большие виноградники — там женщины собирали виноград и приглашали Володю и Олю. Они говорили: «Русские дети, а как хорошо говорят по-грузински!» — и угощали их виноградом, а Володя и Оля помогали собирать его.

Время сбора винограда было всегда праздником в селе Багдади: это район хороших сортов винограда.

Каждое лето во время каникул мы всей семьей выезжали в глубь лесничества — на Зекарские минеральные воды. Там в узком ущелье были построены деревянные бараки, заменявшие гостиницу. Мы занимали две большие комнаты.

В ущелье пахло серой. Мы поднимались выше, на полянку, покрытую сочной травой и цветами, и там дышали свежим воздухом, играли в крокет. Устраивали прогулки в лес с большой компанией учащихся. После прогулки с удовольствием ужинали в лесу, расстелив

на траве скатерть. Какими вкусными казались грузинский сыр, яйца, холодная баранина и огурцы!

В горах, как только заходит солнце, быстро темнеет. Возвращаться приходилось с факелами, которые освещали путь. Володя старался быть около Миши.

Провожали нас Имриз и два других объездчика с ближайшего участка.

Было темно и жутко в высоких горах: стояла полная тишина и только шумела река. Случалось, по дороге переползали змеи, мы боялись на них наступить. В этой тишине и темноте мы пели песни, которые эхом отдавались в лесу.

Летом все хорошо поправлялись на чистом воздухе, вдоволь питались фруктами.

Осенью 1899 года Оля уехала с Людой в Тифлис и поступила в то же учебное заведение, где училась сестра. Володя очень скучал — он привык быть вместе с Олей.

Зимой становилось пусто, скучно, спасали только книги и журналы. Мы выписывали постоянно «Ниву» с приложениями классиков — этих книг набралось много,— журналы «Вокруг света» и «Юный читатель». Один год получали журнал «Родина». Володю этот журнал заинтересовал тем, что там были юмористические картинки, карикатуры и шарады. Володя раскрывал журнал и, не умея читать, звал Олю прочесть. Но этот журнал оказался реакционного направления, и больше мы его не выписывали.

Володе семь лет. Он уже хорошо читает и начал готовиться к поступлению в гимназию. Он выучился ездить верхом на лошади, и папа брал его с собой в разъезды по лесничеству. Я очень беспокоилась, так как дороги были опасные, но объездчики мне говорили: «Мы будем за ним смотреть».

В лесу, на одном из участков лесничества, Володя впервые увидел электрический свет. Он был в восторге. Там в ущелье расположился завод, где распиливали доски и делали клепки для бочек. Позднее инженер пригласил нас осмотреть этот завод. Мы пробыли на нем весь день, а вечером выехали при электрическом освещении.

Читать по азбуке Володю никто не учил. Неожиданно для всех, когда ему было около шести лет, он незаметно выучился читать. Однако собственное чтение казалось ему очень медленным, и он просил взрослых читать ему вслух.

«Птичница Агафья», о которой он пишет в своей автобиографии, была первой книгой, которую Володя сам взял из шкафа читать.

Книжка эта — с картинками, напечатана крупным шрифтом, для детей. Он ее прочитал, и она ему не понравилась. Вторая — «Дон-Кихот» — ему очень понравилась. Об этом он также говорит в автобиографии.

Писал Володя еще плохо, арифметику тоже знал плохо. Нужно было серьезно начать подготовку в гимназию.

В Багдади учителей не было — мне пришлось переселиться с сыном в Кутаис. В Багдади остался Владимир Константинович и с ним моя мать. Володина бабушка.

Поселились мы у нашей хорошей знакомой, Юлии Феликсовны Глушковской. Она давала уроки и занималась с Володей.

Володя с удовольствием учился у нее. Она умело подходила к детям, ласково к нему относилась. Много с Володей читала и умела его заинтересовать занятиями.

Но в Кутаисе не было свободы и простора: маленький дворик, высокий каменный забор; ворота запирались и днем. На улицу выбегать нельзя было — запрещалось. Хозяин оберегал свое хозяйство — боялся, чтобы кто-нибудь не вошел во двор и не стащил вещи, которые лежали во дворе. Калитка тоже запиралась. У калитки был приделан колокольчик, и когда звонили — хозяин или кто-нибудь из семьи открывал ее. Таков был порядок.

В комнатах с крашеными натертыми полами нужно было ходить по узким дорожкам, разостланным по всему дому.

Хозяин, старый ветеринарный врач, был придирчив и груб. Он покрикивал на Володю: «Ходишь по полу и не видишь, что постланы дорожки! Ты не в лесу!»

В окне комнаты, где занимался Володя, висела клет-

ка с канарейкой. Володя с грустью посматривал на нее, так как до этого видел только свободно летающих птиц, поющих в лесу.

Володя дружил с сыном Юлии Феликсовны, который был на восемь лет старше его Старший товарищ часто брал с собой Володю, и они уходили гулять по городу.

По субботам приезжал из лесничества отец и старался доставить удовольствие мальчикам: угощал их сладостями в кондитерской, иногда водил в цирк, ездил с ними за город на извозчике.

В это время наша семья жила в трех местах. Всем было тяжело, но другого выхода не было — нужно было дать детям образование.

На зимние каникулы все съезжались в Багдади и там хорошо, дружно и весело проводили время; так же проходили и весенние каникулы.

Весной 1901 года Люда кончила семь классов. По случаю окончания ею курса мы решили всей семьей поехать в Сухум, где жили наши знакомые Туркия, родители подруги Люды. Они пригласили нас к себе погостить.

Мы доехали до Батума поездом, а оттуда в Сухум — пароходом.

Погода стояла хорошая. Черное море было тихое, красивое. Солнце как будто опускалось в воду, и отражение лучей в море представляло чудесное зрелище.

Это путешествие доставило всем большое удовольствие, особенно впечатлительному и любознательному Володе. Он был одет в матросский костюм, оживленно разговаривал с пассажирами, капитаном, матросами. Мы не могли уследить за ним, так быстро он бегал по пароходу. Ему хотелось все увидеть, все осмотреть.

В Сухуме тогда пароходы не подходили к пристани. Нас встретила семья Туркия. Они на лодке подплыли к пароходу и забрали нас.

Приняли нас в Сухуме очень хорошо. Мы много гуляли, осматривали город.

Володю заинтересовал маяк. Ему объяснили устройство и назначение маяка: он далеко светит и указывает путь морякам. Володя поднялся наверх и сказал Оле:

— Жаль, что я не залез один и не посмотрел вниз, какой ты была бы маленькой.

Маяк произвел на Володю такое сильное впечатление, что впоследствии, став поэтом, он написал для детей книжку «Эта книжечка моя про моря и про маяк». В конце книжечки он обращается к детям со словами:

— Дети,
будьте как маяк!
Всем,
кто ночью плыть не могут,
освещай огнем дорогу.

Сам он с детства мечтал жить так, чтобы своими делами освещать людям путь к светлому будущему.

Ему было приятно, когда школьные товарищи, сокращая фамилию, называли его «Володя Маяк».

Обратный путь из Сухума в Батум мы совершили также морем. Была сильная качка, и волны заливали пароход. На детях качка не сильно отразилась, их очень интересовало бурное море. Я же весь путь пролежала в каюте, и мне было плохо. В Батум приехала больная.

Люда после хорошо и интересно проведенного лета уехала в Тифлис — заканчивать последний, восьмой, педагогический класс.

Я переехала с младшими детьми в Кутаис. Олю перевели в кутаисскую гимназию, а Володя продолжал подготовительное обучение.

В эту зиму занималась с ним очень хорошая молодая учительница Нина Прокофьевна Смольнякова. У нее был еще один ученик, тоже Володя; он приходил к нам, и Нина Прокофьевна занималась с ними вместе. Наш Володя занимался усердно, проявляя большие способности и любознательность.

В конце декабря Володя заболел дифтеритом. Ему сделали прививку и предохранительную — Оле. К нему никто не заходил. За ним ухаживала я.

Когда Володе стало лучше, около его кровати поставили елку. Но это его не развлекало, ему хотелось поскорее встать.

На праздничные каникулы приехали Люда из Тифлиса и папа из Багдади. Все же было невесело: беспокоились за Володю.

В мае 1902 года Володя держал экзамены в гимназию.

Я сшила ему синие длинные суконные штаны, белую матросскую рубашку, пришила на рукав синий якорь и купила матросскую бескозырку с лентой и надписью: «Матрос». Володе очень нравился этот костюм.

Экзамены в приготовительный класс выдержал он отлично, только неправильно объяснил священнику-экзаменатору, что такое «око». Он не знал, что глаз по-церковнославянски называется «око», и сказал: «Три фунта». «Ока» по-грузински мера веса, равная трем фунтам.

В последний день экзаменов у Володи повысилась температура — он заболел брюшным тифом. Я осталась с ним в Кутаисе, а Люда и Оля уехали в Багдади, к отцу.

Болезнь Володи протекала в тяжелой форме, и мы очень беспокоились. Ухаживала за ним тетя, Анна Константиновна. Она работала сестрой милосердия в военном госпитале. Володя ее очень любил и называл тетей Анютой.

Доктор приходил к Володе два раза в день и принимал все меры, чтобы помочь ему. Он говорил: «Если нужна будет помощь — приходите за мной даже ночью».

Володе давали только суп из курицы, а когда ему стало лучше и захотелось есть, он попросил:

— Я хочу курицу! Пойдите к доктору.

Было двенадцать часов ночи, но Володя настойчиво просил пойти:

— Ведь доктор сказал, что к нему можно приходить и ночью!

Лежать Володе не хотелось. Он был очень подвижной и нетерпеливый. Все время просил читать ему.

Наконец Володе стало лучше. Пришел врач и разрешил ехать в Багдади.

— Но только беречься, не пить сырой воды!

Эти слова Володя запомнил навсегда. В Кутаисе не было водопровода, и жители пили воду из реки Рион, отстаивая ее квасцами. Мы всегда пили в Кутаисе кипяченую воду; Володя, вероятно, напился сырой воды вне дома.

В Багдади за лето Володя хорошо поправился.

Осенью вся наша семья, кроме отца, переехала в Кутаис. Взяли с собой больную бабушку, Евдокию Ни-

каноровну, мою мать. Приехала Люда, закончив восьмой класс.

Володя надел гимназическую форму и 1 сентября пошел в гимназию, в которой учились раньше отец и дядя. Оля перешла во второй класс. Во вторую половину учебного года Люда решила поступить учительницей, и отец устроил ее на работу.

В нашей дружной семье не хватало только отца. Ему пришлось одному жить в лесничестве. Он очень скучал без детей, и приезд его в Кутаис был настоящим праздником. Приходили родственники, знакомые. Отец любил, чтобы в короткие дни его приезда дети были дома. Он старался доставить им возможно больше удовольствий, со старшими ходил в театр и на вечера.

Володя и Оля учились хорошо, получали пятерки.

В гимназию их провожала маленькая собачка Угрюм. Она хорошо знала дорогу и всегда возвращалась домой. Но случилось, что она на несколько дней пропала. Володя и Оля расстроились, всюду ее искали и очень обрадовались, когда она вернулась.

Все мы очень любили животных.

По возвращении Люды из Тифлиса в доме стало веселее. К ней приходила молодежь, окончившая учебные заведения, студенты. Читали, спорили, танцевали, веселились. К Оле и Володе тоже приходили учащиеся.

Жили мы в доме Читава, недалеко от госпиталя и казарм Куринского полка. Квартира была хорошая. Купили у знакомых рояль, и Оля училась музыке. К ней приходила учительница.

Новый, 1903 год встречали в Кутаисе. Собралось много молодежи, родственников. Устроили елку. Знакомые пианистки играли на рояле, все танцевали, играли в разные игры.

Мы с радостью смотрели на оживленную, веселую молодежь и были довольны, что доставили им удовольствие.

Праздники проходили быстро.

В будни все занимались своими делами, много читали. Мы получали произведения Горького, Чехова, Короленко и других новых писателей. Новинки интересовали всех. Читали журналы, газеты. Обсуждали, спорили, говорили о литературе и политических событиях.

В этот год весной от болезни сердца умерла Володина бабушка, Евдокия Никаноровна Павленко.

На лето мы все переехали в Багдади, где было легко и привольно.

В это лето Володя особенно много читал и увлекался астрономией — приложением к журналу «Вокруг света» была дана карта звездного неба. По вечерам Володя любил ложиться на спину и наблюдать небо, густо усеянное яркими крупными звездами. Много позже в одном из своих стихотворений он писал:

Если б я
поэтом не́ был,
я бы
стал бы
звездочетом.

Как всегда, побывали в глубине лесничества, ездили на Зекарские минеральные воды, отдохнули.

К началу учебного года нужно было возвращаться в Кутаис.

Квартиру сняли в доме Чейшвили, на Гегутской улице, № 35. Теперь это улица Цулукидзе. На этой улице жил Александр Цулукидзе — революционер, большевик, который вел тогда революционную работу вместе с И. В. Сталиным.

В доме Чейшвили было четыре комнаты. Большая комната направо по коридору была перегорожена ширмой, которая легко передвигалась. За ширмой стояла кровать Володи и стол у окна. Получалась отдельная комната. Когда Володя ложился спать, он задвигал ширму.

Володя аккуратно содержал свои вещи, не разбрасывал их. Книги стопочками лежали на столе и на окне. Он рисовал, выпиливал, переплетал книги и затем все убирал. Володя любил порядок, и ему никогда не нужно было напоминать об уборке. Когда оставались на полу бумажки, опилки, обрезки, он всегда выметал сам — мне никогда не приходилось за ним убирать.

Эта привычка осталась у него на всю жизнь. Уже взрослым, когда он много ездил по городам Советского Союза, где читал свои стихи и делал доклады, он каж-

дый раз, уезжая из Москвы, сам приводил в порядок свою комнату.

Отец, приезжая из лесничества, спрашивал:

— Чем Володя занимается и что сделал?

Володя показывал переплетенные книги, выпиленные вещи, рисунки. Он любил делать из ненужных вещей что-нибудь полезное.

Володя познакомился с соседями-грузинами — учениками старших классов, которые были старше его и летами. Чаще всех заходили к нам Коля Андриадзе, Ефрем Закарая и Кико Мурусидзе. С ними дружила и Оля.

Люда в тот год преподавала в городской школе; вечерами, три раза в неделю, ходила на уроки рисования к художнику Краснухе.

Она готовилась поступить в Строгановское художественно-промышленное училище.

Люда показала художнику Володины рисунки. Они ему понравились, и он предложил заниматься с Володей бесплатно. Володя ходил с сестрой и усердно занимался.

Когда у нас собиралась учащаяся молодежь и начинались танцы, звали танцевать и Володю. Он всегда отказывался, уходил к товарищам в соседний двор и играл в городки. Он любил эту игру.

Играли и в другие игры, которые Володя сам придумывал по прочитанным книгам. Об этом много позже вспоминал он в стихотворении «Мексика»:

Помнишь,
            из-за клумбы
стрелами
            отравленными
                                    в Кутаисе
били
      мы
            по кораблям Колумба?

Весной и летом до отъезда в Багдади любимым местом прогулок Володи была река Рион. Он купался, играл с товарищами. Однажды он стал тонуть, но его спасли купавшиеся солдаты.

Володя поражал всех своим развитием и знаниями. Уже в эти годы он проявлял свое определенное отношение к людям. Бывало, предложишь ему идти в семью

Селезнева, он охотно согласится. Николай Платонович Селезнев, юрист, увлекательно рассказывал о жизни в Петербурге, в Сибири, где ему приходилось жить и работать по окончании университета. К Володе он относился ласково, внимательно, с большим интересом, называл его своим приятелем; играл с Володей в шашки, учил его играть в шахматы.

Когда я звала Володю к другим знакомым, где были его сверстники, Володя возражал:

— Что я буду с ними делать? У них скучно!

У нас продолжали собираться любители чтения: приходили Суворовы — помощник кутаисского лесничего с женой, окончившей Высшие женские курсы. Они привезли много книг из Петербурга. Сообща выписывали мы книги и журналы в Кутаис, читали, обсуждали прочитанное. Володя тоже всегда присутствовал, любил слушать, иногда задавал вопросы и принимал участие в обсуждении.

Заметно проявлялся его характер и в отношении к товарищам. Он дружил с грузинскими мальчиками. Прибегая после игры домой, он спрашивал меня, можно ли пригласить товарищей на чай и ужин. Володя любил пончики, и когда я давала ему деньги на завтрак в школе, он просил добавить, чтобы угостить товарищей.

Дети любили ходить в театр, где играла труппа Месхишвили. В Кутаис часто приезжали знаменитые артисты того времени из Петербурга, Москвы, Тифлиса.

Время шло быстро...

Новый, 1904 год мы встретили в Кутаисе. Нас приглашали на встречу Нового года в клубы. Клубы эти были для военных. Мы не хотели оставлять детей одних в этот день, пригласили к нам в дом их товарищей и подруг, устроили елку. Дома, с детьми, друзьями и родственниками, мы и провели этот вечер.

Год был тяжелый.

В январе 1904 года началась русско-японская война. Настроение у всех было тревожное. Приходила из госпиталя тетя Анюта и много рассказывала о раненых, о мобилизации.

Володя, бывая у Селезнева, разговаривал с ним о войне, следил по карте, висевшей у него на стене, за продвижением русской эскадры.

На лето мы опять уехали в лесничество и жили в Нергиети, соседнем с Багдади селении.

Володя с увлечением систематически читал газеты и журналы, которые мы выписывали. В это время ему было одиннадцать лет. Знакомый инженер с завода тоже оставлял нам на день много своих газет и журналов.

Почту в Багдади привозили дилижансом к двенадцати часам дня. Из Нергиети до Багдади — четыре километра. Володя ежедневно ходил в Багдади получать почту. По дороге он читал газеты. По шоссе можно было ходить спокойно: медленно тащились арбы, изредка проезжали на лошадях верховые.

До́ма принесенные Володей газеты и журналы читали вслух. Он также слушал.

Володе хотелось прочесть как можно больше. Он брал журналы, книги, звал собак, набирал в карманы фруктов, а собакам — хлеба, уходил подальше в сад и ложился под дерево. Собаки Вега и Бостон ложились тут же на траве и «сторожили» его Там он проводил время спокойно, читал много, и ему никто не мешал.

В августе 1904 года Люда собралась ехать в Москву учиться. Провожал ее отец. Он хотел посмотреть Москву и лично познакомиться с тем, как Люда устроится в большом городе. Она остановилась в семье подруги Т. А. Плотниковой, с которой училась в Тифлисе.

Люда выдержала конкурсный экзамен в Строгановское художественно-промышленное училище.

С нетерпением мы ждали возвращения отца из Москвы. Он рассказал нам много интересного о Москве и о дороге. Володя слушал рассказы отца с большим вниманием и много расспрашивал о Москве. Его все интересовало. С тех пор его всегда тянуло в Москву.

Володя перешел во второй класс, а Оля — в четвертый. После отъезда Люды они почувствовали себя взрослыми. Переписывались с сестрой, много читали, интересовались общественной жизнью, жизнью современной и прошлой.

Я рассказывала Володе о наших предках.

Дедушка Константин Константинович Маяковский служил в городском управлении города Ахалциха. Он

был русский, его предки происходили из казаков Запорожской Сечи. Дедушка Алексей Иванович Павленко, мой отец,— украинец, из бывшей Харьковской губернии. Его родные говорили только на украинском языке. Дедушка служил в 155-м пехотном Кубинском полку на Кубани, затем был переведен в Армению. В русско-турецкую войну 1877—1878 годов в звании капитана он погиб в Эрзеруме от тифа.

Бабушка Ефросинья Осиповна Маяковская, урожденная Данилевская, двоюродная сестра писателя Г. П. Данилевского, была из города Феодосии. Бабушка Евдокия Никаноровна Павленко, урожденная Афанасьева, моя мать, жила в юности на Кубани, в станице Терновской, а потом переехала с мужем в Джалал-Оглы, в Армению, так как туда был переведен Кубинский полк.

Володя внимательно выслушал мой рассказ. Он знал только бабушку Евдокию Никаноровну. О других сказал:

— Я никого не видел и не знаю...

И больше к этому разговору никогда не возвращался. Но все, что я ему рассказала о прошлом нашей семьи, когда ему было одиннадцать лет, он запомнил и потом, спустя много лет, в стихотворении «Нашему юношеству» писал:

я —
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.

9 января 1905 года началась первая русская революция. В Кутаисе, как и по всей стране, происходили волнения среди рабочих, солдат и учащихся.

Володя вместе с товарищами по гимназии разучивал на грузинском языке «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу» и другие революционные песни.

Весной 1905 года на берегу бурной реки Рион собирались сходки революционно настроенной молодежи и солдат. Там произносились горячие речи. Володя бывал на этих сходках.

В начале июня 1905 года из Москвы на каникулы

приехала Люда, и мы все вместе отправились на лето в Багдади.

Люда привезла политическую литературу, легальную и нелегальную, и давала читать Володе, так как нашла его очень повзрослевшим и интересующимся политическими вопросами. Ему было тогда двенадцать лет.

Люда дала прочитать Володе два запрещенных тогда стихотворения. Одно из них призывало солдат не слушаться царского правительства, которое посылало их на усмирение революционных восстаний. В другом стихотворении высмеивался царь Николай Второй.

На Володю эти нелегальные стихи произвели огромное впечатление. Он вспоминал их в своей автобиографии:

«Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове».

В августе Люда снова уехала в Москву. Перед ее отъездом мы сфотографировались всей семьей.

Занятия в учебных заведениях шли плохо. Мы получали от Люды волнующие и интересные письма. В свою очередь, мы сообщали ей о наших событиях. Оля и Володя обо всем писали сестре. Эти письма конца 1905 года сохранились.

В одном из них Володя писал:

«Дорогая Люда!

Прости, пожалуйста, что я так долго не писал. Как твое здоровье? Есть ли у вас занятия? У нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви «Марсельезу». В Кутаисе 15-го ожидаются беспорядки, потому что будет набор новобранцев. 11-го здесь была забастовка поваров. По газетам видно, что и у вас большие беспорядки...

Целую тебя крепко.

Твой брат
Володя».

В другом письме Володя сообщал сестре:

«Дорогая Люда!

Мы получили твое письмо 1-го и сейчас же все уселись писать. Пока в Кутаисе ничего страшного не было,

хотя гимназия и реальное забастовали, да и было зачем бастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во дворе, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне. Новая «блестящая победа» была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретом Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Два дня продолжалось это избиение. Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот.

Кутаис тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки «Марсельезы». Здесь тоже пели «Вы жертвою пали», когда служили панихиду по Трубецкому [1] и по тифлисским рабочим.

Пиши мне тоже.

Целую тебя крепко.

Твой брат
Володя».

События кутаисской и гимназической жизни 1905 года находили отражение также в письмах Оли, ученицы пятого класса кутаисской женской гимназии. Она писала сестре в Москву:

«Сегодня получила твою открытку. Володя тоже перешел в третий класс, что уже тебе должно быть известно.

У нас в Кутаисе полицейских и шпионов, как собак, душат. Позавчера ранили двух полицейских и одного пристава. Один из них уже умер, а два пока живы...

Сегодня у нас сходка по тому поводу, чтобы сбавили нам прибавленные десять рублей [2]. Я, конечно, первая согласилась подать требование. Сегодня я все утро с Коргановыми [3] ходила по домам собирать на сходку. Я маме сказала, что я иду на сходку, и мама разрешила, это очень приятно.

---

[1] Ректор Московского университета, убитый черносотенцами.

[2] До революции обучение в средней школе было платным. В данном случае ученики протестовали против повышения платы.

[3] Г. Н. Корганов был видным революционным деятелем. В 1918 году он был зверски расстрелян англо-французскими интервентами в числе двадцати шести бакинских комиссаров. О. В. Маяковская дружила с сестрой Корганова.

...Сегодня у гимназистов должен быть молебен перед ученьем, а они заставили служить панихиду по убитым в Тифлисе».

«...Здесь реалисты и гимназисты бастуют до тех пор, пока не снимут военное положение. Представь, до чего озверела полиция!

В старом здании реального училища «на всякий случай» стоят пушки. Поневоле им приходится бастовать, да я думаю, что и из родных никто не пустит своих детей. У нас была целую неделю забастовка, а вчера начались занятия, учениц приходит по пяти или шести из каждого класса.

...После окончания речей мы по улице прошли с «Марсельезой», но полиция не вмешивалась. У нас теперь собираются хулиганы пройти по улицам с портретом Николая. И тогда, конечно, произойдет та же история, что и в Тифлисе».

В других письмах она сообщала:

«...Мы сегодня потребовали отслужить панихиду по Трубецкому, а также и по убитым в Тифлисе.

В мужской гимназии тоже потребовали отслужить панихиду, после которой они в церкви же стали петь «Вы жертвою пали». Теперь мужская гимназия закрыта».

«...Володя сегодня первый раз пошел в гимназию, и с первого же раза гимназисты потребовали себе залу для совещания. Они решили требовать удалить плохих учителей, а также, кажется, и директора, а в противном случае будут бастовать».

Двенадцатилетний Володя весь отдался событиям, которые он переживал с исключительной активностью. Он ходил радостный и гордый. Часто повторял: «Хорошо!» Он настолько интересовался революционными событиями, что знал обо всем происходящем в городе.

На Гегутской улице, недалеко от нас, помещался социал-демократический комитет. Володя отнес в комитет казенные ружья, которые отцу полагалось иметь для разъездов по лесничеству.

В октябре 1905 года Володя участвовал в политической демонстрации протеста, которая была устроена в Кутаисе в связи с похоронами в Москве большевика Н. Э. Баумана, убитого черносотенцами.

У нас сохранились некоторые книжки и брошюры, которые Володя читал в 1905 году. С большим старанием переплел он свои книжки и брошюрки политического содержания, соединив их в нескольких сборничках.

В одном таком сборничке объединены пять брошюр. Открывается сборничек брошюрой Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и Германии». В другом сборничке помещены две брошюры, и в том числе «Воспоминания о Марксе» В. Либкнехта.

Участвуя в революционной борьбе учащейся молодежи, Оля тоже читала политическую литературу. В одном из писем того времени к сестре в Москву она называет книги, которые тогда читала:

«...Я теперь читаю очень интересные книги. Я купила себе книги — «Положение женщины в настоящем и будущем», «Долой социал-демократов», «Социализм в Японии», «О программе работников», «Что такое рабочий день», «Идеи марксизма в германской Рабочей партии», «Буржуазия, пролетариат и коммунизм», «Среди людей мозга». Подобных книг купил себе и Володя 10 штук».

Эту литературу Володя читал «запоем», как он сам пишет в автобиографии. О том, как им были восприняты эти книги, он так записал: «На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир».

Многие из окружающих нас людей считали, что мы предоставляем слишком много свободы и самостоятельности Володе в его возрасте. Я же, видя, что он развивается в соответствии с запросами и требованием времени, сочувствовала этому и поощряла его стремления.

Люда подробно писала нам о событиях в Москве: о похоронах Баумана, о боях на Пресне... Володя и Оля писали ей о демонстрациях, митингах, забастовках в Кутаисе. Занятия всюду прекратились, и мы ждали Люду домой в конце февраля.

19 февраля 1906 года нашу семью постигло тяжелое горе: неожиданно от заражения крови умер отец.

Он готовился сдавать дела Багдадского лесничества, так как получил назначение в Кутаисское лесничество. Мы радовались, что будем жить все вместе. Но это не осуществилось. Владимир Константинович сшивал бу-

маги, уколол палец иголкой, и у него сделался нарыв. Он не обратил на это внимания и уехал в лесничество, но там ему стало еще хуже. Вернулся он в плохом состоянии. Операцию было уже поздно делать. Ничем нельзя было помочь... Мы лишились любящего, заботливого отца и мужа.

Владимир Константинович прослужил в Багдадском лесничестве семнадцать лет. Отношения его с местными жителями — грузинами — были самые сердечные, искренние. Он хорошо говорил по-грузински, и это еще больше сближало его с народом. Он был прост и демократичен и оставил о себе очень хорошую память.

Через три дня после похорон приехала Люда. Пережили вместе наше большое горе, обсудили свое положение и решили переехать в Москву.

Мы остались совершенно без средств; накоплений у нас никогда не было. Муж не дослужил до пенсии один год, и потому нам назначили только десять рублей пенсии в месяц. Я послала заявление в Петербург, в Лесной департамент, о назначении полной пенсии. Распродавали мебель и питались на эти деньги.

На Кавказе у нас было много родственников и друзей. Мы очень сблизились с грузинами, жили с ними дружно. Нам было трудно расставаться с Грузией, мы полюбили ее народ, обычаи. К нам относились здесь исключительно хорошо.

Об этой жизни среди грузинского населения у нас до сих пор остались наилучшие воспоминания.

Распродав вещи и заняв у хороших знакомых двести рублей на дорогу, мы двинулись в Москву. Наша добрая знакомая при этом сказала: «Отдадите, когда дети закончат образование».

Так мы выехали в далекий, неизвестный путь. Все родные и знакомые провожали нас. В Тифлисе попрощались с моей сестрой, Марией Алексеевной Агачевой, и друзьями.

Все три дня, которые мы пробыли в Тифлисе, Володя осматривал город. Тифлис ему очень понравился, и он с большим интересом знакомился с городом.

Проехали Баку — город нефти, который промелькнул силуэтами вышек. Володя на всех остановках вы-

ходил, всем интересовался. Ехали мы в почтовом поезде — он стоял на станциях довольно долго.

Кавказ и горы остались позади.

Проехали Дон (обмелевший летом, он показался нам неглубоким и узким), город Ростов-на-Дону. На станциях встречались крестьянки в ярких ситцевых сарафанах, в вышитых рубашках...

Мы уже в России.

Равнина. Видим русские деревни, маленькие крестьянские дома с почерневшими соломенными крышами. В вагоны заходят крестьяне в лаптях, женщины в ситцевых платках. В поле женщины, нагнувшись, жнут пшеницу серпами.

Проехали города Воронеж и Рязань и с волнением приближались к Москве. Впереди все было новым и неизвестным.

В Москве остановились в Петровско-Разумовском, на даче у кавказских знакомых Плотниковых. Они нас встретили на платформе, где петербургский поезд, в котором мы ехали, стоял всего пять минут. Володя усиленно помогал выгружаться из вагона.

Итак, 1 августа 1906 года мы навсегда поселились в Москве. Нашли квартиру на углу Козихинского переулка и Малой Бронной улицы, в доме Ельчинского, на третьем этаже.

Пришли в пустую квартиру. Нужно было занять денег у знакомых, чтобы купить самую необходимую мебель. Кое-что дали знакомые.

Трудно было устраиваться. Огромный город жил своей жизнью, и мы среди миллиона людей решились бороться за свое существование, за свое будущее.

Я поехала в Петербург хлопотать об увеличении пенсии. В получении пенсии мне помог — через министерство государственных имуществ — брат мужа, Михаил Константинович Маяковский. Из Тифлиса он был переведен лесничим Беловежской пущи и жил в Польше, в Пружанах. Он сообщил, что мне необходимо приехать в Петербург. После долгих и тяжелых хлопот, разговоров и убеждений мне с детьми назначили пятьдесят рублей пенсии.

Возвращаясь из Петербурга, я заболела в дороге воспалением легких и долго проболела.

Во время моей болезни была получена телеграмма

из Польши о скоропостижной смерти Михаила Константиновича.

Я сказала Володе:

— Теперь ты наследник фамилии Маяковских.

Однажды, когда Володя был маленький и его носили еще на руках, Михаил Константинович сказал: «Вот кто будет наследником нашей фамилии!» Так и случилось.

Квартира обходилась дорого. Нам посоветовали одну комнату из трех сдать. У нас поселился знакомый Люды, грузин. Он вскоре уехал, а вместо себя поселил товарища — студента второго курса, тоже грузина, социал-демократа.

Люда перешла на третий курс Строгановского училища, Олю устроили знакомые Медведевы в частную гимназию Ежовой, а Володю приняли в четвертый класс пятой классической гимназии, на углу Поварской (ныне улица Воровского) и Большой Молчановки.

Володю очень интересовала жизнь Москвы, о которой он знал по рассказам и книгам.

Тогда в центре города ходили трамваи, а на других улицах — конки. Было много извозчиков. Володя больше всего ходил пешком по Тверской, Садовой и другим улицам и переулкам, изучая достопримечательности Москвы, а главное — людей и их жизнь в большом городе.

По приезде в Москву Володя и Оля познакомились с Медведевым — братом подруги Люды, коренным москвичом, и он знакомил их с Москвой.

Медведев учился в третьей гимназии и был старше Володи на два класса. Вместе с Володей они ходили в кино. Володю очень заинтересовало киноискусство, он был увлечен им, но за неимением денег часто ходить в кино не мог. Кинематографов было тогда мало, все немые; картины шли плохие.

По вечерам Володя с Олей посещали вечерние курсы рисования при Строгановском училище. Занимались они настолько успешно, что преподаватель Маслин прислал им благодарственное письмо.

Люда доставала работу — выжигание и разрисовку различных деревянных вещей: коробочек, пасхальных яиц, шкатулок.

Володя хорошо рисовал и еще в Кутаисе умел выжигать. Он помогал сестре, а утром относил готовые вещи

в магазин, так как Люда спешила в Строгановское училище. Этот труд оплачивался плохо, но работа была всегда.

Наступила зима, все покрылось глубоким снегом. Стояли сильные морозы. На улицах появились сани.

Дети радовались зиме: катались на салазках, на коньках, на лыжах.

На Кавказе холодной зимы не бывало, и зимние развлечения нам не были знакомы. Здесь же, на севере, все было интересно и ново. Но больше всего Володю интересовали новые знакомые и жизнь соседей — студентов. Он часто заходил к ним в комнату, брал книги, слушал разговоры и споры. Там читали листовки, прокламации, книги, легальные и нелегальные, говорили о том, что готовится революция, свержение царизма, помещичьей и буржуазной власти.

Я беспокоилась, не мешает ли Володя своим присутствием студентам, но они мне говорили: «Володя серьезный мальчик, много читает, и нам он не мешает».

Об этом времени Володя так записал в автобиографии:

«Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса [1]. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики» [2]. Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии».

К нам часто приходили студенты и курсистки, боровшиеся на баррикадах в 1905 году и участвовавшие в демонстрации на похоронах Баумана. Эти волнующие, интересные разговоры увлекали Володю. Он все это хорошо знал и понимал.

---

[1] Предисловие К. Маркса к книге «К критике политической экономии». В этом предисловии изложены основные черты материалистического понимания истории и показано неизбежное развитие общества от капитализма к социализму.

[2] «Две тактики социал-демократии в демократической революции» — книга В. И. Ленина, в которой дана классическая критика тактики меньшевиков и гениальное обоснование большевистской тактики в период буржуазно-демократической революции.

Володя в тринадцать лет был не только физически развит и выглядел на несколько лет старше — он был развит также и умственно: был очень начитан, серьезен и вполне мог общаться с наиболее передовыми учениками старших классов и студентами.

Знакомый нашей семьи Иван Богданович Караханов в своих воспоминаниях о том времени, когда Володя ходил к нему на занятия, характеризует его как очень серьезного, вдумчивого, политически вполне грамотного и подготовленного для революционной работы товарища.

Я и другие члены семьи относились к Володе как к взрослому, хотя он был самый младший из детей. Даже в Кутаисе в 1905—1906 годах он был уже взрослым, самостоятельным и не нуждался в особой опеке.

Пришла весна. По Москве-реке плыли большие глыбы льда. Это для нас было интересное зрелище, так как на Кавказе реки не замерзают.

Кончился первый учебный год. Нужно было устраиваться на лето. Знакомые по Кавказу Коптевы помогли нам в этом. Они уехали на дачу и взяли Олю, предоставив ей урок — заниматься с семилетним мальчиком, а нам на лето бесплатно оставили свою квартиру.

Володя бывал в окрестностях Москвы, рисовал. Ходил на пруды и катался с товарищами на лодке. Много читал и готовился к переэкзаменовке по латинскому языку.

Люда на лето поступила работать в редакцию газеты «Новости дня». Работала ночью, в тяжелых условиях. Деньги хозяин задерживал, а под конец не заплатил — обанкротился.

В августе мы переехали на квартиру по Третьей Тверской-Ямской улице. В этой квартире в двух комнатах жили студенты, которые знали товарищей, живших у нас раньше. К ним также приходили товарищи — революционеры. И по-прежнему с этой революционной молодежью Володя проводил все свободное время.

Со студентами и сестрами ходил Володя на студенческие вечеринки. Там читал он Горького: «Песню о Буревестнике», «Песню о Соколе» и другие револю-

ционные стихи и прозу. Пели студенческие революционные песни.

Володя усиленно читал политическую и научную литературу, которую доставал у товарищей и в библиотеках. Постоянно читал газеты.

Утром, когда просыпался, он первым делом спрашивал:

— Газета есть?

Он ходил в гимназию, но занят был больше другими делами: читал, вел пропаганду среди рабочих. Ему исполнилось четырнадцать лет.

Был конец 1907 года.

В квартире у нас была явка: встречались партийные товарищи. Приходили порознь, по два-три человека, тайно от полиции, поговорить о революционных делах, получали или приносили нелегальную литературу — листовки, прокламации. Все это были старшие товарищи, профессиональные революционеры. Среди них Володя был как равный.

Знакомства с товарищами — земляками с Кавказа не только не прекращались, но, наоборот, расширялись.

У нас на квартире жили сестры Туркия, из Сухума. К ним приходили студенты — грузины. Позже жили Алексеевы-Месхиевы, курсистка Ершова. Заходили кутаисские знакомые — братья Ставраковы. У нас с ними были хорошие, дружеские отношения. Дружили и с москвичами.

Одно время у нас на квартире жил студент консерватории Николай Иванович Хлестов. Володя всегда просил его:

— Ну, Коля, спой мне «О, дайте, дайте мне свободу!».

Он очень любил эту арию. Любил также романс Шумана на слова Гейне «Я не сержусь», «Гонец» Римского-Корсакова и особенно русские частушки и песни.

Как всегда, у нас собиралось большое общество молодежи. Володя был самым младшим. Однажды у меня спросила знакомая: «Сколько лет Володе?» — и удивилась, что ему только четырнадцать лет. А когда она ушла, Володя обиженно сказал мне:

— Зачем говорить, сколько мне лет!

Он говорил, что ему семнадцать лет. Так он выглядел, и ему хотелось скорее быть взрослым.

Володя был серьезным, целеустремленным, и детство у него давно кончилось.

В начале 1908 года он вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков).

Вступив в партию, Володя попросил меня взять документы из гимназии, так как в случае ареста, конечно, его исключили бы из гимназии без права поступления в другие учебные заведения.

Он часто уходил по вечерам и возвращался домой очень поздно. По поручению партии он вел пропаганду среди рабочих.

Вскоре он был арестован и привлечен к ответственности по делу нелегальной типографии Московского Комитета партии большевиков.

Арестовали его 29 марта 1908 года в Грузинах, в Ново-Чухинском переулке, где помещалась подпольная типография Московского Комитета РСДРП (большевиков). После обыска в типографии и ареста рабочего-большевика, подпольщика Трифонова полиция устроила там засаду.

Володя не носил гимназической формы, а ходил в длинном пальто и папахе, которые дал ему товарищ. В этом пальто и папахе его и арестовали.

Володя был заключен в Сущевский арестный дом. Затем его, как несовершеннолетнего, освободили до разбора дела.

Выйдя на свободу, Володя тут же стал продолжать партийную работу. За ним усиленно следила полиция, давшая ему кличку «Высокий».

Уходя из дому, он надевал шапку и запевал:

Плохой тот мельник должен быть,
Кто дома хочет вечно жить.
Все дома да дома...

Через некоторое время, в январе 1909 года, Володя был арестован вторично, но его вскоре выпустили за отсутствием улик.

Жизнь Володи и окружающих его товарищей проходила в борьбе против царского правительства — за

свободу, за лучшую, справедливую, счастливую жизнь.

Володя крепко верил в эту жизнь сам и убеждал других. Он часто говорил мне о будущей жизни, когда нам и всем будет лучше.

Володя не мог оставаться без дела. Как только вышел из тюрьмы, он поступил в Строгановское художественно-промышленное училище и в то же время вел партийную работу.

Занимался он в училище усердно, но прошло не более полугода — и он был арестован снова.

В третий раз его арестовали 2 июля 1909 года в связи с побегом тринадцати политкаторжанок из женской политической тюрьмы на Новинском бульваре. Большое сочувствие сидящим в Новинской тюрьме женщинам-политкаторжанкам вызвало у нас желание помочь им освободиться от царских тюремщиков. И мы приняли посильное участие в организации этого побега: шили для беглянок гимназические платья. В связи с этим делом Володя был арестован.

Просидел он в тюрьме до 9 января 1910 года. Его переводили из одной полицейской части в другую — Басманную, Мещанскую, Мясницкую — и наконец перевели в Бутырскую тюрьму, в одиночную камеру № 103.

Полиция хотела выслать его на три года в Нарымский край. После моих хлопот, ввиду его несовершеннолетия, он был освобожден и отдан под надзор полиции.

В тюрьме Володя много читал, занимался и писал революционные стихи. При выходе из тюрьмы у него тетрадь со стихами отобрали. К этому времени относится его решение заняться живописью и «делать социалистическое искусство». Ему было тогда шестнадцать лет.

Чтобы подготовиться в Училище живописи, ваяния и зодчества, Володя поступил в студию художника-реалиста П. И. Келина и очень усердно занимался. Он первый приходил в студию и последний уходил, как говорил о нем художник Келин. Он никогда не расставался с альбомом, всегда что-нибудь зарисовывал. Ему хорошо удавались портреты и карикатуры.

Много лет спустя, в 1943 и 1944 годах, П. И. Келин, бывший учитель Володи, сделал два его портрета.

В 1911 году Володя поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь он снова начал писать стихи. Ему хотелось писать о новой, будущей жизни новыми словами.

В 1912 году, будучи в этом училище, он впервые стал печатать свои стихи.

В училище шли споры о новом и старом искусстве. Художники разделились на группы. Одни поддерживали новое искусство, другие — старое. Одни стояли за буржуазное искусство, а другие — против него.

Володя был против буржуазного искусства. За резкие выступления, в которых он неуважительно отзывался об этом искусстве, в феврале 1914 года его исключили из училища.

Володя все больше и больше писал и печатал свои стихи. Однажды он сказал мне:

— На столе у меня на клочках бумаги и на папиросных коробках записаны слова и строчки стихов, которые мне нужны,— не убирайте и не выбрасывайте их.

Я сказала ему, что хорошо бы все же закончить художественное учебное заведение.

Володя в шутливом тоне ответил мне:

— Для рисования нужна мастерская, полотно, краски и прочее, а стихи можно писать в записную книжку, тетрадку, в любом месте. Я буду поэтом.

Я читала первые стихи и говорила: «Их печатать не будут», на что Володя, уверенный в своей правоте, возразил:

— Будут!

Его вступление в литературу буржуазное общество приняло враждебно и шумно: пошла ругань в газетах и журналах. Им не понравились в молодом, пылком поэте новое содержание его стихов и стихотворная форма, над которой он тогда работал, которую искал.

Володя часто выступал на литературных вечерах. Буржуазная, богатая публика возмущалась его выступлениями. Она нападала на поэта, ругала его. Но он не оставался в долгу, остроумно и резко отвечал ей или читал свои стихи, направленные против буржуазии.

Демократичная молодежь, сидящая на галерке, относилась к поэту с большим доверием и интересом, чув-

ствуя в его стихах призыв к разрушению старого общества.

В первом ряду обычно сидела полиция с полицмейстером во главе, но они не всегда понимали, что серьезно и что шутка.

На мой вопрос, почему он пишет так, что не все понятно, Володя ответил:

— Если я буду писать все ясно, то мне в Москве не жить, а где-нибудь в сибирской ссылке, в Туруханске. За мной следят, и я же не могу сказать открыто: «Долой самодержавие!»

Но в поэме «Облако в штанах», написанной в 1915 году, он достаточно ясно сказал об этом:

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

При царской власти, в буржуазное время, стихи его если и печатали, то строки о приближающейся революции заменяли точками.

В это время Володя много ездил по городам России, выступал с чтением своих стихов и делал доклады на литературных вечерах. Особенно много выступал он в Москве, но я на этих вечерах не бывала. На них бывали его сестры.

Володя говорил:

— Мамочка, я не хочу, чтоб вы бывали на вечерах, где меня ругают и нападают на меня. Вам будет неприятно, и вы будете волноваться.

Но на некоторые вечера он приглашал меня. И, слушая его выступления, я видела и чувствовала, что ему словно хотелось охватить своим взглядом весь земной шар, жизнь всего человечества, страдающего от насилия и несправедливости.

Началась первая мировая война.

Время было волнующее. Все больше нарастал в народе гнев против царского правительства и бесчеловечной, ненужной народу империалистической войны.

В 1915 году Володя уехал в Петроград. Он был призван на военную службу и служил в автомобильной школе. Здесь он продолжал заниматься литературой.

Мы все время переписывались, и он часто приезжал к нам и рассказывал о своем знакомстве с Алексеем Максимовичем Горьким. Это нас радовало.

А. М. Горький очень ценил молодого поэта Маяковского и напечатал отрывок из поэмы «Война и мир» в журнале «Летопись».

В ту пору Алексей Максимович подарил Володе книгу «Детство» с надписью:

«Без слов, от души. Владимиру Владимировичу Маяковскому. *М. Горький*».

Эту книгу с подписью Володя привез из Петрограда и просил меня сохранить ее, так как он много ездил и боялся ее потерять.

В феврале 1917 года царизм был свергнут. Рабочие и солдаты восстали, арестовали царское правительство. Монархии пришел конец.

Володя принимал участие в революционных событиях с автомобильной школой, писал стихи о совершившемся перевороте.

Он твердо знал и верил, что на этом революция не остановится, что в дальнейшем произойдет свержение буржуазии, то есть произойдет социалистическая революция.

7 ноября 1917 года произошло событие всемирно-исторического значения — наступил день Великой Октябрьской социалистической революции, который Володя считал ярчайшим и счастливейшим днем своей жизни.

Он приветствовал революцию и говорил: «Моя революция!»

В своей автобиографии он написал так:

«Октябрь. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось».

С первых же дней образования Советской власти он весь свой труд отдавал Родине, вступившей на новый путь.

Володя на некоторое время приезжал из Петрограда в Москву, читал новые стихи, посвященные Октябрьской революции. Писал сценарии для кино и сам играл в них главные роли. Эта работа имела успех, ему нравилось киноискусство.

Переехав из Петрограда в Москву в 1919 году, Володя начал работать для фронта: писал и рисовал плакаты «Окна сатиры РОСТА». Эти большие плакаты в годы гражданской войны вывешивались Российским телеграфным агентством. Боевые лозунги в стихах с броскими сатирическими рисунками мобилизовывали народ на борьбу с врагом.

В «Окнах РОСТА» Володя работал усиленно, и все мы ему помогали: сестры делали трафареты, размножали рисунки, я растирала краски.

Однажды я неожиданно зашла к нему на Лубянку. Он работал, торопился. Я хотела уйти, чтобы не мешать ему. Он меня ласково принял, угощал чаем со сладостями, разговаривал, но работы не прекращал

Когда Володя приходил нас навещать, он говорил мне:

— Мамочка, я вам принес немножко денежек.

Он был чутким, внимательным и нежным сыном и братом, приходил всем на помощь, выручал.

И он и мы были всегда заняты. В последующие годы Володя много ездил, часто видеться не приходилось. Зато каждый его приход приносил много радости, бодрости, новизны.

Он ездил по нашей стране, выезжал и за границу, для того чтобы видеть все своими глазами, оценить и отразить в стихах свои впечатления. Он был очень наблюдательный и впечатлительный. Побывав за границей, он еще больше полюбил и оценил свое социалистическое отечество, и эта любовь ярко выражена в его «Стихах о советском паспорте».

Все его стихи и поэмы, особенно «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», говорят о преданности народу, партии, строительству коммунизма.

Вспоминаю, как он был воодушевлен и по-настоящему счастлив, когда узнал, что Владимир Ильич Ле-

нин похвалил стихотворение «Прозаседавшиеся». Это было в 1922 году. Ленинские слова давали уверенность в работе, утверждали в правильности выбранного им пути — пути поэта-борца.

Прошло много лет. Не могу забыть, с каким волнением Володя рассказывал нам о своем выступлении в Большом театре на торжественно-траурном заседании, посвященном памяти В. И. Ленина, 21 января 1930 года. На этом вечере он читал поэму о Ленине. Его слушали руководители партии и правительства

— Это самое ответственное мое выступление в жизни,— сказал он нам.

В 1930 году, 1 февраля, Володя устроил в Москве выставку, на которой показал всю свою огромную работу — книги, стихи в журналах и газетах, рисунки.

Мы были на выставке. Володя показывал нам материал и говорил:

— Я сам не ожидал, что такое количество нарисовал и написал!

После революции я бывала часто на вечерах сына. Некоторые ему говорили:

— Стихи ваши непонятны и недолговечны, их скоро забудут!

На это он однажды ответил:

— А вы зайдите через тысячу лет, тогда поговорим.

О непонятности его произведений говорили недальновидные и враждебно относившиеся к нему люди. Это они мешали изданию его произведений, постановке его пьес, чтению стихов. А молодежь и народ поняли и полюбили его.

И чем дальше идет время, тем больше людей у нас и во всем мире ценит и понимает творчество Маяковского.

Это приносит мне большое счастье.

Александра Маяковская

Москва, 1952—1953.

Эти воспоминания о своем сыне и моем брате Владимире Маяковском мама написала незадолго до своей смерти (умерла она 30 марта 1954 года).

Несправедливое, а иногда и враждебное отношение к Маяковскому со стороны некоторых критиков, статьи и книжки которых мама читала, очень огорчало ее. Она говорила:

— Вот я напишу о Володе, и тогда о нем узнают всю правду.

И на восьмидесятом году впервые она начала писать.

Каждый день, преимущественно, когда никого не было дома, мама доставала заветную тетрадку и писала. Ни я, ни сестра Оля не расспрашивали ее о работе.

Тяжелая болезнь и смерть Оли в 1949 году прервали работу, и только в 1952 году мама смогла вернуться к своему труду. И этот труд как будто поддерживал в ней жизнь.

Ко дню шестидесятилетия Володи, за год до смерти мамы, книжка ее была напечатана.

Как она радовалась!

Но мама не успела сказать всего того, что ей хотелось. Эту ее работу я продолжила в своей книге «О Владимире Маяковском», вышедшей в конце 1965 года. Там я более подробно говорю о нашей семье и об отношении к ней Володи.

Здесь, в этом послесловии к маминым воспоминаниям, мне также хочется вкратце сказать об этом и особенно об отношении Володи к маме.

Дело в том, что в определенных кругах издавна и до самого последнего времени намеренно распространяют ложные слухи о якобы существовавшей отчужденности между Маяковским и его родными — матерью и сестрами.

Достаточно сказать, что в 1965 году в одной из московских газет появилось сообщение, будто Маяковский был в 1911 году усыновлен Д. Бурлюком и прожил в его семье целых четыре года.

С большим трудом удалось мне опровергнуть эту нелепицу, хотя абсурдность ее несомненна для всех, кто хоть немного знаком с биографией Маяковского.

Каждый, кто без предвзятости прочитает воспоминания мамы, увидит, как горячо и постоянно любил Володя свою родную семью, как заботился о ней и позже, став самостоятельным, старался отплатить родным за ту помощь и поддержку, какую оказывали они ему.

У меня сохранилось много подлинных писем Володи, которые он писал в разное время нам — маме, Оле и мне — или каждой в отдельности. Они, как правило, коротки (Володя не любил писать длинных писем), но сколько в них внимания, любви, нежности!..

Особенно нежен и заботлив был Володя к маме, к которой он всегда до последних дней своей жизни обращался на «вы», ласково звал мамочкой.

Вот одно из писем, посланное в ноябре 1913 года из Петрограда, куда Володя уехал на время для постановки своей трагедии «Владимир Маяковский».

«Милая, дорогая мамочка! Я по Вас соскучился. Придется еще жить в СПБ (2 декабря первый спектакль моей трагедии). Ну, как Ваши глазки?

Я здоров, но работы по горло. В первый раз — целый день. Я рад.

Мамочка, за свидетельством попросите зайти в училище Олю, а деньги, пожалуйста, перешлите мне сюда, а то я к первому весь выйду и сяду на мель. Мамочка, напишите, как у Вас.

Целую крепко, крепко Вас, Олю, Люду.

Володя».

Мама в то время лечила глаза, и Володя, как видите, не забыл спросить, как она себя чувствует, как ее «глазки».

А вот письмо от 1 января 1914 года, посланное из поездки по городам юга России:

«Дорогая мамочка, Людочка и Олечка!

С Новым годом и с праздниками!

Как живете? Я здоров и весел, разъезжаю по Крыму, поплевываю в Черное море и почитываю стишки и лекции. Через неделю или через две буду в Москве. Сегодня я в Симферополе, отсюда в Севастополь и дальше, пока не доеду до вас и тогда поцелую всех крепко. Я ваш сын, брат и проч., и проч.

Володя».

В 1915 году Володя поселился в Петрограде, там он проходил военную службу и оставался до 1919 года. Время это было трудное, и Володя, хотя он имел небольшой литературный заработок, не стеснялся обращаться к родным за помощью, но как деликатно и мягко он говорил об этом:

«...Дорогая мамочка, у меня к Вам большущая

просьба. Выкупите и пришлите мне зимнее пальто и, если можно, одну смену теплого белья и несколько платков. Если это Вам не очень трудно, то, пожалуйста, сделайте. Пишите, мамочка, обязательно.

Целую Людочку и Олечку. Целую всех вас крепко.

Ваш Володя».

Разумеется, мамочка не оставила просьбы сына без внимания. И она, и мы с Олей старались помочь Володе всем, чем могли.

«Спасибо мамочке за посылку, получил на Новый год»,— пишет он в другом письме и там же: «Страшно хочется всех Вас увидеть.

Соскучился очень. Напишите мне № Вашего телефона и время, когда удобнее всего звонить. Я Вам позвоню из Петрограда как-нибудь».

В начале 1916 года с мамой случилось несчастье (кажется, она поскользнулась и сильно ушиблась). Наше сообщение об этом встревожило Володю, немедленно от него пришло письмо:

«Дорогая мамочка, Людочка и Олечка!

Я ужасно беспокоюсь о мамочкином здоровье и тем, как оправилась после «катастрофы». Пишите скорее. Я здоров.

Целую всех крепко.

Володя».

После Великой Октябрьской революции между Москвой и Петроградом, где находился Володя, связь была нарушена. Мы беспокоились о нем, а он — о нас. В начале ноября 1917 года ему удалось передать письмо с ехавшим в Москву знакомым. «Я ужасно беспокоюсь о всех вас»,— писал он. И получив наш ответ, также «с оказией», прислал новое письмо, в котором писал: «Ужасно рад, что все вы целы и здоровы. Все остальное по сравнению с этим ерунда».

В августе 1918 года, собираясь приехать в Москву, Володя в письме Оле писал:

«Остановлюсь я скорее всего у Вас, думаю, Вы не запротестуете. Если захотите меня привести в умиление — сделайте в мою честь вареники с вишнями. Расходы возмещу первым же заработком. Пока у меня все в будущем.

Целую крепко мамочку, Людочку и тебя».

Не помню, удалось ли Володе приехать в Москву,

как он намеревался. А спустя некоторое время мы получили от него следующее письмо:

«Дорогие мои мамочка, Людочка и Олечка!

Получил Ваше письмо. Деньги послал 2-го января, а с тех пор был, к сожалению, не богат. Получили ли Вы их? Я послал Вам месяца 2 назад заказное письмо, Вы его, очевидно, не получили. Затем послал телеграмму, получили ли Вы все это? Как Вы живете? Я очень по Вас соскучился. Уже раз десять собирался приехать и не мог. Надеюсь скоро все-таки наехать.

Я здоров. Живу обыкновенно. Заработаю и сейчас же проем.

Пишите о себе, пожалуйста.

Целую Вас всех крепко-крепко. Любящий Вас всегда

Володя».

В 1919 году Володя переехал в Москву. И хотя он получил комнату в центре города, часто навещал нас на Красной Пресне. Он тогда очень много работал в РОСТА над плакатами. Мы ему помогали, и не только мы с Олей, но и наша мама. Было холодно, горела все время дымная печурка, наша мама, всегда деятельно поддерживавшая нас в работе, растирала краски и разогревала клей. Мы с большим трудом укладывали ее спать, а сами часто работали до утра, быстро развешивая рисунки для просушки по комнате, иногда даже накрывали ими спящую маму...

Володе тоже жилось нелегко, но он заботился о нас, всячески старался помочь нам. Когда ему стали выдавать так называемый академический паек, он целиком отдавал его нам: написал доверенность Оле, и она получала паек. Нас это больше всего поддерживало. Кроме того, Володя делился с нами и своими заработками, помогал деньгами.

В 1923 году как-то пришел Володя к нам на Пресню (мы жили тогда еще в доме 44). Пришел очень мрачный, удрученный. Мама никогда не позволяла себе навязывать нам разговоры о наших личных делах, пока мы сами не расскажем. Она была сдержанным, деликатным человеком в отношении ко всем нам. Но в этот раз ей очень тяжело было видеть Володю в таком состоянии, и она спросила:

— Володя, что с тобой происходит? Что у тебя?

Володя обнял маму и сказал:

— Мамочка, дорогая, никогда не будем об этом говорить.

Стихи Володи печатались во многих газетах и журналах. Мы следили за этим. Оля доставала газеты на почтамте. Она и снабжала нас газетами, в которых были стихи Володи. Бывало, зайдет разговор о каком-нибудь историческом или литературном факте, мама всегда скажет:

— А вот Володя еще когда об этом писал.

И вспомнит, в каком именно стихотворении и что написал он.

Несмотря на необыкновенную загруженность работой, Володя по-прежнему внимательно и заботливо относился к семье.

Я приведу еще несколько его писем, которые лучше всего подтверждают это:

«Дорогая и милая моя мамочка!

Я каждый день называю себя свиньей за то, что до сих пор не приехал к Вам. Но я весь день мотаюсь, а остальное время на даче. Приду скоро и обязательно.

Я Вас люблю и целую Вас миллион раз и шлю конфеток.

Целую Людочку.

Ваш сын Володя».

«Дорогая мамочка!

Я, конечно, очень был бы рад видеть Вас, но прошу Вас *пока ни в коем случае не приходить,* так как я боюсь, что грипп перейдет на Вас, особенно ввиду Вашей недавней болезни. Мне много лучше, доктор сказал, что я дня через 2—3 совсем поправлюсь, и тогда прибегу к Вам. Температура сегодня 37.

Целую всех...

Любящий Вас Вол.».

Помню (это было в 1925 году), Володя забежал к нам и сообщил, что едет во Францию и если удастся, то в Америку. Он спросил, что нам привезти. Мы подумали: он едет в Америку не на прогулку, у него будет много работы, много надо увидеть. О чем же его просить? И мы сказали:

— Что хочешь, то и привези, мы ничего не просим.

Потом, когда он пошел, сестра вышла на площадку и крикнула:

— Привези чулки! — и назвала размер и цвет.

В июле мы получили от него телеграмму и письмо из Мексики.

А когда Володя вернулся из Америки, оказалось, он не забыл о чулках для Оли, привез мне и маме подарки. Оля особенно радовалась кастаньетам, которые привез ей Володя из Мексики.

Маме он привез машинку для вдевания нитки в иголку. У нас была знакомая, которая с удивлением говорила об этом:

— Как! Молодой человек, который поехал в Америку, где столько интересного, где у него было столько дел: он должен читать стихи, писать что-то,— и вдруг он вспомнил, что у мамы глаза плохо видят и ей нужна машинка вдевать нитку в иголку. И он ей привез!

Мама в своих воспоминаниях коротко рассказывает об участии сына в 1908—1909 годах в деятельности подпольной тогда партии большевиков, о тревогах, волнениях и хлопотах, связанных с этим временем.

В 1925 году Володя ознакомился в архивах Музея Революции со своим «делом», которое завела на него царская охранка. Он тогда же сообщил об этом нам. С улыбкой одобрения говорил маме, что видел ее заявления и прошения, которыми она старалась помочь сыну. Мама спросила:

— А я ничего плохого не написала?

— Нет, мамочка, все очень хорошо, все правильно, как надо,— ответил Володя.

Володя, как и мы, любил Пресненский район и часто бывал у нас. И когда приходил, войдет и сразу проходит в ванную. Сначала мыл руки в ванной, а затем здоровался, целовался с нами, спрашивал, что нового.

Мама суетилась, чтобы чаем его напоить, приготовляла вкусные печенья, которые он любил. Угощала любимым вареньем.

Он всегда предупреждал о приходе, звонил по телефону или сообщал через Олю. Оля чаще всех виделась с ним. И он скажет ей:

— В четверг или в среду я приду, скажи маме...

Если прийти не сможет, то обязательно потом извинится.

Как-то мы сидели за столом. Мама села рядом с Володей и угощала его. Он повернулся к ней, гладил маму своими большими руками и говорил:

— Мамочка, а что будет, если я вам дачу построю?
— Не нужно. Зачем мне дача? — ответила мама.
— Ну, если маленькую. Ведь хорошо будет!
Мама опять:
— Не нужно мне дачи.
Тогда он сказал:
— Ну, автомобиль куплю.
— И автомобиль мне не нужно. Куда мне ездить?
Придумывал еще и предлагал маме, что́ он ей купит, а маме ничего не нужно было.

Вообще, отношение его к маме было всегда исключительно ласковое, заботливое. Я уже приводила некоторые письма Володи к маме, приведу еще два, написанные в 1926 и 1927 годах, когда Володя был уже признанным поэтом, известным не только в нашей стране, но и за рубежом.

«Дорогая моя милая и родная мамочка!

Видите, какой у Вас хороший сын: всем вообще не пишет, некоторым пишет, но на маленьких листочках, а Вам на большом и во весь разворот. Меня очень беспокоит, что Вы летом без дачи и без отдыха.

В Одессе я заходил к Мише Киселеву. Он просил Вам передать, что рад был бы видеть Вас и Олю и Люду в Одессе.

Как Вы смотрите на это дело? Не поехать ли Вам недели на две? В свою очередь, у Миши будет отпуск к августу — сентябрю, и я его звал в Москву.

Я живу обыкновенно. Немного работаю — читаю лекции, пишу, а в промежутках стараюсь здороветь, загорать и полнеть, на радость моей милой и любимой мамочке.

Надеюсь недели через две, через три быть в Москве, а то без меня дела, должно быть, никак не двигаются.

Дорогая мамочка, черкните мне — Ялта, гостиница «Россия».

Целую очень Людочку и Олечку и поздравляю Олечку со всеми праздниками, которые приходятся на именинный и рожденный июль месяц.

Целую Вас крепко, дорогая мамочка.

Любящий Вас Ваш Володя.

15/VII-26 г.».

«Дорогая, милая и родная мамочка!

Вы самая хорошая и добрая мама на целом свете, и поэтому, конечно, уже на меня не сердитесь за то, что я не сумел зайти перед отъездом. Я уехал страшно неожиданно, а так как было воскресенье, то нельзя было вызвать такси — все киоски по воскресеньям заперты. Словом, я бежал на поезд прямо с лефовского заседания, прожевывая фразу по дороге...

...Сейчас пишу из Новочеркасска. Через час еду в Ростов, а из Ростова рассчитываю на Кавказ — в Тифлис, а может быть, даже в Кутаис.

В Москву приеду в 20-х числах декабря, побреюсь и сразу прибуду к Вам.

Рад, что еду в теплоту,— по возможности, отдыхаю и насыщаюсь, чтобы предстать перед Ваши глаза красивым розовощеким юношей.

Целую Вас, родная мамочка.

Поцелуйте Люду и Олю.

Ваш весь Вол.

27/XI-27 г.».

И таким внимательным, нежным, любящим сыном и братом был он для нас всегда.

Людмила Маяковская

Январь 1966 г.

Н. П. Махарадзе (Смольнякова)

ПЕРВЫЕ УРОКИ

По окончании кутаисского заведения святой Нины в 1889 году мне надо было искать работу, чтобы поддержать мать и маленьких сестру и брата, находившихся далеко от меня. Мечты о высших педагогических курсах пришлось оставить.

С помощью родственника писателя Акакия Церетели — Давида Церетели я была определена учительницей в женское епархиальное училище. Это было в 1900 году — в период большого общественного подъема. Чувствовалось приближение бури, предвещавшей новую, свободную жизнь. Передовая часть общества была охвачена революционными идеями, проникшими даже в епархиальное училище. Большинство преподавателей относилось с нескрываемым сочувствием к революционному движению. Некоторые из них были непосредственно связаны с участниками революционного движения. Наиболее близкой мне лично была преподавательница Мария Отиевна Вардосанидзе, хранившая у себя нелегальную литературу и знакомившая меня с ней. Она меня познакомила со многими революционерами и, в частности, с моим будущим мужем Филиппом Махарадзе.

Постепенно из безразличного к общественной жизни человека я стала пламенной сторонницей революции и нередко помогала Марии Отиевне в ее конспиративной работе.

В 1901 году я познакомилась с семьей Владимира Константиновича Маяковского, переехавшей в город

Кутаиси из селения Багдади. Сам Владимир Константинович остался в Багдади и бывал в Кутаиси наездами. Я скоро сблизилась с этой поистине замечательной семьей, оставившей во мне неизгладимый след по сей день. Меня восхищало их серьезное и внимательное отношение к окружающим людям, их взаимная дружба и уважение.

Мне, выросшей в казенном учебном заведении и не знавшей семейной жизни, было особенно тепло и хорошо в их радушном, гостеприимном доме. Много хорошего вынесла я из общения с ними.

Владимир Константинович предложил мне подготовить в гимназию сына Володю. Я с большой охотой взялась за предложенные уроки, так как Володя мне очень нравился. Заниматься с таким мальчиком было более чем интересно.

У меня и до Володи было много способных учеников, но подобного ему я не встречала ни до, ни после Володи. Выдающиеся способности Володи сочетались с большим интересом мальчика к занятиям. Он не просто механически усваивал уроки, а вдумчиво воспринимал все новое, что узнавал из книг, от окружающих и от меня.

Вспоминается мне еще одна удивительная черта Володи, которая меня поражала не столько во время наших занятий, сколько значительно позже, когда он стал широкоизвестным поэтом. Он отличался какой-то своеобразной застенчивостью, сковывающей его подчас настолько сильно, что трудно бывало ее преодолеть.

Уроки с Володей доставляли мне большое удовольствие. Он скоро привык ко мне, и его скованность прошла. Уроки проходили очень интересно Мы не замечали, как уходило время. Володя проявлял большой интерес ко всем предметам. Он с легкостью решал задачи. Нередко он комментировал эти задачи о купцах, продающих и покупающих тюбики чая, и о трубах, выливающих и вливающих такое-то количество воды, с таким юмором и остротой, что невозможно было удержаться от смеха. Я его знакомила с животным и растительным миром, мы совершали прогулки по живописным окрестностям города.

Он легко усваивал объясняемый материал, но иногда вдруг его взгляд становился особенно сосредоточен-

ным, как будто появлялась какая-то напряженная работа мысли. Так оно и было. Несколько позже он мне объяснил, что не может дальше слушать, если чего-нибудь не понял до конца. Такая серьезность и вдумчивость восьмилетнего ребенка меня поражали.

По окончании каждого урока он просил меня что-нибудь почитать или рассказать. Я ему читала стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, «Записки охотника» Тургенева, сказки Л. Толстого, рассказы Чехова. Я специально подбирала ему такие произведения, в которых описывалась свобода, описывалось тяжелое положение народа, заметив, что именно такие произведения его особенно интересовали.

Он очень любил слушать стихи, сказки, песни.

Сам читал выразительно, с большим вдохновением, но, видимо, еще больше любил слушать.

Я всегда любила свою работу: обучение детей, общение с ними, наблюдение за их развитием, восприятием нового — все это давало мне большое удовлетворение.

Но больше всего любила я уроки с Володей. Он очень живо все воспринимал и на все реагировал. Когда я ему рассказывала о чем-либо, он слушал внимательно, не спуская с меня глаз, и подчас делал такие правильные выводы, что я задумывалась: как может маленький мальчик так логично мыслить? И только впоследствии, когда Владимир Маяковский стал большим поэтом, я поняла, что тогда развивался его могучий талант.

Через год Володя блестяще сдал экзамены в гимназию, и наши занятия прекратились.

Мне долго недоставало уроков с Володей, я часто рассказывала своим знакомым и друзьям об этом замечательном мальчике.

Платон Цулукидзе

ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

В продолжение моей 48-летней непрерывной педагогической деятельности много воспитанников прошло через мои руки. О всех трудно вспомнить. Но бывают случаи в жизни человека, когда некоторые впечатления и факты далекого прошлого так врезываются в память, вспоминаются так, будто это было недавно.

Из моей продолжительной гимназической службы в Кутаиси помню многих учеников, которые производили на меня особое впечатление. Некоторые из них политические и общественные деятели, некоторые рядовые работники и некоторые поэты, писатели. Между последними находится и В. Маяковский, о котором и пишу свои воспоминания.

Отец Владимира Маяковского служил лесничим в селе Багдади (теперь Маяковски). Село это расположено в двадцати пяти километрах от Кутаиси, на северном склоне живописного Зекарского перевала. Из Кутаиси в Багдади и дальше через Зекарский перевал до курорта Абастумани идет шоссейная дорога, проходящая через роскошные виноградные сады селений Обча, Дими и Багдади. У села Багдади протекает горная речка Ханисцхали, богатая форелью, ловлей которой часто забавлял себя маленький Володя.

В Багдади я часто ездил к своим родственникам и знакомым. Будучи в гостях у своего родственника, я познакомился с отцом Маяковского. Как только он узнал, что я учитель приготовительного класса гимназии, он обратился ко мне с просьбой сообщить, какие доку-

менты нужны при определении сына в гимназию и какой объем знаний необходим для поступления. Я обо всем этом дал подробные сведения. После этого он обратился ко мне с такой просьбой.

— Уважаемый Платон Георгиевич! Я хочу моего Володю определить в приготовительный класс. Я его готовил и думаю, что он вполне готов, но я желал бы, чтобы вы перед экзаменами проверили, насколько он готов. При этом должен вам сообщить, что он с посторонними очень застенчив, а после вашей предварительной проверки уже не будет вас стесняться и смелее будет отвечать. Если это вас не затруднит — буду очень благодарен.

Я согласился исполнить просьбу и предложил привезти мальчика в Кутаиси. Нужно сказать, что для поступления в старший приготовительный класс гимназии требовалось: по закону божию — Ветхий и Новый завет вкратце и целый ряд молитв; по русскому языку — беглое чтение незнакомого рассказа и передача содержания, краткий этимологический и синтаксический разбор, диктант и несколько басен и стихотворений наизусть; по арифметике — все четыре действия над многозначными числами и решение задач в три-четыре вопроса.

Скоро они приехали. Началась проверка. Читал он довольно бегло. Стихи и басни декламировал с замечательным чувством и интонацией. Прочитанный маленький рассказ пересказал хорошо. При разборе предложений часто ошибался, но, задумавшись, свою ошибку поправлял. Если допускал ошибки, то эти ошибки были, если можно так выразиться, «разумные», то есть видно было, что он внимательно обдумывал вопрос, но не осилил. Не было ни одного не обдуманного ответа. Молитвы знал, но в длинных молитвах, как «Десять заповедей» и «Верую во единого бога» и т. д., ошибался. Читал молитвы далеко не с таким чувством, как басни и стихотворения. Диктант писал торопливо. Ошибок грубых не было, но кое-какие были. По арифметике в устном счете был тверд. В нумерации чисел с нулями в середине ошибался, но, сосредоточив внимание, скоро поправлял ошибки. По окончании этой предварительной проверки отец, который слушал все его ответы, ждал моего заключения. Володя пожирал меня глазами, ожи-

дая моей оценки его знаний, как будто этой моей оценкой решалась его судьба. Я сказал отцу:

— Мальчик вполне готов! Он знает больше того, что нужно для поступления.

Это заключение я вывел из того, что задавал примеры и вопросы гораздо труднее, чем могли быть на будущем экзамене.

Лицо Володи засияло, по его лицу пробежала легкая улыбка.

Потом я прибавил:

— Что касается приема, не могу ничего сказать, так как на сорок мест иногда бывает до ста пятидесяти просителей, и потому конкурс большой. Иногда случается, что выдержавший удовлетворительно остается за бортом в силу конкурса.

Эти слова мальчика огорчили. Он задумался. На мой вопрос: «Ну что, Володя, как ты думаешь?», он улыбнулся и сказал:

— Посмотрим.

Я погладил его по голове и сказал, чтобы на экзамене отвечал так же обдуманно и смело, как отвечал мне.

Они поблагодарили и уехали.

Как Володя держал экзамен, я не помню. Но, порывшись в архиве кутаисской гимназии за 1902 год, я нашел его отметки и текст диктанта, а также подписи учителей, которые производили экзамены.

В архиве за № 5357 имеется следующий текст диктанта 1902 года для старшего приготовительного класса:

«Вчера я с папой ходил в гимназию. Нам нужно было узнать, когда будут экзамены. Сторож Иван сказал нам, что они будут во вторник. Господи, о чем меня будут спрашивать учителя?»

За эту работу Маяковский получил 4. Работу проверяли: Тимофей Семенович Дзюбинский, Виталий Алексеевич Юркевский (третьей подписи не мог разобрать).

По русскому устному получил 5. Экзаменовали те же учителя — Юркевский и Дзюбинский. По закону божию он получил 4. Экзаменовали директор Осип Осипович Чебыш, законоучители Тугаринов и Шавладзе. По арифметике получил 4. Экзаменовали Л. Я. Семенов, Н. Н. Джомарджидзе (учитель старшего приготовительного класса) и Евстигнеев.

Из ученической жизни Маяковского помню следующий случай.

Раз в учительской ко мне и Джомарджидзе подошел законоучитель приготовительных классов (приготовительных классов было два — младший и старший) Шавладзе и сказал:

— Что за странный мальчик этот Маяковский.

— А что случилось? Напроказил? — спросили мы.

— Нет. Шалить-то он не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопросами. Когда я спросил: «Хорошо ли было для Адама, когда бог после его грехопадения проклял его и сказал: «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой»? — Маяковский ответил: «Очень хорошо. В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть. Каждый должен работать». Потом задал мне вопрос: «Скажите, батюшка, если змея после проклятия начала ползти на животе, то как она ходила до проклятия?» Все дети засмеялись, а я не знал, как ответить.

В 1905 году по всей Западной Грузии началось революционное движение крестьян. Революция задела и школу. Ученики все больше и больше выходили из повиновения. В том же архиве за 1906 год сказано: «В гимназической церкви по случаю открытия I Государственной думы служили молебен. Директор гимназии распорядился расставить учителей между учениками, чтобы предупредить какие-нибудь выступления среди учеников. Но не помогло. Когда архидиакон провозгласил многолетие государю, в церкви, где стояли ученики первого, второго и третьего класса, разлили какую-то удушливую жидкость. Произошла страшная суматоха. Молебствие прекратилось. Виновного не нашли, хотя подозрение пало на учеников Сванидзе, Рамишвили и других».

Ученики, включая младшие классы, начали выходить на демонстрации. Первым из младших классов вышел третий класс, где учился Маяковский (архив гимназии за 1906 год). Ученики выносили из классов парты, доски, приносили целые мешки песку и строили баррикады. В гардеробе гимназии хранилось оружие. Молодым пропагандистам, не гимназистам, я давал ночлег в пансионе. Давал им чай, обед и платье. Среди младших везде фигурировал Маяковский.

В подвальном этаже гимназической больницы печатались прокламации. Руководил этим делом ученик восьмого класса Which Которидзе, который часто совещался со мной в способе распространения. Я, между другими, рекомендовал Маяковского, как более активного и расторопного мальчика. Скоро пришлось прекратить работу, так как об этом узнал пансионный дядька, который хотел доложить директору о собраниях учеников в подвале больницы. Я упросил не делать этого и сказал, что я сам буду следить за этим делом. Я же сообщил об этом ученику Которидзе и предложил перенести работу в другое место.

Вот и все, что я помню из гимназической жизни В. В. Маяковского.

Кутаиси, 21 октября 1940 г.

Галактион Табидзе

В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Маяковский родился 7 июля 1893 года в селе Багдади, недалеко от Кутаиси, в семье лесничего.

Семья была тесно связана с грузинской средой.

Маяковскому было двенадцать лет, когда началась революция 1905 года. Несмотря на отроческий возраст, Маяковский пламенно, горячо встретил события 1905 года. Он сблизился с тем же кружком, с которым я поддерживал тесную связь. Я был старше его на год...

Этот революционный кружок по вечерам собирался рядом с нами, в доме Нацвлишвили, на возвышенном берегу Риони. Оттуда открывался вид на весь Кутаиси, утопающий в зелени.

Калина Галдава, Вано Инцкирвели, Клавдий Ткемаладзе, Котэ Цинцадзе, Васо Канделаки, Агаба Адейшвили — все они кружились около нашего дома.

Именно этот период — до 1906 года — является лучшим периодом детства Маяковского. Бывает в жизни всякого поэта период, который «оставляет в душе живую память о себе», никогда не вычеркивается из памяти и *красной нитью* проходит через всю его жизнь.

Тут следует иметь в виду не только багдадские небеса, как это обычно толкуют, а дни всего его отрочества, весь этот период. Маяковский обязан природе Имеретии. Темперамент Маяковского подобен темпераменту имеретина. Все творчество Маяковского темпераментно. Наш большой актер Валериан Гуния однажды, рассуждая о моих произведениях, сказал так:

— Если из жизни вычеркнуть темперамент, то это будет походить на то, как если б вся наша вселенная, наша земля окончательно остыла бы и замерзла. Ведь тогда никакое растение не сможет на ней вырасти и укорениться. В остывшей душе, в остывшем сердце может родиться только жаба; могут расти мох и тернии.

С потерей темперамента должны исчезнуть дарование и высшая способность творить, навсегда исчезают воодушевление, восторг и вдохновение. Без темперамента... я не представляю себе жизни...

Тициан Табидзе

СТРАНИЦЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Октябрь 1905 года. Отец везет меня из деревни в Кутаиси, чтобы отдать в гимназию. Нашим же поездом перевозят гроб с останками профессора Саввы Клдиашвили — известного революционера, убитого черносотенцами в Одессе.

Похороны Клдиашвили вылились в мощную и необычную для Кутаиси демонстрацию. В моей детской памяти революция 1905 года запечатлелась главным образом благодаря этому событию. Красные знамена и революционные песни зажгли восторгом мое мальчишеское сердце. Внимание мое захватили бойцы красного отряда, одетые в гурийские чакуры с перетянутыми на груди крест-накрест патронташами. Слово «жандарм» уже вызывало во мне ненависть, а «социал-демократ» — ласкало слух и было для меня полно высокого, героического и рыцарского значения.

Готовил меня к экзаменам старый учитель, квартира которого представляла собой чуть ли не главный штаб революционеров. А большая семья учителя была, по сути дела, целым отрядом юношей и девушек — участников революционного движения. Здесь бывали многие известные революционеры. Под моей же кроватью хранилось оружие — надеялись, что мальчишку никто не станет обыскивать. Этот, казалось бы, наивный расчет достигал цели.

Когда полиция врывалась в дом, революционеры выскакивали из окон, а хозяйка дома с проклятиями поминала имя полицмейстера, кажется Антонова. А на сле-

дующий день соседские ребятишки заставляли меня громче читать им «Спартака» Джованьоли, и я горько плакал над тяжелой участью любимого вождя рабов. А потом мы мечтали и много говорили о людях далекого социалистического будущего, которое я представлял себе по описаниям Маркса и Бебеля, а иногда рисовал и с помощью собственного воображения. И я писал стихи, которые мечтал напечатать в революционной газете маленького формата, похожей на прокламацию.

В те годы Кутаиси был поистине охвачен революционным пожаром. Особенно бушевала молодежь. Очаги революции были повсюду — в театре и на улице, в гимназии и в казармах.

Кутаисский театр возглавлял Ладо Месхишвили. Каждое представление «Кая Гракха» превращалось в настоящий митинг. «Граждане!» — кричал народ. Впоследствии такой порыв был описан Андреем Белым в первом издании романа «Петербург».

Наша гимназия особо выделялась даже на таком общем фоне, революционный дух держался в ней до самых последних дней самодержавия. Мы писали прокламации, точно классные сочинения. Из-за одной листовки — к 300-летию дома Романовых — я чуть не угодил в тюрьму. Революционный подъем достиг своего зенита к концу 1905 года. Вот в какое время учился в нашей гимназии Владимир Маяковский.

Я вспоминаю (вместе с Паоло Яшвили) Маяковского-гимназиста. Это был рослый, худощавый мальчик. От многих своих сверстников он отличался и тем, что прекрасно плавал в Рионе и в случае необходимости не отступал в драке. Он явно не был похож на выхоленных и избалованных чиновничьих детей.

Маяковский приехал в Кутаиси из Багдади, где отец его работал лесничим. Маленький Володя рос среди крестьянских ребят, играл с ними, участвовал во многих их затеях. С детства он говорил по-грузински... Революционную поэзию, по его словам, он впервые познал по стихам Иродиона Евдошвили, поэта, необычайно популярного в те годы, особенно среди революционной молодежи.

Спустя двадцать лет, посетив Грузию, Маяковский вспоминал грузинские шаири, слышанные им в детстве, и называл Багдади своим родным краем. С самых ран-

них лет он питал отвращение к национальной розни и гнету, и поэтому ему сразу же стал близок и понятен ленинский путь решения национального вопроса. Лучшее доказательство тому — стихи о Грузии и Украине.

Во время последних встреч с Владимиром Маяковским мы вспоминали каждую мелочь нашей гимназической жизни, учащихся и учителей — все, что особенно прочно запечатлевается в памяти с детского возраста. Как-то он рассказал нам о своем намерении написать в стихах и прозе большое автобиографическое произведение о Багдади. Образ Багдади им был прибережен для последних, задуманных им лирических вещей, но, увы, этому не суждено было осуществиться.

В 1913 году я поступил в Московский университет. Уже чувствовалось приближение империалистической войны. В литературе происходил большой перелом. Символизм терял свое лидирующее положение. В Москве самой яркой поэтической фигурой уже был Маяковский. Помню один вечер. Стоило выйти Маяковскому и прочесть несколько стихотворений, как литературные противники поэта были обезоружены и повержены. Они мгновенно утрачивали весь свой дар испытанного острословия.

Могучая поэтическая сила Маяковского захватывала публику. Помню вечер, устроенный в нашем университете под председательством профессора Самсонова. Более ста молодых поэтов из студенческих кружков выступило на этом вечере. Были среди них и символисты, находившиеся под влиянием Брюсова и Кузьмина. Большинство же оказалось зараженным эгофутуризмом северянинского толка. Обыватели приходили в восторг от «поэзовечеров» Северянина, которые, кстати, устраивал Ф. Долидзе. (Ему за сезон удавалось организовать около двадцати платных вечеров.) И только Маяковский осмелился возвысить голос в защиту подлинной поэзии.

В художественно-литературных кругах, на так называемых вечерах «свободной эстетики» главенствовал Брюсов, футуристы склоняли перед ним голову, а он принимал от них похвалы как должное. Эти вечера посещали все модные поэты, включая крестьянского парня Сергея Есенина. Один лишь Маяковский стоял в стороне.

Вскоре после Февральской революции в Москве состоялся вечер, на котором выступали Владимир Маяковский и Василий Каменский. Это было первое пламенное поэтическое приветствие народу по поводу падения царского правительства. Маяковский уже был поэтом с громкой славой, а его поэма «Облако в штанах» была для нас подлинным поэтическим открытием и откровением.

В 1917 году, возвращаясь в Грузию, я в поезде прочел петроградскую газету «Новая жизнь», где была напечатана «Революция» — поэтохроника Маяковского. В этом произведении уже чувствовался пафос будущих блоковских «Двенадцати» и «Скифов».

Когда связь между Грузией и Советской Россией была оборвана, вести из Советской России стали доходить к нам редко. Тем более редки были поэтические новости. Стихи Маяковского попадали в наши руки лишь от случая к случаю. Но имя Маяковского гремело. Мы знали, что он работает в РОСТА, что с первых же дней революции он вовлечен в огромную работу, пишет агитационные стихи, рисует плакаты. Советы способствовали расцвету искусства, поощряли революционных художников.

Маяковский был неутомимым трибуном. Его поддерживал нарком просвещения А. В. Луначарский. Такие тесные взаимоотношения власти и поэзии так поразили меня, что я посвятил этой теме специальную статью, в которой довольно смело бичевал тогдашних правителей Грузии.

С большой радостью встречали мы поступавшую из Москвы литературу. Настоящим праздником был для нас приезд из Москвы одного товарища, принимавшего участие в конгрессе Профинтерна. Он привез много литературных новинок. Мы с увлечением читали тогда новые стихи Маяковского. Заинтересовал нас также «Товарищ» С. Есенина.

Стихи Маяковского вдохновенно читал Паоло Яшвили. Он и сам писал порою стихи по-русски в манере Маяковского. Одно из них было даже напечатано в то время в Тбилиси под псевдонимом «Кретхимерский».

Нас удивляло, что Маяковский, который родился в Грузии и провел здесь детство, не приезжает в Тбилиси. Но, как видно, большая творческая и революционная

работа не давала ему возможности даже на время покинуть Москву.

А тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!

После Октябрьской социалистической революции Маяковский впервые посетил Тбилиси в августе 1924 года. Тбилисцы были на дачах. В тот год мы с Маяковским не встретились, но мне передали, что он расспрашивал о состоянии поэтического фронта в Грузии. Я слышал также, что он читал переводы своих стихов на грузинский язык, сделанные Паоло Яшвили, и интересовался постановкой «Мистерии-буфф», которую я перевел для Котэ Марджанишвили. Великий грузинский режиссер намеревался поставить ее на фуникулере, под открытым небом, наподобие античных зрелищ. Маяковскому очень понравился замысел Марджанишвили, который, к сожалению, остался неосуществленным.

Последний раз я встретился с Маяковским в Москве в 1928 году.

— Куда идешь? — спросил он меня по-грузински.

В те дни в Москве проходили юбилейные торжества, посвященные Л. Н. Толстому, на которые приехал Стефан Цвейг. На банкет были приглашены многие писатели, в том числе и я. Я ответил Маяковскому, что иду на банкет. Мне показалось, что он не в духе.

— На банкет приглашен и я. Не уходите, побудьте со мной, у меня очень неважное настроение... Давайте пообедаем вместе.

Я не мог ему отказать.

Зашли тут же в «Гранд-отель».

Маяковский оживился и стал восторженно рассказывать о помощи, которую оказывают ему комсомольские организации, в частности в намеченной им поездке за границу, хотя РАПП и противится этому.

— Но я все же поеду,— твердо сказал Маяковский.

— Не представляю я Москву без вас!..— сказал я ему, улыбаясь.

Вскоре после этого Маяковский совершил заграничную поездку. Творческие итоги этой поездки общеизвестны.

1936 г.

М. Т. Киселев

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Хотя мы жили с Маяковскими раздельно, но, по существу, вся моя жизнь была связана с их семьей.

Владимир Константинович Маяковский работал в Багдадском лесничестве. Когда мы жили в Кутаиси, я обычно все лето проводил в Багдади, и даже в рождественские каникулы дядя Володя брал меня к себе. У него была масса дел по лесничеству, и он привлекал к работе меня. Я помогал ему.

Отец В. В. Маяковского был очень добрым, очень отзывчивым человеком, с большой душой. Он любил свое дело, увлекался им. Чуть свет он уже приступал к работе. Собирались объездчики лесничества, приходили крестьяне за билетами на порубку леса. С каждым дядя Володя успевал поговорить, и не только о делах, с которыми люди приходили к нему, но интересовался их семейной жизнью и т. д. Для крестьян он был своим человеком: они делились с ним радостями и печалями, приглашали его на свадьбы и крестины, и он никого не оставлял без внимания.

Несколько раз в месяц дядя Володя совершал поездки по лесничеству и брал с собой меня, а когда подрос Володя, то и его. Ездили мы верхом на лошадях, пробирались по крутым тропинкам, ночевали в горных селениях. Поездки эти были очень интересные.

В пути дядя Володя рассказывал нам о жизни леса, о быте народа. Он был в курсе всех жизненных дел крестьян. И часто бывало так. Приходят к нему крестьяне, говорят — денег нет, а лес нужен. Дядя Володя

давал им свои деньги, и крестьяне, таким образом, покупали лес.

Я был свидетелем одного неприятного момента. Мы поехали с ним вместе далеко. Раньше лес возили на маленьких арбах, запряженных волами, которые тащили тяжелые бревна. Навстречу нам попалась такая арба с несколькими большими бревнами. Дядя Володя остановил крестьянина, спрашивает билет на порубку леса. А тот вдруг схватился за кинжал. Владимир Константинович говорит ему:

— Положи на место кинжал, я тебя не боюсь.

Дядя был могучий человек, крестьянин это понял: он бросил кинжал и стал просить лесничего, чтобы тот его простил. Дядя Володя всегда имел при себе клеймо в виде топорика. Он отметил клеймом каждое бревно на арбе и сказал крестьянину:

— Теперь можешь везти.

Крестьянин не знал, как благодарить лесничего. Конечно, Владимир Константинович заплатил за лес собственные деньги, а крестьянин позже возвратил их ему.

Владимир Константинович стремился к тому, чтобы сделать вывозку леса по возможности не такой тяжелой. Дорог тогда не было, и он хлопотал об их устройстве. Вместе с дочерью Людмилой они составили проект проведения дороги в лесничество. И Владимир Константинович говорил мне, что Люда сделала хорошую схему дороги, «но,— добавил он,— у нас в министерстве никто не обращает на это внимания».

Так и остался замысел Владимира Константиновича неосуществленным.

Ездил я с дядей Володей на постройку моста через реку Ханисцхали, по дороге в Зекари. Когда мы приехали туда, был обеденный перерыв. Рабочие пригласили и нас. Мы сидели с ними, и они угощали нас тем, что у них было. И дядя Володя и рабочие были очень довольны. Такое дружеское отношение, отсутствие гонора очень нравилось людям. Чиновники на Кавказе были ужасные, они не любили грузин. И не мудрено, что крестьяне к таким чиновникам относились не особенно хорошо.

Дядя Володя очень хорошо знал грузинский язык и уже этим располагал к себе местных жителей. Я тоже

знал грузинский язык, писал по-грузински хорошо, но говорить мне было труднее. Дядя Володя, наоборот, хорошо говорил по-грузински, а писать не мог, поэтому он диктовал мне письма, когда надо было написать по-грузински. Его сын, а мой двоюродный брат Володя тоже хорошо говорил по-грузински, так как он родился и рос в грузинском селении.

Я помню его с малых лет. Я учился в третьем или в четвертом классе и приехал к ним в Багдади на каникулы. Жили они тогда в доме Шарашидзе. Володя сразу заставил меня читать. Потом говорит:

— Хочешь, посмотрим журналы?

Мы смотрели журналы, играли, а потом он попросил свою маму читать. И уже не отходил от нее, пристально смотрел, как она читает, внимательно слушал ее.

Перед поступлением Володи в гимназию Александра Алексеевна поселилась с ним в Кутаиси, так что мы виделись еще чаще. Весной 1902 года, во время экзаменов в гимназию, Володя заболел брюшным тифом. За ним ухаживали его мама и тетя Анюта, работавшая в госпитале сестрой милосердия. Поместили его у нас в отдельной комнате, а я тогда гостил в Багдади. Дядя Володя ездил в Кутаиси, и мы от него узнавали о состоянии здоровья Володи.

Однажды, вернувшись из Кутаиси, дядя Володя попросил объездчиков убить оленя и отвезти его в Кутаиси в подарок доктору, который лечил Володю, так как он не хотел принять плату за лечение.

После выздоровления Володи мы снова встретились с ним в Багдади.

Володя любил природу, любил прогулки. Мы вместе ходили по берегу Ханисцхали, лазили по горам.

Позже Маяковские переехали из Багдади в соседнее селение Нергиети. Тем летом мне почему-то не удалось поехать к ним. И вот в один прекрасный день я отправился пешком из Кутаиси в Багдади и дальше в Нергиети. Это больше двадцати пяти километров, но идти было приятно. Дорога из Кутаиси идет лесом, кроны деревьев соединялись, образуя сплошную тень. Вокруг зелень, масса цветов.

Пришел к Маяковским часа в три-четыре пополудни. Все отдыхали. И вдруг слышу голос Володи:

— Папа, Миша пришел!

А навстречу мне уже летела любимая Володина собака Угрюм.

Володя в то время увлекался Гоголем. Во время наших прогулок он многое из Гоголя читал мне наизусть. У него была богатая память. В то время он уже сам умел читать, а мне рассказывал по памяти. Во дворе дома, где они жили, были чури — большие глиняные кувшины для вина. Он залезал в один из них, громко произносил отрывок из прочитанного ранее и спрашивал:

— Ты слышишь?

Читал он «Сорочинскую ярмарку», «Вия». У него было много небольших книжек с иллюстрациями. В Кутаиси на бульваре такие книжки продавались во множестве, и стоили они гроши; все дети увлекались ими.

Дядя Володя любил семью, детей. Людмилу Владимировну он особенно выделял как старшую. Когда она окончила гимназию, он сказал мне:

— Я рад, что Люда окончила гимназию, и хочу преподнести ей торт и на этом торте написать: «Спасибо».

Он так и сделал, поблагодарив дочь за то, что она оправдала его надежды.

Александра Алексеевна тоже любовно относилась к семье. Никогда ни на кого не повышала голоса. Была очень трудолюбива. С утра и до поздней ночи работала: или шьет, или штопает, или готовит. Я не помню, чтобы она когда-нибудь наказала кого из детей или оказывала на них давление. Спросит:

— Володя, ты уроки выучил?

— Да, мамочка.

И больше ничего. А дядя Володя интересовался не только тем, как учатся его дети, но иногда приходил в гимназию и спрашивал, как я учусь, как веду себя. Он любил свою сестру — мою мать и моего отца, и они его также любили.

Володя моложе меня на девять лет. Он учился во втором классе гимназии, когда я кончил учиться. Собственно, я не закончил гимназию: в 1904 году наш класс исключили за участие в революционных выступлениях. Это было во время русско-японской войны, в связи с гибелью русской эскадры. Директор гимназии устроил молебен, а мы начали свистать, вышли из церкви и

присоединились к демонстрации, которой руководил Кавтарадзе (после второй мировой войны он был советским послом в Румынии). Позже я был на сходке, где выступал Сталин.

Я помню, Володя принимал участие в демонстрации во время похорон Цулукидзе. Казаки стреляли по демонстрантам.

Когда нас исключили из гимназии, я не знал, как мне быть. Семья наша бедствовала. В гимназии благодаря хлопотам дяди Володи я учился на казенный счет. А как быть теперь? Оставалось одно — подготовиться самостоятельно и сдать экзамены на аттестат зрелости, чтобы потом попытаться поступить в высшее учебное заведение. Нам, находившимся под надзором полиции, разрешалось учиться только в трех городах: в Одессе, Харькове и Томске.

Я решил поступить на медицинский факультет в Одесский университет. Дядя Володя одобрил мое решение, пригласил меня к себе на лето подработать на поездку. Я помогал ему в работе, и он дал мне два пятирублевых золотых, с которыми я и поехал в Одессу.

Когда я еще учился в восьмом классе гимназии, у нас на казенный счет были открыты мастерские — переплетная и столярная, мы там работали под руководством мастеров. Я увлекался главным образом переплетным делом. Мне дядя Володя дал денег, я купил верстак для переплета. Володя тогда этим очень интересовался и просил научить его переплетать книги. Он приходил ко мне, и я показывал ему, как это делается. Теперь, когда я уезжал в Одессу, решил подарить Володе переплетный станок и перенес его к нему. Володя был очень доволен и стал переплетать книги сам.

В Одессе меня приютили товарищи, а потом я нашел угол. Жил в подвале, без окон. Комната освещалась через маленькое окошко над дверью.

В 1906 году я узнал о внезапной смерти дяди Володи. Мама писала о бедственном положении семьи Маяковских и сообщила, что Люда приехала и забрала всех их в Москву.

С Володей Маяковским я встретился много лет спустя.

По окончании университета я получил место младшего ординатора хирургического отделения в железно-

дорожной больнице там же, в Одессе. Но кроме хирургии мне приходилось заниматься рентгеном, лабораторными исследованиями, делать анализы крови. Причем все это делалось тогда примитивно, требовало много времени.

И вот как-то, должно быть в начале 1914 года, сижу я один в лаборатории. Распахивается дверь, и врывается Володя Маяковский — большой, высокий. Радостно обнимает, целует меня. Я бросил все исследования и повел его к себе домой. Жил я при больнице с женой и маленькой дочерью.

Мы усадили его пить чай. Потом он взял на руки нашу дочку и говорит мне:

— Пойдем в город, покажи самый хороший магазин.

Мы пошли, и он купил для нашей дочки Танечки самые дорогие игрушки.

В Одессе Владимир Владимирович выступал в Русском театре, который находился на Греческой улице. Он мне сказал:

— Ты приезжай, я проведу тебя на сцену.

Народу было множество, особенно студентов.

Его выступление произвело на меня большое впечатление. Но что именно читал Маяковский, я не помню. Помню только, что студенты принимали его восторженно, а на отдельные язвительные выкрики он отвечал метко, остроумно.

Прошло еще много лет. И вот — это уже в советское время — на улицах Одессы появились афиши, плакаты, оповещавшие о предстоящем выступлении Маяковского. Я пошел по гостиницам искать его. Говорят: еще не приезжал. А через несколько дней, возвращаюсь из больницы домой, а у нас Володя Маяковский.

Я ему говорю:

— А я бегал тебя искать.

Володя рассердился:

— Как тебе не стыдно! Чтоб я приехал в Одессу, и к вам не зашел!

Он пообедал у нас, причем ему особенно понравился вертут (сладкое слоеное тесто с орехами и медом), который приготовила моя жена.

Помню еще один его приезд в Одессу, когда он выступал в Летнем саду. Разумеется, Володя навестил нас. А у нас в то время было много канареек, они вели

себя очень свободно, одна даже села ему на плечо, и Володя с интересом ее рассматривал. Потом он пригласил нас к себе в гостиницу, угощал. А вечером пошли на его выступление. Сидели мы в ложе — я, моя жена и дочка Танечка.

Во время выступления Маяковский говорил что-то о мещанах и канарейках. И вдруг повернулся в нашу сторону и говорит, обращаясь к нашей дочке:

— Ты только не думай, Танюша, это не относится к твоим канарейкам.

Последний раз он приезжал в Одессу в 1928 году и, как всегда, навестил нас. Но в этот раз он был невеселый, часто задумывался, говорил, что устал.

В начале 1930 года, когда Маяковский устраивал свою выставку, я побывал в Москве. Володя тогда очень волновался, говорил, что у него много неприятностей. Но он, как всегда, был энергичным, бодрым. И ничто не говорило о близкой и неожиданной его смерти.

Январь 1966 г.

Х. Н. Ставраков

ДВА ПОЭТА

В моей жизни мне посчастливилось встретиться с двумя великими поэтами. И обе эти встречи связаны с близким моему сердцу Кутаиси.

Наша семья поселилась в Кутаиси в конце прошлого века. Тогда это был провинциальный городок, отсталый в промышленном отношении (сейчас там крупный автомобильный завод и другие предприятия). Но и тогда он выглядел очень живописным. На правом, гористом берегу расположены небольшие домики, утопающие в садах, а на вершине горы — развалины храма Баграта, построенного в первой половине XI века. В центре города небольшой парк.

Недалеко от центра, на самом берегу Риони, красивое двухэтажное здание классической гимназии, куда я поступил в 1899 году и где проучился до 1907 года.

Мы, ученики гимназии, знали, что в этом же здании в свое время сидел за партой ставший известным грузинский поэт Акакий Церетели.

И какова была наша радость, когда мы встречали на улицах Кутаиси его самого — правда, уже постаревшего, убеленного сединой.

— Поэт Акакий! Поэт Акакий! — слышались со всех сторон слова, произносимые с гордостью и восхищением.

Еще бы! Народ и мы, молодежь, знали и любили его, многие его стихи помнили наизусть.

Особенное восхищение вызывали у нас его стихи, написанные в памятные дни революции 1905 года. Мы

с воодушевлением читали на грузинском языке его смелые революционные строки:

Слава народу! Гневные реки
Слились в поток, чтобы смыть самовластье,
Чтобы восторжествовали навеки
Равенство, братство, свобода, согласье!

Его знаменитое стихотворение «Долой!» как нельзя более отвечало нашим чувствам, воспламененным первой русской революцией:

Мы века томились, горе
Придавило нас горой.
Спали мы — теперь проснулись,
Встали, молвили: «Долой!»

Нашей кровью, нашим пóтом
Пропитался шар земной.
Мы теперь кровавой власти
Говорим в лицо: «Долой!»

В эти же годы я узнал другого великого поэта, который, правда, еще не был никому известен, да и сам не подозревал о своей будущей славе.

Это был Владимир Маяковский, учившийся в той же кутаисской классической гимназии, где учился и я.

Володя моложе меня на пять лет, но он был рослым и очень развитым, что позволяло ему сближаться со старшими товарищами.

Мой отец служил в ведомстве земледелия в Кутаиси, а отец Володи Маяковского — лесничим в Багдади. Но Александра Алексеевна, жена лесничего, с детьми Володей и Олей, учившимися в гимназии, жили в Кутаиси.

Хорошо помню отца Володи Маяковского — Владимира Константиновича. Он был высокий, плечистый, говорил громко, любил детей и молодежь, всегда был весел и радушен. Впоследствии, когда я бывал на Кавказе, слышал о нем хорошие отзывы, как о человеке, демократически настроенном, душевном и простом. Мать Володи, Александра Алексеевна, сыграла большую роль в жизни и воспитании своих детей. Она никогда не говорила повышенным или раздраженным голосом, всегда сохраняла спокойное и ласковое отношение к ним, а главное, у нее всегда с детьми была общность во взглядах на жизнь. Родители готовы были во всем отказать себе, чтобы дать детям образование.

С самим Володей, хотя мы учились в одной гимназии, я встречался тогда не часто. Чаще видел его сестру Олю, так как бывал в семье моего товарища по гимназии Григория Корганова, и там же бывала Оля Маяковская, дружившая с сестрами Корганова.

Оля унаследовала от отца прямоту характера и жизнерадостность, которая особенно проявлялась в школьные годы. Хорошо помню ее на вечерах кутаисской женской гимназии, где она неутомимо танцевала и своим весельем увлекала других. Но как только волны революции докатились до Кутаиси, она всю стремительность своего характера направила на участие в работе подпольных кружков учащейся молодежи.

В 1904—1905 годах я встречал ее на занятиях марксистского кружка, которым руководил Г. Корганов. Кружок был небольшой — четыре-пять человек. На его занятиях мы читали и обсуждали популярную марксистскую литературу. Разумеется, говорили и о текущих политических событиях.

Володя Маяковский, хотя ему было всего одиннадцать-двенадцать лет, тоже принимал участие в революционном движении учащихся. Об этом говорил мне мой старший брат Дмитрий, руководивший выступлениями старшеклассников и исключенный за это из гимназии. И я сам встречал Володю на занятиях нашего марксистского кружка, на ученических сходках, нелегальных собраниях и демонстрациях.

2 февраля 1904 года, в 9 часов утра, в Кутаиси, возле Красной речки, у так называемой Язоновой пещеры, состоялась сходка, в которой принимали участие гимназисты и реалисты. Нагрянула полиция и разогнала собравшихся. В этой сходке я был со своими братьями, помнится мне, что там был и Володя. На обратном пути около сельскохозяйственной фермы мы встретили преподавателя Юркевского, который был послан на сходку, как надзиратель, для выявления участников.

Вспоминаю тайное собрание учащихся, на которое мы пробирались поздно вечером. В комнате сидели полукругом на полу, чтобы нас не видели с улицы. Агитатор-большевик вел с нами беседу. На этом собрании был и Володя Маяковский.

Хорошо помню также похороны революционера-большевика Александра Цулукидзе в июле 1905 года.

Похоронная процессия проследовала из Кутаиси в Хони, где и был погребен Цулукидзе. Все расстояние — около двадцати пяти километров — мы шли пешком, причем погода была плохая, сильная грязь. В толпе я видел и Володю Маяковского, он тоже провожал гроб А. Цулукидзе.

Революционные события 1904—1905 годов в Кутаиси, безусловно, оказали большое влияние на Володю Маяковского. По существу, они подготовили его для последующей революционной работы в московском большевистском подполье и, конечно, оказали влияние на формирование его как поэта. Этому способствовала и обстановка в семье Маяковских. Отец, мать и сестры Володи были демократически настроены, жили в дружбе с простым народом, понимали его нужды и интересы.

Мое общение с семьей Маяковских прервалось в 1906 году, так как после смерти Владимира Константиновича они уехали в Москву.

Я в 1906 и 1907 годах, заканчивая гимназию, вынужден был прирабатывать уроками. Летом 1907 года меня пригласили репетитором к детям племянницы Акакия Церетели, княжны Дадешкильяни, в селение Сачхери. И какова была моя радость, когда, приехав туда, я встретился и познакомился с великим поэтом!

Акакий Церетели (племянница жила в его доме) встретил меня приветливо, радушно. Расспрашивал о гимназии, интересовался, что я читаю, говорил о поэзии, с особенной любовью и теплотой отзывался об Илье Чавчавадзе, о влиянии русской литературы на грузинскую.

Под конец нашей беседы, проходившей в его рабочем кабинете, он сказал:

— Я очень доволен, что мы можем вас устроить. Завтра я уезжаю, и мой кабинет, книги, все в вашем полном распоряжении. Будьте как у себя дома.

Потом он поднялся, распахнул дверь на балкон и показал в сад и на виноградники:

— И это все к вашим услугам, ешьте фрукты, виноград. А захотите вина,— добавил он улыбаясь,— и это найдется в нашем доме.

Я, конечно, очень жалел, что мне так скоро предстоит расстаться с замечательным поэтом и таким го-

степриимным хозяином. Если я этого не сказал ему, то Акакий Церетели, наверное, прочел это на моем лице. На прощание он распорядился, чтобы племянница подарила мне его портрет, где он сфотографирован вместе с ней.

Этот портрет я храню до сих пор. На нем я вижу доброе лицо седовласого поэта, каким я видел его в тот день. Думаю, что и Володя Маяковский видел его таким же на улицах Кутаиси.

Теперь продолжу рассказ о другом поэте — Маяковском. С ним и его семьей я встретился вновь уже в Москве, куда приехал осенью 1907 года поступать в университет.

В Москве Маяковские жили в трудных условиях. Александра Алексеевна получала небольшую пенсию. Людмила Владимировна после смерти отца, как старшая, заботилась об устройстве жизни сестры и брата. Она училась и работала, весь свой заработок отдавала в дом и о личной жизни забывала. И все-таки средств не хватало. Приходилось часть нанимаемой квартиры сдавать студентам. И я много раз слышал от тех, кто у них жил, что лучшей хозяйки, чем Александра Алексеевна, нельзя найти, что каждый чувствует себя в квартире Маяковских, как в родной семье. Здесь, если устраивались какие-нибудь празднества, все собирались вместе, никто не чувствовал себя обособленным. Из квартирантов Маяковских мне запомнились две сестры мингрелки Туркия.

Семья Маяковских дружила с семьей Ладо Месхишвили. С его дочерьми Ниной и Варей я встречался в Москве в семье Маяковских. На этих встречах мы вспоминали о бурных годах, проведенных в Кутаиси, о кутаисском театре, которым руководил Ладо Месхишвили, сделавший его трибуной пропаганды передовых идей того времени.

На этих встречах бывал и Володя, его все это интересовало, он слушал, спрашивал, но о себе ничего не говорил,— в то время он был уже членом подпольной партии большевиков, вел революционную пропагандистскую работу.

Володя был очень способный, с широким кругозором для своего возраста, чем всегда удивлял не только меня, но и моих братьев, Дмитрия и Михаила, которые тоже

учились в Москве и бывали у Маяковских. Он во всем разбирался, все понимал, мы же, зная его возраст, никак не могли отказаться от представления, что он еще мальчик. Бывало так, что мы соберемся со студентами у Маяковских, Володя тоже с нами. Иногда мы старались выдворить его, как младшего, а смотрим, он выскажет такую мысль, что всех нас поразит своими знаниями.

В литературе я и другие студенты всегда от него отставали. У него размах был больше, он много читал, так что я не поспевал за ним. Он знакомил меня с новым направлением в искусстве, сам я не мог уделять много времени литературе. Способности были у него очень большие, и чувствовалась внутренняя сила. В то время я, студент историко-филологического факультета, не только изучал свой предмет, русскую литературу, но и читал марксистскую литературу — Ленина, Плеханова, Каутского. Читал я также Добролюбова, Чернышевского, Михайловского. В семье Маяковских тоже всем этим интересовались, всегда говорили на злободневные политические темы.

Я припоминаю разговор с Александрой Алексеевной, которая делилась со мной своими переживаниями после второго ареста Володи. Она не осуждала сына, но беспокоилась, что он не получил законченного образования.

— Я знаю, Володя способный мальчик,— говорила она,— но ему надо серьезно учиться.

Я, утешая ее, говорил, что Володя восполнит пробелы, так как всегда стремится к знаниям. И в самом деле, даже когда сидел в тюрьме, он прислал письмо сестре Люде, в котором просил ее достать книги и передать ему для занятий по самообразованию. Помнится, Людмила Владимировна взяла тогда у меня для Володи книгу Челпанова по психологии и его «Введение в философию».

В Москве мне снова довелось встретиться и даже жить в одной комнате с моим кутаисским товарищем Григорием Коргановым. Это был прекрасный, удивительной честности человек. Он и здесь продолжал революционную работу среди студентов. А позже со всем пылом и страстностью отдался борьбе за Советскую власть и в 1918 году трагически погиб в числе двадцати

шести бакинских комиссаров, зверски казненных английскими интервентами.

Как я уже говорил, Володя Маяковский знал Г. Корганова еще в Кутаиси. Встречался он с ним и в Москве, бывая у меня. Позже, в 1924 году, он посвятил славным бакинским комиссарам прекрасное стихотворение, где, обращаясь к ним, писал:

Вы
не уйдете
из нашей памяти:
ей
и века — не расстояние.

Запомнились мне две встречи с Маяковским в Москве. Одна в 1909 или в 1910 году, когда Володя работал в большевистском подполье.

Как-то поздно вечером он зашел к нам в студенческое общежитие, которое находилось на Большой Грузинской улице.

— Можно у тебя переночевать?

Я охотно предложил ему свою койку, но Володя запротестовал:

— Нет, постели мне вот здесь, на полу.

Так на полу он и переспал, а рано утром ушел.

Вторая наша встреча состоялась двумя-тремя годами позже. Мы встретились на Тверском бульваре и присели близ памятника Пушкину. Володя сказал, что пишет стихи, и прочел мне свои первые опыты. Разговорились о поэзии, зашла речь и о Пушкине. Володя сказал, что любит Пушкина не такого, каким его изображают в критических статьях и исследованиях, а таким, каким он был и остается в своих стихах.

Спустя много лет я ярко припомнил этот разговор, прочитав в стихотворении Маяковского «Юбилейное» следующие строки:

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

По окончании Московского университета я уехал на работу в Ставрополь и длительное время не встречался с Маяковским.

Только в 1926 году мне удалось побывать в Москве. Я зашел к Маяковским, мне сказали, что Володя приехал из Америки и что хорошо бы с ним повидаться.

И вдруг, иду я по Мясницкой и вижу его громадную, рослую фигуру. Он горячо обнял меня, расцеловал. Мы условились, что придем на следующий день к его маме. Но почему-то он не смог приехать.

Больше мне не довелось его видеть.

Я хорошо знал одного из преподавателей кутаисской гимназии, который оказал благотворное влияние на воспитание Володи Маяковского. Это был Всеволод Александрович Васильев. Он преподавал русский язык и был классным руководителем в классе, в котором учился Володя. Я с ним встречался в Ставрополе, где он был директором педагогического техникума.

Последние годы Всеволод Александрович жил в Пятигорске и был профессором литературы в педагогическом институте. В 1963 году, за год до его смерти, мы с ним осматривали памятные места в Пятигорске. У места дуэли М. Ю. Лермонтова присели отдохнуть, разговорились о прошлом, о кутаисской гимназии, вспомнили и о трагической смерти Маяковского.

Всеволод Александрович рассказал о любознательности Володи Маяковского, о его любви к чтению и как он, по поручению учителя, читал вслух для своего класса; его чтение было четко, выразительно и нравилось ученикам.

Сам Всеволод Александрович тоже был прекрасным оратором и чтецом. И здесь, у места гибели Лермонтова, старый учитель припомнил и взволнованно прочел строки стихов своего гениального ученика Владимира Маяковского:

Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
достоин лежать я
с легшими под красным флагом.

Эти строки как бы подытожили наши раздумья о преждевременной смерти Маяковского.

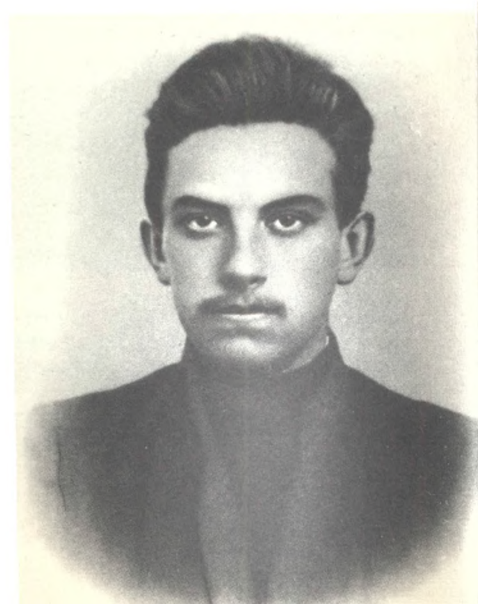
Февраль 1966 г.



Семья В. В. Маяковского. Стоят: отец Владимир Константинович и сестра Людмила Владимировна. Сидят: мать Александра Алексеевна, сестра Ольга Владимировна и В. Маяковский. *1905 г.*



В. В. Маяковский. *1903 г.*



В. В. Маяковский. *1908 г.*

П. П. Лидов

МАЯКОВСКИЙ ПОД СУДОМ

Среди огромного количества заметок, посвященных Маяковскому, не появилось ни одной, касающейся значительного момента в его жизни, когда он в 1909 году, четырнадцатилетним [1] юношей, предстал перед особым присутствием судебной палаты по обвинению в политическом преступлении, предусмотренном 102-й статьей Уголовного уложения.

Мне довелось защищать тогда Маяковского.

29 марта 1908 года в Ново-Чухинском переулке, в квартире портного Лебедева был произведен обыск в комнате недавно поселившихся жильцов: молодого человека Сергея Иванова и мещанина Жигитова, оказавшегося Тимофеем Трифоновичем Трифоновым. Под кроватью был найден типографский шрифт, восемь гранок набора, рама, станок и валик для печатания, зеркало для растирания краски, большое количество прокламаций и рукописей, а также пять паспортов на имя разных лиц.

В записной книжке Иванова оказались заметки, указывающие на его связь с Московским Комитетом социал-демократической партии. Не было сомнений, что удалось захватить одну из подпольных типографий. За квартирой установлено было наблюдение. Вскоре удалось задержать на улице самого Трифонова, у которого найден был блокнот с заметками, свидетельствовав-

---

[1] Маяковский был арестован 29 марта 1908 года, когда ему еще не было пятнадцати лет, а ко времени суда исполнилось шестнадцать лет.

шими о близкой связи Трифонова с центральными парторганизациями. В кухне была устроена засада. Часа в два дня к квартире со свертком в руках подошел юноша, заявивший находившимся в засаде городовым, что он пришел к портному. Его доставили в участок, где, по удостоверению личности, он оказался дворянином Владимиром Маяковским, четырнадцати лет от роду.

Вместо материала для портного в свертке оказалось семьдесят шесть экземпляров подпольной газеты «Рабочее знамя», семьдесят экземпляров прокламаций «Новое наступление капитала», набранные гранки которой найдены были в комнате, и четыре номера «Солдатской газеты», органа Военной организации при Московском Комитете.

Трифонов от всяких объяснений отказался и разговаривать со следственными властями не пожелал. Он ограничился заявлением о том, что все найденное принадлежит ему. Иванов тоже не дал никакого материала.

Старания охранки сосредоточились на Маяковском. Казалось, что мальчика легко будет и запутать и заставить дать подробные показания. Но «мальчик» оказался смышленый и не очень словоохотливый. Он утверждал, что не знал о содержимом свертка, который нес в эту квартиру по просьбе своего товарища Александра, мало ему знакомого, которого он встречал только на улице. Трифонова «он совсем не знал».

Видя, что юноша из молодых, но «ранних», следственные власти решили поставить дело на суд по всем правилам судебного процесса. Затруднение было в том, что и второй обвиняемый, Иванов, тоже не достиг семнадцати лет, а чтобы судить малолетних, надо было установить, что они «действовали с разумением», то есть сознавая и понимая все совершаемое.

Дело было предварительно передано в закрытое заседание окружного суда. Последний 23 сентября 1908 года признал обоих действовавшими «с разумением». После этого дело было передано для разбора в судебную палату с участием сословных представителей.

Обвинялся Маяковский в участии в «преступном сообществе — Московской организации социал-демократической рабочей партии, заведомо поставившей себе целью насильственное посягательство на ниспроверже-

ние образа правления путем организации вооруженного восстания», для чего была оборудована тайная типография и в ней печатались воззвания МК социал-демократической партии.

Для суда было ясно, что юноша не хочет говорить правды и что он укрывает хорошо известных ему лиц.

Оправдать было нельзя. Осудить у «особого присутствия» не хватило решимости... Прокурор все же был последователен и, опираясь на признание судом Маяковского ответственным за свои действия, доказывал, что речь идет о таких вещах, которых нельзя не «разуметь» и за которые, несмотря на молодой возраст, обвиняемые должны дать ответ.

Оскорбительные отзывы о царской власти, призывы к солдатам стать на сторону народа против царя-кровопийцы — этого было достаточно, чтобы «устранить» на значительный срок юношу, занимающегося распространением подобной литературы. Защите оставалось говорить только о молодости, о четырнадцати годах, об условиях жизни той эпохи, зовущих молодые жизни на арену борьбы...

По-видимому, у судей были большие разногласия. Раздался звонок, извещающий о выходе суда для оглашения приговора.

Маяковский внешне бравировал деланным безразличием и спокойствием... Прозвучали первые слова приговора, касавшиеся Трифонова... Юноша опустил голову, но тотчас глаза его широко открылись, и он, как говорят в школе, «уставился» на фигуру председателя.

И вдруг — неожиданно и противоречиво всему только что происходившему — прозвучало: «...признать действовавшим без разумения и отдать на попечение родителей».

Н. И. Хлестов

ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ

Мои воспоминания о Владимире Владимировиче Маяковском относятся к далекому прошлому.

В 1909 году я приехал из Саратова в Москву и поступил в филармоническое училище (ныне ГИТИС), в класс сольного пения профессора Донского. Необходимо было найти комнату, а по моим деньгам лучше бы полкомнаты или койку. Цены на комнаты близ училища, в центре Москвы, были для меня недоступны, да и владельцы их, узнав, что я учусь пению, не хотели пускать на квартиру — будет-де беспокойно.

Усталый, расстроенный, иду я по Долгоруковской (ныне Каляевская). Вижу объявление: «В глубине двора сдается комната». Слово «глубина» меня обрадовало, наверное, думаю, будет подешевле. И в самом деле, с улицы дома стояли хорошие, каменные, здесь жила публика побогаче. Дальше, во дворе, постройки похуже, победнее. А в самом конце двора, в «глубине» его, я нашел небольшой старый деревянный домик. Позвонил. Дверь открыла пожилая женщина, которая с первого взгляда понравилась мне. У нее было спокойное, доброе лицо, умные карие глаза, тихий, ласковый голос. Одета скромно и опрятно.

Она показала мне небольшую комнату. Первое, что мне бросилось в глаза,— книги. Книгами была набита полка над кроватью, стопками лежали они на столе, на подоконниках. В комнате два окна с простенькими белыми занавесками. Между окон стол с ящиками, несколько стульев, две железные простые койки, вешалка. Ничего лишнего, но все необходимое было. В комнате чисто, светло.

Я спросил:

— А почему здесь две койки?

Хозяйка, смутившись, ответила, что в этой комнате живет ее сын.

— Он не будет вам мешать, дома бывает мало и здесь будет только ночевать.

Видимо, она беспокоилась, что мне не понравится соседство ее сына, а я, наоборот, обрадовался: наконец-то я нашел то, что искал,— полкомнаты.

Хозяйка назначила за комнату небольшую плату, намного меньше тех, где я побывал, и мы договорились. Я счел своим долгом предупредить, что учусь пению. Ожидал, что ей это может не понравиться, но она, внимательно посмотрев на меня, сказала:

— У нас в квартире живет близкая подруга дочери, у нее есть пианино. Я попрошу ее, и, думаю, она разрешит вам им пользоваться. Она студентка, уйдет на лекции, а вы будете играть.

Эта добрая, сердечная женщина была Александра Алексеевна Маяковская, мать будущего великого поэта. Она открыла мне дверь в квартиру Маяковских, где я встретил внимание, заботу, дружбу и прожил лучшие годы своей жизни.

Поселился я у Маяковских в тот же день. Познакомился с дочерями Александры Алексеевны — Людой и Олей. А сына ее дома не оказалось. Рано вечером я лег спать.

Утром проснулся, чувствую, что на меня кто-то смотрит. Открыл глаза. Вижу, напротив лежит юноша и разглядывает меня. Он смотрит на меня, я на него. Лежим, смотрим друг на друга и молчим. Потом он пробасил:

— Я слышал, что вы поете.

— Да, я приехал в Москву учиться пению.

— Это очень хорошо. Ну-ка спойте что-нибудь,— попросил юноша.

Лежа на койке, я запел романс Гречанинова «Узник». Я пел и наблюдал, какое впечатление производит на него пение.

Сижу за решеткой
В темнице сырой,
Вскормленный в неволе
Орел молодой,—

пел я. И вижу, лицо юноши стало сосредоточенным, даже мрачным. Потом он как-то встрепенулся, поднялся на койке, я тоже. Все время, пока я пел, он очень внимательно слушал меня, и его лицо так выразительно реагировало на мое пение, что я еще больше воодушевился, и, когда дошел до кульминации:

Мы вольные птицы,
Пора, брат, пора,—

оба мы в белье вскочили с коек, он взмахнул головой, потом руками и сам стал похож на какую-то большую птицу. Конец романса мы закончили вместе:

Туда, где за тучей
Белеет гора,
Туда, где синеют
Морские края,
Туда, где гуляет
Лишь ветер да я.

Тут он схватил меня, завертел, закружил по комнате и загудел своим басом:

— Здорово поешь, молодчина, очень здорово!

Это необычное знакомство как-то сразу нас сблизило, подружило. Мы перешли на «ты», я стал называть его Володей, он меня Николой.

Когда я поселился у Маяковских, им жилось трудно.

После смерти отца, Владимира Константиновича, семья чувствовала себя осиротевшей. К тому же и материальное положение их было тяжелое. Александра Алексеевна была удручена смертью любимого мужа, нуждой и заботой о детях. Но она не теряла бодрости и старалась изо всех сил помочь семье: сдавала комнаты, готовила обеды квартирантам и вела все хозяйство, работая от раннего утра до позднего вечера.

Людмила Владимировна, красивая девушка, с твердым, волевым характером, тоже всецело отдавала свою жизнь семье и имела большое благотворное влияние на младших: брата Володю и сестру Олю. Много раз я слышал, как Оля и Володя говорили между собой:

— А ты спрашивал Люду, она разрешила тебе это?

Оля, эта веселая девушка, рассказывая об отце, делалась тихой, серьезной. С такой же любовью, с тем же выражением она говорила о своей старшей сестре. В за-

труднительных случаях Володя и Оля шли к Людмиле Владимировне и всегда получали добрый совет.

Никогда в семье Маяковских я не слышал грубых слов, окриков, ссор, даже замечаний. Трудовая жизнь Александры Алексеевны и Людмилы Владимировны, их высокие моральные качества, безупречный образ жизни оказывали большое влияние на Володю и Олю, и они старались во всем подражать им, брать с них пример. Оля и Володя всегда называли Александру Алексеевну «мамочкой». Володя очень любил свою мать. Часто вечером Александра Алексеевна садилась отдохнуть в старенькое кресло, Володя устраивался у ее ног на скамеечке, и так подолгу сидели они, о чем-то тихо беседуя.

Оля была веселая, подвижная, очень остроумная девушка. Придумывала всякие игры и проказы. Приходя из гимназии, она вносила большое оживление: острила, рассказывала что-нибудь смешное, заразительно смеялась, тормошила Володю, и мы поднимали шум, крик, беготню по коридору. Но достаточно было появиться Людмиле Владимировне и сказать: «Мама отдыхает»,— и все сейчас же затихали.

Часто у нас собиралась молодежь: подруги Оли, мои товарищи — музыканты, певцы. Сходились в комнате подруги Людмилы Владимировны — Буды Степановны, где было пианино. Пели, слушали музыку, Володя читал стихи, танцевали. Оля любила танцевать, а Володя хотя и не танцевал, но был вожаком наших собраний. Людмила Владимировна переносила свой мольберт к Буде Степановне и работала. Иногда, выглянув из-за мольберта, бросала какую-нибудь остроумную реплику. Заходила к нам и Александра Алексеевна, просила что-нибудь сыграть или спеть. Ее просьба сейчас же исполнялась.

Людмила Владимировна училась в Строгановском училище, но кроме учебы выполняла много частных заказов и своим заработком значительно облегчала положение семьи. Случались такие дни, когда у Маяковских утром к чаю не было хлеба, и тогда Людмила Владимировна доставала необходимую монету, возможно, из аванса, выданного ей на покупку материала, и хлеб появлялся. Не помню, чтобы Людмила Владимировна пошла хотя бы в кино или погулять, она только посе-

щала выставки по искусству. Остальное время все работала, работала.

Маяковские жили небогато, но никогда не голодали и умели находить выход из затруднительных положений. Обстановка в квартире была скромная, всегда чисто, убрано. Прислуги, как тогда называли домашних работниц, у них, конечно, не было. Все делали сами, главным образом Александра Алексеевна, остальные помогали по мере возможности.

Они много читали, особенно Володя, интересовались музыкой, живописью, скульптурой, литературой. Все новое, прогрессивное, передовое всегда вызывало у них большой интерес и находило живой отклик.

Дружба, внимательное, чуткое отношение друг к другу, царившие в семье Маяковских, благотворно влияли на всех жильцов. Все мы жили дружно.

Однажды кто-то из Маяковских достал два билета в оперу «Фауст» с участием Шаляпина. Всем хотелось послушать знаменитого певца. Видя это, Людмила Владимировна предложила разыграть билеты по жребию между всеми живущими в квартире. Билеты достались Буде Степановне и мне. Все были довольны, что именно мне, певцу, достался билет. Оля наказывала:

— Хорошенько слушайте, все запомните, потом нам расскажете, споете и изобразите шаляпинского Мефистофеля.

При этом забавно запела:

На зе-е-мле-е ве-есь ро-о-д люд-ской...

Шаляпина я слышал в первый раз, и его исполнение Мефистофеля поразило меня. Я запомнил все арии и пел их дома, изображая Мефистофеля. Не знаю, как это получалось, но Оле и Володе нравилось.

К нам часто приходил мой товарищ — Николай Петрович Артемьев. Он тоже учился у Донского, имел хороший бас и часто пел у Маяковских. Оба мы были Николаи, и Оля называла меня «Коля-баритон», а его «Коля-бас». «Коля-бас» тоже дружил с Володей, ходил с нами на прогулки за город.

Когда я поселился у Маяковских, Володе было шестнадцать лет. Это был не по годам развитый, начитанный, одаренный юноша. В его библиотеке я нашел сочинения Некрасова, Толстого, Гоголя, Горького, Досто-

евского, Чехова, Ибсена и других классиков литературы; книги по философии и политической экономии — сочинения Фейербаха, Дицгена и других авторов, а также учебники по алгебре, геометрии, физике, литературе, латыни, по немецкому языку. Одно время он готовился сдать экзамен за полный гимназический курс, но, как я потом узнал, не смог этого сделать из-за ареста. Оказалось, Володя не получил законченного образования. Лет пятнадцати он вступил в большевистскую партию, вел активную пропагандистскую работу, и ему пришлось уйти из пятого класса гимназии, так как его могли исключить без права поступления в другие учебные заведения. Недостаток образования он усиленно пополнял упорными занятиями, систематически, углубленно изучал научную и художественную литературу.

Разумеется, Володя ничего не рассказывал мне о своей подпольной партийной работе. Но вот однажды я пришел домой и, как обычно, позвонил. Дверь мне открыл пристав. Меня тут же обыскали, допросили и без всяких причин отправили в Сущевскую тюрьму.

Сначала меня посадили в камеру одного. Я впервые попал в тюрьму, да еще в одиночную камеру. Сидеть одному тоскливо. И стал я потихоньку напевать все, что знал: песни, романсы, арии. Хватило почти на целый день, и было не так грустно. На следующий день перевели меня в другую камеру, а там оказался Володя Маяковский. Мы оба очень обрадовались.

— Ага,— говорит Володя,— и тебя, Никола, тоже забрали... Ну меня-то уж ладно, не в первый раз, а вот тебя-то как же это захватили?

Я рассказал, что у них в квартире полиция устроила засаду и всех, кто приходил, обыскивали и отправляли в тюрьму. Вот так и я попался. Володя присвистнул:

— Вот оно что, а я и не знал об этом. Меня-то утром на улице зацапали. Да... теперь, пожалуй, многих заберут. Только все это без толку, я уверен, что у нас выставлен условный знак: кого ищут, тех и не поймают. Останется полиция в дураках. Ну ничего,— успокаивал он меня,— посидишь немного, будешь нам петь, попросим Люду, принесет книги, займемся чтением. Не горюй, тебя скоро выпустят.

Володя сильно переменился в тюрьме, как-то окреп, возмужал. В то время среди сидевших политзаключенных были люди намного старше Маяковского, сидевшие много раз в тюрьме, бывшие в ссылке. Тем не менее они выбрали его старостой, и он очень хорошо выполнял эту обязанность: был настойчив, требователен, когда нужно, гремел своим басом на весь тюремный коридор.

Однажды нам принесли испорченную пищу. Он настоял, чтобы ее переменили. Иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать то, что ему было нужно.

Как-то я спросил одного из надзирателей:

— Почему вы его так слушаетесь?

Надзиратель усмехнулся:

— Парень уж очень занятный, а голосина-то какой — ему бы начальником быть или командиром.

Маяковский сумел объединить заключенных: все наши решения принимались единодушно. Благодаря его настойчивости нам продлили время прогулок. Он ухитрялся собирать политических в одну камеру, где я развлекал своих товарищей пением.

В тюрьме Володя любил читать вслух стихи Некрасова, Алексея Толстого, и читал их очень своеобразно, разбивая каждое слово, делая всевозможные комбинации. Например, стихи А. Толстого:

Да здравствуют тиуны —
опричники мои,

он читал примерно так:

Да, да... д...а
да здра... да здра... да здравствуют...
да здравств... уют
уютт... уютт...

При этом был очень сосредоточен, внимательно слушал, как звучит каждый слог, каждый звук. Он настолько увлекался своим чтением, что не слышал, когда я его о чем-нибудь спрашивал. Меня удивляло такое чтение, и я говорил:

— Зачем ты так уродуешь слова?

Он сердился:

— Ты ничего не понимаешь, а мне это очень нужно.

Вечерами Володя долго сидел за книгами, которые по его просьбе доставляла ему Людмила Владимировна.

Читал «Капитал» Маркса. Надзиратель разрешил передать эту книгу в камеру, определив по названию, что «книга полезная». Читал Фейербаха, Дицгена. Не желая ему мешать, я ложился на койку, но не спал, а наблюдал его. Время от времени Володя отрывался от книги и устремлял взгляд куда-то, подолгу сидел в неподвижной позе, о чем-то размышляя.

Я просидел в тюрьме недели три. Улик против меня никаких не нашли и освободили. А месяца через полтора освободили и Володю.

И мы по-прежнему стали жить вместе. Часто вдвоем уезжали за город, в Сокольники, в парк Тимирязевской академии и в другие места. Перед выходом на прогулку Володя тщательно чистил свою единственную черную сатиновую рубашку и брюки. Он брал с собой большой альбом в сером холщовом переплете, карандаши, резинку. Володя обращал на себя внимание прохожих широким шагом, размахиванием рук, густым, басовитым голосом. Многие оборачивались и глядели нам вслед.

В парке он вдыхал полной грудью и говорил:

— Ух как хорошо, замечательно!

Он обладал какой-то необычной наблюдательностью, особой зоркостью: умел видеть, слышать и запоминать то, мимо чего другие проходили. Обязательно что-нибудь зарисует, запомнит какой-нибудь интересный разговор, остроумное выражение. Память у него была поразительная. Из каждой прогулки он обязательно выносил какое-нибудь интересное наблюдение, яркое впечатление.

Вспоминаю одну прогулку в парк Тимирязевской академии. Был какой-то праздник, много нарядной гуляющей публики. Володя быстро шагает по парку. Вдруг остановился:

— Смотри-ка, какой обормот сидит!

И действительно, на главной аллее сидел типичный буржуй. Мужчина лет сорока, в светлом, тщательно отутюженном костюме. Лицо надменное, выхоленное. Рыжие усы закручены в колечки. На брюшке массивная золотая цепочка с брелоками. Руки, с перстнями на пальцах, уложены на цветном набалдашнике массивной палки так, чтобы все видели перстни. Рядом с ним женщина под стать ему, богато, но безвкусно одетая.

Весь вид их, казалось, говорил: «Смотрите на нас, какие мы богатые, нарядные».

Володя открыл альбом и стал быстро рисовать. Они заметили, что их рисуют, и, видимо, были довольны. Мужчина приосанился и выставил напоказ свою золотую цепь. Володя уже схватил основные черты, потом резко перечеркнул рисунок:

— К черту, не могу писать эту противную рожу.

Он снова быстро зашагал по парку. Я устал бегать за ним, предложил вернуться домой, но он не хотел возвращаться, ничего не зарисовав. Сели у пруда, сидим. Вдруг Володя опять схватился за альбом:

— Смотри, смотри, какой парнишка идет!

По аллее шел мальчик лет шести-семи. Весь его вид резко диссонировал с нарядной гуляющей публикой. На босых ногах стоптанные башмаки, штанишки немного ниже колен, застиранная рубашонка неопределенного цвета, на голове забавные вихры торчат в разные стороны. Он шел медленно и сосредоточенно, запустив палец в нос.

Володя стал быстро рисовать и все твердил:

— Ой не успею, не успею! Как бы его задержать?

Когда мальчик поравнялся с нами, Володя ласково сказал ему:

— Мальчик, вынь ножку из носика.

Мальчик остановился и никак не мог понять, о какой ножке ему говорят. Не вынимая пальца из носа, он с недоумением посмотрел на свои ноги. А Володя, быстро-быстро рисуя, повторял:

— Ножку, ножку вынь из носика. Вынь ножку.

Озадаченный мальчик продолжал стоять возле нас, и Володя успел его зарисовать.

— Ну вот, теперь можно и домой ехать! — сказал он. По дороге несколько раз любовался рисунком и улыбался.

Запомнилась мне еще одна прогулка, на Ваганьковское кладбище. Володя взял тогда с собой краски. Пришли мы на кладбище и стали выбирать сюжет для зарисовки. Я указал ему на один красивый памятник. Он подошел, прочел надпись: «Купец первой гильдии Сидоркин» (или Ситников, что-то в этом роде), и говорит:

— Нет, чтобы я стал рисовать памятник купца, да еще первой гильдии!.. Пошли дальше.

Вышли мы на самый конец кладбища — открытое место, ни одного деревца. Володя увидел одинокий покосившийся крест.

— Вот это я буду писать.

Сел и начал работать. День был пасмурный, низкие облака, помятая трава, покосившийся старый крест. Печальная картина подействовала и на меня. Я присел рядом и стал потихоньку напевать грустные песни: «Долю», «Лучинушку», «Меж высоких хлебов», «Долю бедняка». Володя писал и слушал.

— Пой, пой еще,— говорил он.

Особенно ему понравилась старинная русская народная песня времен крепостного права «Доля бедняка»:

Ах ты, доля, моя доля,
Доля бедняка.
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька.
Не твоя ль жена в лохмотьях,
Ходит босиком,
Не твои ли, бедняк, дети
Просят под окном...

По просьбе Володи я спел ее еще два раза.

Сидим мы так час, другой, третий. Володя пишет, а я все пою. Я тогда мог петь целый день. Потом Володя говорит:

— Знаешь что, ведь есть хочется, сходи купи чего-нибудь, а я пока порисую.

— Сходить-то я схожу, а деньги где? — отвечаю я.

Он усмехнулся.

— А вот гляди — гривенник,— и вынул из широких штанин монету.

— А как же на трамвай, ведь это последний?

— А, ерунда, тут близко, дойдем пешком. Из Сокольников пешком ходили, а здесь пустяки. Иди хлеба побольше купи.

Я принес колбасы и хлеба, и мы принялись за еду.

— А как ты думаешь, кто лежит под этим крестом? — спрашиваю я Володю.

— Да уж, конечно, не Сидоркин. Вот про кого ты пел, он и лежит здесь.

Володя с большим увлечением работал над этюдом, и работа вышла удачная. Я назвал его этюд «Забытая

могила». Видя, что он мне нравится, Володя подарил мне его на память.

Летом, во время каникул, я отвез этюд в Саратов и поручил сестрам беречь его, но в городе случился большой пожар, и дом, где мы жили, сгорел. Погиб и этюд, о чем я до сих пор жалею.

Я прожил у Маяковских две зимы — 1909 и 1910 годов. И хотя наши взгляды и настроения во многом сходились (впоследствии я, так же как и Маяковский, безоговорочно принял Октябрьскую революцию и стал работать с Советской властью, для своего народа), Маяковский не любил рассказывать о себе и никогда не говорил о своей партийной принадлежности и работе в большевистском подполье. Только позже, уже после революции, я узнал, что он был принят в 1908 году в члены Российской социал-демократической партии (большевиков) и что принимал его Владимир Ильич Вегер (партийная кличка — Поволжец).

Между тем В. И. Вегера я хорошо знал и дружил с ним. Он был мой земляк, саратовец, прекрасный русский человек, член большевистской партии с 1904 года. Мы познакомились с ним в 1905 году, когда он учился в реальном училище, вместе работали в общегородском комитете, руководившем забастовками учащихся в Саратове. Вегер был председателем комитета. Это был всесторонне развитый, энергичный, талантливый юноша, блестящий оратор. Когда он выступал, послушать его приходили не только учащиеся, но и многие родители. Тогда ему было около шестнадцати лет, но он уже приобрел организаторский опыт, и руководимый им забастовочный комитет работал четко, слаженно. Забастовки учащихся в Саратове проходили дружно, организованно. После смерти Маяковского в беседах о нем Вегер всегда особо подчеркивал, что Маяковский вошел в партию во время реакции, когда многие неустойчивые элементы отходили от партии, что он встал в ряды партии в самое тяжелое для нее время.

Летом 1910 года я пригласил Володю Маяковского к нам в Саратов. Там жили моя мама и сестры Надя и Зоя.

Отец наш умер рано, не оставив нам почти никаких средств. Нам помогали старшая сестра и брат. Сестра Зоя училась и работала в земской управе. Я зарабаты-

вал игрой на скрипке и пианино в кино и других местах. Сестра Надя рисовала, иногда лепила барельефы для строек и тоже немного прирабатывала. Вот так мы и жили, вроде Маяковских, небогато, но никогда не голодали.

Когда Володя гостил у нас, он подружился с Надей и Зоей. Надя училась скульптуре. У нее и Володи было много общих интересов. Володя ценил способности моей сестры и помогал ей в ее работе. Они часто и горячо спорили об искусстве. Как помню, главной темой споров были передвижники. Надя их превозносила. Володя, признавая заслуги передвижников, говорил:

— Жизнь меняется, идет вперед, возникают новые отношения между людьми. Революция 1905 года произвела огромный сдвиг в сознании людей, открыла глаза на несправедливость, несовершенство, убожество нашей жизни. Сейчас нарастают новые силы для борьбы за лучшее будущее. Все это должно отражаться в искусстве. Нельзя писать о новом по-старому, нужны новые формы выражения. А что ваши передвижники? Они уже устарели.

Надя никак не могла согласиться, что передвижники устарели. Ее поддерживала Зоя, и они вдвоем нападали на Володю.

Часто спор переходил на литературу. И здесь неожиданно Володя встречал сочувствие и поддержку моей мамы. Она говорила просто, но убедительно:

— Когда я была молодая, книги писались совсем не так, как сейчас. Кто писал так, как Горький? Никто не писал. Вот и выходит, что Володя прав. Какая жизнь, такие должны быть и книги.

Володя очень внимательно, заботливо относился к моей маме, помогал ей в хозяйстве и говорил мне:

— Твоя мама такая же добрая, как и моя.

Вообще, к простым, трудовым людям он всегда относился внимательно, готов был оказать им помощь. Но резко менялся, попадая в буржуазные семьи, издевался, остроумно, зло высмеивал представителей привилегированного класса.

Вспоминается мне одна типично буржуазная семья — мамаша Мария Петровна и пять ее дочерей. Главной заботой мамаши было, как тогда говорили, пристроить дочек, то есть выдать замуж. И мамаша при-

глашала к себе молодых людей, устраивала вечеринки, танцы, ужины. Мы с Володей случайно попали в этот дом. Мария Петровна считала себя знатоком живописи, в их квартире было много картин в мещанском вкусе: пастухи и пастушки с овечками и т. п. Хозяйка явно гордилась своими картинами, но сомневалась, правильно ли они развешаны. Узнав, что Маяковский художник, она обратилась к нему за советом. Володя внимательно осматривал ее картинную галерею и с видом знатока изрекал:

— Гм... да... Я вижу, вы действительно разбираетесь в живописи. Но, конечно, вы правы, не то освещение... Необходимо картины разместить в другом порядке.

— Но как, подскажите, научите,— просила польщенная Мария Петровна.

— А очень просто,— гремел своим басом Володя.— Повесьте их мазней к стенке, а холстом наружу.

Мария Петровна решила принять этот совет за шутку.

В другой раз она показала нам купленную ею уродливую статуэтку и спросила Маяковского, не заказать ли для нее стеклянный колпачок, чтобы не разбили ее. Володя взял в руки статуэтку, осмотрел ее.

— Да, это действительно вещь,— сказал он.— Где это вы только достали такую? Но ведь стеклянный колпачок тоже могут разбить и испортить статуэтку.

— Но как же быть, Владимир Владимирович? — вопрошала хозяйка.

— А очень просто,— ответил Володя,— накройте ее ведром, кастрюлей или каким-нибудь горшком — цела будет.

Таких случаев было немало.

И Мария Петровна все сносила, потому что, как она призналась мне, Володя нравился одной из ее дочерей, и «как знать,— говорила она,— может быть, что-нибудь выйдет». Но, разумеется, из этого ничего не вышло и не могло выйти, так как Володе был противен весь уклад жизни этой буржуазной семьи.

Однажды Володя привел к нам домой студента и сказал:

— Знакомьтесь, мой друг студент Маркиз.

Я не стал расспрашивать Володю о Маркизе, он не любил расспросов. Потом уже я догадался, что Маркиз

был из партийных товарищей Маяковского. Маяковский был с ним в большой дружбе, и с тех пор мы стали бывать везде втроем.

В Саратове, недалеко от Волги, находится большой тенистый бульвар «Липки». Летними вечерами здесь собиралось много гуляющих. Стали и мы ходить туда, как всегда, втроем. Вскоре вокруг нас образовался кружок молодежи, человек двадцать — двадцать пять. Собравшись вечером на бульваре, мы веселой гурьбой шли на Волгу. Брали несколько лодок и отправлялись на Зеленый остров и там веселились. Разводили большие костры, прыгали через высокое пламя, катались с песчаных курганов, устраивали борьбу, водили хороводы, играли в горелки. Маркиз демонстрировал свою силу, ломал или выкорчевывал сухостой для костров. Набегавшись, усаживались у костров. Володя читал стихи, рассказывал что-нибудь интересное.

Все мы любили петь. Пели соло, дуэты, а больше хором. Мы знали много хороших народных, революционных и студенческих песен. Особенно любили студенческую песню о Чернышевском — «Выпьем за того, кто «Что делать?» писал», народную «У зори у зореньки». Из революционных песен нам больше всего нравилась «Смело, товарищи, в ногу». Пели мы и популярную в то время песню «Вечерний звон», причем Володя и Маркиз гудели вдвоем: «бом, бом». Пели с большим увлечением, хор звучал красиво, мощно, выразительно.

Но вот я стал замечать, что Володя в разгар пения куда-то исчезает. Однажды проследил за ним и нашел его лежащим на песке, вдали от костров.

— Ты что тут делаешь? — спросил я.

— Молчи, ложись, гляди и слушай, как тут хорошо, красиво,— ответил Володя.

Я лег. Да, действительно, было замечательно. Нагретый за день песок сверху немного остыл, но глубже был еще теплый. От реки веяло свежестью, прохладой. Вдали ярко горели костры, доносилось стройное пение наших друзей. Молодые, звонкие голоса издали звучали особенно мягко, красиво, задушевно. Тихо плескалась Волга, а над нами во всю ширь раскинулось темное, усеянное яркими звездами небо. Володя любил глядеть на звезды. Он хорошо знал астрономию, называл мне отдельные звезды и созвездия. Мы лежали и любова-

лись ночным звездным небом, а наши товарищи как будто бы для нас пели нашу любимую:

У зори у з-о-о-реньки
много я-а-а-сных звезд,
а у темной-то но-о-о-ченьки
им и счету нет...

Девушки были у нас бойкие, любили подшутить над ребятами, сочиняли забавные песенки, частушки. Больше всего подсмеивались над Маркизом. Он сторонился девушек, а это, видимо, подзадоривало их. И они, помнится, пели про него примерно так:

Зазнается наш Маркиз,
Смотрит в сторону да вниз.
Подними свои глаза,
Посмотри-ка на меня.

И так далее.

Они пели частушки и про других ребят, только о Володе никогда не пели, относились к нему с особым уважением.

Следует сказать, что в нашем кружке между ребятами и девушками установились хорошие, товарищеские отношения. Никаких ухаживаний и уединенных парочек на общих прогулках не было. Спиртных напитков мы с собой никогда не брали. Дружба, молодость, волжские просторы — вот что нас веселило и радовало. Наши друзья следили за политическими и общественными событиями, много читали, большинство из них занималось в кружках самообразования. Володе Маяковскому все это было по душе. И он среди них чувствовал себя превосходно. Всегда был веселый, остроумный, оживленный.

За лето он заметно изменился. Видимо, волжские просторы подействовали на него. Он стал как будто бы еще выше, голос зазвучал сильнее, гуще, увереннее. Все его движения стали шире, стремительнее, энергичнее и приобрели какую-то удаль, размах. Шагал он широко, уверенно. И вместе с Маркизом они представляли интересную пару. Маркиз был немного ниже Маяковского, но плотнее, как говорится, ладно скроен и крепко сшит, а внешне несколько суровый. Когда они появлялись на бульваре, многие гуляющие обращали на них внимание.

На бульвар выходило немало богатой публики — сыночки и дочки богатых фабрикантов, купцов и крупных чиновников. Они гуляли отдельно, в небольшом огороженном участке бульвара, называемом «цветником». К нам относились с презрением. Самоуверенные, разряженные, они ходили вокруг клумбы, образуя непрерывный поток.

Мы обычно садились на скамейку и наблюдали ненавистную нам публику. А Володя начинал иногда свирепеть и бурчал:

— Черт возьми, сколько сегодня собралось тунеядцев! Ну постойте, сейчас я возьму вас за жабры. Сидите здесь,— говорил он нам,— я один...

Маяковский поднимался во весь свой рост, в черном плаще, в черной широкополой шляпе (он запечатлен таким на одной фотографии), и шел в толпу барчуков против ее движения. Маркиз напутствовал его своей любимой фразой:

— Крой, Володя!

И Володя «крыл». При виде его мощной, возвышающейся над толпой фигуры и грозного лица кисейные барышни и их щупленькие кавалеры шарахались в стороны. Возникал переполох, шум, раздавались ругательства, звали полицию.

Маркиз не любил встречаться с полицией, и, не дожидаясь ее появления, мы уходили и уводили Володю.

Однажды после такого происшествия, возвращаясь домой, я сказал Володе:

— Я тебя вполне понимаю, но какой толк от твоего нападения на них? Все равно они останутся такими же, как и были, за ними стоят их богатые отцы, полиция...

Он не дал мне договорить:

— Что ты мне толкуешь, я не хуже тебя все это понимаю, но не могу я видеть этих самодовольных паразитов, этих прихвостней, хочется испортить им вечер, хоть как-нибудь нарушить их благополучие.

— А слышал, как они тебя ругали? — спросил я.

— Ну что ж, что ругали, это ж буржуи! Значит, я правильно сделал, если ругали. Вот если бы хвалили, было бы плохо. Нет, здорово я их расшвырял, так им и надо, будут меня помнить!

А между тем он совсем не был задиристым, резким, как иногда его изображают недруги и некоторые из

«друзей». Помнится, однажды мы втроем поехали на лодке по Волге, пристали к берегу. Я с товарищем пошел в лес за хворостом, а Маяковский остался около лодки. В лесу встретили троих парней. Не помню, из-за чего мы поссорились, ссора перешла в драку. На шум прибежал Володя. Увидев его мощную фигуру, наши противники смутились. А Володя подошел, улыбаясь:

— Ну чего вы деретесь?

И еще добавил что-то смешное, вроде «петушки-гребешки»... Все рассмеялись, и мы мирно разошлись.

Чаще мы уходили на Волгу с Володей вдвоем по утрам. Брали небольшую лодку и отправлялись в поход. Володя любил тянуть лодку лямкой и имел очень живописный вид, когда, полуодетый, закинув на плечо бичеву, поддерживал ее одной рукой, широко шагая, размахивал в такт другой рукой. Я сидел на корме и, конечно, пел. Когда предлагал ему меняться местами, он отказывался:

— Нет, я потяну, а ты сиди и пой, пой про Степана, пой во весь голос.

И гремел своим басом на всю Волгу:

— Ог-го-го!

Шагал и широко и быстро, а иногда бежал по влажному, плотному песку. Лодка легко скользила по реке, а за кормой бурлила вода. Волга сверкала, искрилась под яркими солнечными лучами, все было так хорошо, красиво, радостно! Выбрав живописное место, мы останавливались, купались, загорали, разводили костер, пили чай, закусывали. Вот здесь-то он мне рассказывал о своей жизни в Грузии, об отце, друзьях детства, даже, увлекшись, говорил по-грузински. Потом мы с ним вместе пели: «Из-за острова на стрежень», «Трансвааль, Трансвааль, страна моя!». Володя читал стихи Некрасова и других поэтов.

Многие слышали, как читал Маяковский стихи, свои и чужие, но вот как Маяковский пел, мало кто слышал, а он любил петь. Кстати сказать, мне приходилось слышать, будто он не имел музыкального слуха. Это неверно. Музыкальный слух у него, безусловно, был. Он запоминал музыкальные произведения и при повторении их точно называл пьесу и автора. Голос — бас — у него тяжелый, большой, ему было трудно с ним справиться. Он мог петь только в низких регистрах. Тембр

его голоса, густой, басовитый, немного напоминает голос известного негритянского певца Поля Робсона. Но к голосу Маяковского надо было подладиться. Я умел это делать, и у нас получалось неплохо.

Маяковский больше всего любил народные песни. Любил он романс Шуберта на стихи Гейне «В движеньи мельник жизнь ведет». Отправляясь на прогулку, он его всегда напевал. И в Москве и в Саратове я много пел ему романсов и арий, так что с вокальной классической литературой Маяковский был хорошо знаком. Но ему не все нравилось, что мы пели. Его любимыми вещами были: «Дай мне под камнем могильным...» Бетховена, романсы Римского-Корсакова «Гонец», «Пророк», Шумана «Я не сержусь», Шуберта «Двойник», «Шарманщик» и особенно баллада Мусоргского «Забытый». Как известно, эта баллада написана Мусоргским под впечатлением картины Верещагина «Забытый». В балладе сильно выражены ужасы войны и горе простых людей, потерявших на войне своих близких. Я сам любил эту балладу и часто ее пел. Очень возможно, что Маяковский, создавая поэму «Война и мир», вспоминал эту балладу.

Из оперных арий Маяковский любил больше всего арию князя Игоря. Терпеть не мог и прямо-таки ненавидел модные в то время слезливые романсы с надрывом: «У камина», «Хризантемы», «Гай да тройка» и т. п. Инструментальную музыку мы слушали значительно реже. Я хотя и аккомпанировал, но не настолько владел инструментом, чтобы познакомить Маяковского с классической музыкой. Приходилось приглашать пианиста, а это не всегда удавалось. Помню, ко мне в Саратове приходил мой товарищ, пианист, и играл нам Шопена. Вальсы Володя похвалил, но как-то равнодушно, зато «Революционный этюд» Шопена произвел на него очень сильное впечатление, и он восхищенно сказал:

— Вот это музыка!

Слушали мы вместе с ним сонаты Бетховена: Восьмую, Четырнадцатую, «Аппассионату» — и «Прелюдии» Рахманинова. Эти пьесы ему также нравились. Особенно сонаты Бетховена.

У меня сложилось впечатление, что Маяковского не удовлетворяло одно красивое музыкальное звучание. Он хотел слышать выражение сильных чувств, глубо-

ких переживаний и предпочитал музыку героического характера.

Из Саратова Володя уехал в Москву раньше меня. Ему надо было учиться у художника Келина. Уехал он хорошо отдохнувшим, веселым, жизнерадостным. Через некоторое время и я возвратился в Москву и опять поселился у Маяковских.

Весной 1911 года я вернулся в Саратов и остался там работать, помогал семье. И только в начале 1914 года мог приехать в Москву и продолжить занятия в филармоническом училище. И хотя у Маяковских больше я не жил, но бывал у них, часто встречался с Володей, который учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. Выглядел он здоровым, бодрым, энергичным. Его мама и сестры всегда заботливо относились к нему, и он не чаял в них души. Все это я хорошо знаю и помню. Но вот как-то в августе 1965 года я прочитал в газете «Московский комсомолец» интервью с приехавшими из США в Москву Д. Д. Бурлюком и его женой М. Н. Бурлюк и не поверил своим глазам. В этом интервью со слов М. Н. Бурлюк сообщалось, будто в 1911 году Д. Бурлюк привел к себе домой изможденного, оборванного, с больными руками юношу Маяковского и будто бы Бурлюки его усыновили и он прожил у них четыре года.

Мне неизвестно, для чего сочинили эту неправдоподобную историю, но и я и все, кто знал Маяковского в те годы, отлично помним, что он до 1915 года, до отъезда в Петроград, жил в своей родной семье. Правда, он бывал у Бурлюка, и тот иногда помогал ему деньгами, о чем Маяковский упоминает в автобиографии. Но мы, общавшиеся с Маяковским, знаем, что он даже на самую маленькую помощь и поддержку всегда отвечал десятикратной и стократной благодарностью.

Я уже сказал, что хотя не жил у Маяковских после 1911 года, но бывал у них и часто встречался с Володей. Потом он уехал в Петроград. В один из приездов Володя разыскал меня и прочел мне свою поэму «Облако в штанах». Поэма на меня произвела сильное впечатление, поразила своей революционной насыщенностью и критикой основ буржуазного общества. Но я высказал опасение, что цензура едва ли пропустит ее.

Володя задумался.

— Поживем — увидим,— сказал он,— придет время — пропустят.

Тут я ему напомнил про Маркиза:

— А помнишь, как Маркиз говорил: «Крой, Володя»?

Он засмеялся:

— Ну вот я и крою, только уж по-другому, покрепче.

Запомнилась еще одна встреча с Маяковским. Было это уже после Октябрьской революции, в конце 1917 года. Я был на митинге в Доме союзов и, выйдя, встретил Маяковского с Д. Бурлюком. Мы втроем пошли по Большой Дмитровке (ныне улица Пушкина). Освещения тогда не было, и мы шагали в темноте по середине безлюдной улицы. И вот Бурлюк, обращаясь к Маяковскому, говорит:

— Пройдет несколько лет — и здесь, на этой улице, будет много шикарных ресторанов и кафе. Играет музыка, за столиками сидят шикарные женщины, изящные официантки подают изысканные блюда...

Маяковский молчал.

Бурлюк продолжал мечтать в том же духе. А я был поражен и теперь с удивлением вспоминаю, о чем думал этот человек в те дни, когда наш народ, переживая небывалые лишения, героически боролся, отстаивал завоевания Октября. Ведь я знаю, Маяковский думал о другом, стремился к другому. И сейчас, как и тогда, я удивляюсь, что же связывало Маяковского с Бурлюком: ведь они были разные люди, люди разных взглядов и стремлений. Не случайно спустя некоторое время (если не ошибаюсь, в 1919 году) Д. Бурлюк эмигрировал в США. А Маяковский, несмотря на голод, лишения, оставался со своим народом, верой и правдой служил ему, боролся за построение социализма.

Говорят, что Маяковского объединял с Бурлюком футуризм. Но что такое футуризм и как к нему относился Маяковский, называя себя футуристом? Вот передо мной письмо моей сестры Нади, адресованное в 1940 году моей жене К. Г. Хлестовой:

«О Маяковском много врут. Он никогда не был футуристом, даже тогда, когда разъезжал вместе с Бурлюком. Я напишу тебе, что я об этом знаю, а ты перешли Коле (может быть, ему пригодится).

Мне об этом не очень-то приятно писать, потому что вроде как я себя хвалить должна. Но ничего не поделаешь.

Когда Володя жил у нас, то я сделала первый раз в жизни с натуры две головы и показала ему.

Он отнесся очень внимательно и посоветовал уехать из Саратова и серьезно учиться, «только не у футуристов» (его подлинные слова).

— Почему? — спросила я. — Ведь вы сами-то футурист?

И он ответил так печально:

— Я бездарен в живописи, а вы, Надя, талант.

Отсюда ясно: он надел внешнее платье футуриста только для «дураков». После этого разговора я никогда, даже в Саратове, не считала его футуристом. Это был один из его способов клеймить всякую пошлость, которую он так ненавидел. В костюме футуриста это сделать было легче и доступнее».

Хочется мне еще рассказать об одной встрече с В. И. Вегером, который в 1908 году принимал Маяковского в партию большевиков. Как известно, позже Маяковский прервал партийную работу и, как сказано в его автобиографии, сел учиться, чтобы «делать социалистическое искусство». Но некоторые исследователи упрекали его за это, расценивали его поступок чуть ли не как измену революции. И вот встретились мы с В. И. Вегером в 1918 году в Казани. Я тогда работал в Казанском оперном театре. Вегеры тоже жили в Казани. Встретились как старые друзья. Вспомнили Саратов, наши забастовки и, конечно, много говорили о Маяковском, в то время уже имевшем известность и большой круг читателей. В ходе беседы я сказал:

— Есть люди, осуждающие Маяковского за то, что он отстранился от работы в партии.

Вегер говорит:

— Нет, не согласен с этим, нельзя его за это осуждать. Я очень хорошо знаю Володю: он отстранился от работы, но все равно он неотделим от партии. Он отошел от работы не потому, что не хотел работать, а хотел перейти на другой вид работы, хотел работать в партии как поэт, а для этого ему надо было много учиться, так что он поступил правильно, разумно. Если бы он не учился, не написал бы «Облако в штанах». Это

сейчас, а что он напишет через несколько лет! Как поэт он больше пользы принесет нашему народу. Нельзя его отделять от партии, он всегда будет шагать в ногу, в одном строю с нашей партией.

Так говорил в 1918 году хорошо знавший Маяковского старый большевик В. И. Вегер.

После этого мы много лет не виделись и встретились с Вегером в его квартире в Москве. Не помню, в каком это было году, очевидно, вскоре после смерти Маяковского. Говорили главным образом о Владимире Владимировиче. Вегер был доволен, что еще в 1918 году так хорошо понял и оценил Маяковского.

— Я же говорил еще в Казани, что он неотделим от партии. Слушай, что написал он в своей последней поэме «Во весь голос»: «Я подниму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек». Так написать мог только человек, неразрывно связанный, целиком преданный партии.

Говорили мы и о смерти Маяковского. И, зная его любовь к жизни, его оптимизм, не могли понять неожиданную трагическую гибель поэта.

Заканчивая свои воспоминания, я хочу сказать, что же ярче всего запомнилось мне из совместной жизни и общения с Маяковским.

Из далекого прошлого сильнее всего вспоминаются мне три лица Маяковского.

Доброе, любящее, ласковое лицо я видел, когда он сидел на скамеечке у ног горячо любимой матери.

Сосредоточенное лицо мыслителя я видел в тюрьме, когда, оторвавшись от книги, подняв голову, устремив куда-то свой взгляд, Маяковский долго сидел в неподвижной позе, о чем-то глубоко размышляя.

И лицо, полное гнева и ненависти, я видел на бульваре в Саратове, когда своей мощной фигурой он рассекал толпу праздной буржуазной молодежи.

Добрый, умный, страстно ненавидящий угнетение, эксплуатацию — таким был Маяковский.

Природа щедро наградила его. Это был выдающийся человек, обладавший большой энергией, сильной волей и глубоким умом. Он умел горячо, искренне любить и страстно, пламенно ненавидеть.

Январь 1966 г.

И. Б. Карахан

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. МАЯКОВСКОМ

С семьей Маяковского, его матерью Александрой Алексеевной, сестрами Людмилой Владимировной и Ольгой Владимировной, знакомство наше началось в 1906 году. Л. В. Маяковская была близкой подругой моей жены.

Бывая часто у Маяковских, я сошелся с Володей, тогда еще гимназистом. Я знал, что гимназия его тяготит. У него были собственные стремления и взгляды на жизнь.

Высокий, широкоплечий, с длинными волосами, откинутыми назад, в кавказской папахе — он весь был порыв, устремленность вперед. В спорах глаза его загорались, чувствовался живой интерес к окружающим явлениям, любознательность. Я стал присматриваться к нему.

Будучи не по возрасту развитым, обладая, несомненно, большими природными способностями, В. Маяковский поражал нас, студентов, своими знаниями и развитием. Это особенно проявлялось в тех бесконечных спорах, которые происходили в нашей студенческой среде, где сталкивались различные течения — большевики, эсеры, меньшевики. Можно было любоваться, как он метко критиковал меньшевиков и других оппортунистов того времени. А споры были жаркие, долгие, иногда до утра.

Нетерпимый, резкий к своим противникам, Володя был нежен в кругу семьи. К матери своей он питал особо нежные чувства. Бывало, Александра Алексеевна

занимается по хозяйству, вдруг раскрывается дверь, врывается Володя: «А где моя маленькая мамочка?» — шагает, ищет ее по комнатам, такой большой, сильный.

Мать и сестры имели большое влияние на развитие В. Маяковского, они поддерживали все его хорошие стремления.

Володя был самолюбивым юношей. Известно, что он имел склонность к живописи, и когда сестра Людмила, в то время учившаяся в Строгановском промышленно-художественном училище, предложила ему начать серьезно заниматься рисованием, Володя заявил:

— Зачем это нужно? Ты будешь художником, и я тоже. Нет, я хочу иметь свою физиономию.

Володя знал, что я участвовал в декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве. Он просил меня показать ему места баррикад, где сражались пресненские дружинники, обо всем расспрашивал.

Видел он у меня и читал нелегальную литературу того времени: листовки, брошюры, большевистскую «Искру», брошюру В. И. Ленина «Две тактики», книгу Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», работу К. Маркса «К критике политической экономии».

Убедившись в серьезных намерениях Маяковского, я начал уже систематически заниматься с ним теорией марксизма. Он обладал большими способностями, быстро и хорошо усваивал прочитанное. Потом я стал давать ему поручения, которые он хорошо выполнял.

В то время я работал пропагандистом Московской организации большевиков. Маяковский бывал со мной на собраниях подпольных кружков, которыми я руководил, и участвовал в беседах. В Лефортовском районе, в частности на фабрике Ранталлера (теперь имени Балакирева), у меня и у него были тесные связи с рабочими.

Таким образом, еще до вступления в партию Маяковский фактически уже работал в ней. И не случайно, когда в 1908 году он вступил в партию, его направили на работу именно в Лефортовский район.

Выполняя партийные поручения, Маяковский обнаруживал находчивость и быстроту «натиска», правильную ориентировку в создавшемся положении, внутреннее спокойствие в тяжелые моменты жизни (во время арестов, засад).

Он хорошо усвоил технику заметания следов и никогда, по крайней мере при мне, не приводил за собой шпиков, наблюдателей.

Помнится такой эпизод. В одной квартире на Бронной нам была назначена явка. Оттуда мы почему-то вышли вместе с Володей, хотя обычно так не делали. Сразу за нами выросла фигура «наблюдателя». Мы пошли по бульварам, «хвост» следовал за нами. Надо было решать, как выйти из положения. Решили вскочить в разные трамваи и тем вызвать замешательство преследователя. Так и сделали. А затем Маяковский, как он мне потом рассказал, пересел в другой трамвай.

Как известно, первый арест Маяковского произошел в Ново-Чухинском переулке, где находилась подпольная большевистская типография. Его арестовали вместе с Т. Трифоновым и наборщиком типографии Мамонтова С. Ивановым. Надо полагать, что Маяковский познакомился с Т. Трифоновым через С. Иванова, так как я некоторое время работал пропагандистом в типографии Мамонтова, а через меня Маяковский знал Иванова.

Пребывание Маяковского в партии большевиков не было случайным, как говорили его враги. Оно было продиктовано всем существом его интеллекта, и было бы сугубо неправильно представлять это как случайный эпизод в жизни Маяковского. Да и самый момент вступления его в партию, когда неустойчивые элементы отходили от борьбы, говорит о том, что Маяковский, вступая в партию, отдавал ей всего себя, свою свободу, свою жизнь. Ни расхождения, ни разлада с политической линией партии у него не было в то время, как и не было после.

Перерыв в партийной работе, переход к искусству, чтобы углубить и развернуть свои творческие силы, нельзя рассматривать как ошибку, отход от партии. Маяковский никогда не прерывал связи с революцией, с подлинными интересами рабочего класса, которому он отдавал всегда весь свой талант, всю свою силу.

Следует ясно представить, в какой обстановке и в каком окружении рос, развивался будущий поэт, с кем был он связан в большевистском подполье.

Помимо семьи, чутких и любящих матери и сестер, оказавших на развитие молодого Маяковского

большое влияние, помимо революционной молодежи — постоянных гостей семьи Маяковских в Москве — будущий поэт знал многих передовых людей того времени.

Известна его связь с Тимофеем Трифоновичем Трифоновым, активным работником большевистского подполья, организовавшим подпольную типографию Московского Комитета большевиков, непосредственное отношение к которой имел Маяковский.

Несомненно, большое место в формировании взглядов молодого Маяковского принадлежит В. И. Вегеру, который принимал Маяковского в партию, а позже встречался с ним в тюрьме. В. И. Вегер помог ему углубить теоретические знания, опыт подпольной деятельности, которые Маяковский получил от меня на уроках марксизма и в совместной партийной работе.

Вегер был членом Московского Комитета и ведал большевистской группой в Московском университете. Он любил и знал поэзию. Находясь в 1909 году вместе с Маяковским в заключении в Мясницком полицейском доме, Вегер читал ему наизусть стихи Бальмонта.

Владимир Ильич Вегер в партийной среде пользовался большим авторитетом. После Великой Октябрьской социалистической революции он находился на руководящей работе в органах Московской адвокатуры, а в последние годы жизни был профессором в одном из московских институтов, преподавал диалектический материализм. Умер он в 1946 году.

Будучи связан с В. Маяковским уже по работе в партии, я познакомил его с В. М. Загорским (партийная кличка «Денис»), с которым мне довелось длительное время жить в одной комнате. Они встречались друг с другом. Маяковский исполнял поручения, которые давал ему Загорский: доставлял явки, переправлял нелегальную большевистскую литературу и т. п.

В 1918 году В. М. Загорский был избран секретарем Московского Комитета. В сентябре 1919 года он погиб во время взрыва бомбы, брошенной контрреволюционерами в помещение Московского Комитета партии.

И когда я читал поэму Н. Асеева «Маяковский начинается», у меня, естественно, вызвало недоумение то место, где о партийцах, с которыми работал Маяков-

ский в подполье, сказано: «То были отпетые революционеры, едва ль теоретики и вожаки».

Маяковский не любил распространяться о своей революционной и партийной работе. Но об этом знают его родные, друзья и товарищи по партийной работе.

В послеоктябрьские годы я встречался с Маяковским большей частью в обществе других, где не было необходимой обстановки, располагающей к беседам по душе.

В 1928 году мы встретились на пароходе, шедшем из Севастополя в Ялту. Прогуливаясь по палубе, я заметил какое-то волнение среди пассажиров. И вдруг вижу выходящего из каюты на палубу В. В. Маяковского. Он показался мне крайне утомленным, чем-то озабоченным. Когда он увидел меня, лицо его просияло. Он подошел ко мне с протянутыми руками.

Встреча была сердечной, теплой. На мой вопрос, что с ним, здоров ли он, чем озабочен, Маяковский с усмешкой сказал:

— Да, вот видишь, какая толпа. И что им надо? Точно в зверинце: им надо обязательно поближе рассмотреть меня. Как я рад нашей встрече! — сказал он, когда мы отошли и сели в конце палубы, где нам никто не мешал.— А помнишь ли, Ванес, как мы сидели за книгами и ходили по кружкам? Эх, теперь бы опять так поработать!

И мы живо и радостно ушли в воспоминания. Опять я увидел тот же огонь в его глазах, ту же уверенность в движениях.

Мы расстались с непременным желанием еще встретиться в Ялте, но он был очень занят выступлениями, и мне больше не довелось его видеть.

Апрель 1947 г.

Василий Каменский

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...В своем кругу Маяковский был неисчерпаемо обаятелен, предупредителен, весел, добр и очень любил читать стихи.

И читал не только свои, но и наши.

Даже распевал Северянина, а после добавлял:

— А все-таки я пишу лучше Северянина. Например, прослушайте мою «Трагедию Маяковского», и вы со мной согласитесь.

— Просим, просим!

И Маяковский «бархатом голоса», плавая руками, начинал наворачивать свое последнее произведение:

Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.
Блестящий глазами,
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.

И, кончив, вздыхал задумчиво:

— Даже самому страшно, как я пишу серьезно. Нет, давайте лучше веселиться, а то скучно что-то.

Быстрая смена душевного состояния была характерной чертой Маяковского.

Всегда казалось: он здесь и не здесь, он — с нами и как будто отсутствует, вдруг уходит глубоко в себя, а потом внезапно возвращается.

— Ну что же вы, ну давайте веселиться, целоваться, любить, ругаться и вообще что-нибудь делать замечательное. Например, пойдемте в редакцию «Русского слова» и потребуем от Сытина, чтобы он печатал наши стихи, а ежели откажет — мы выбьем сытинские стекла и крикнем Тверской, что отныне Сытин низложен, что «Русским словом» завладели футуристы, что теперь в кабинете сидит Маяковский и раздает авансы.

И он так детски радовался этой озорной фантазии, будто в самом деле это событие только что произошло.

Так всякий раз из Маяковского выпирало яркое и заразительное воображение.

И почти каждый раз вслед за этим наступала мгновенная смена мрачной тоски.

Или вдруг где-нибудь на улице:

— Давай, Вася, зайдем в кондитерскую, купим пирожных, конфет, возьмем извозчика и поедем на Пресню к маме, к сестрам. Обрадуем.

И все это мы проделывали с большим увлечением.

Надо сказать, что Маяковский с необычайной любовью относился к своей матери, Александре Алексеевне, и любил своих сестер — Ольгу и Людмилу, неизменно связывая эту любовь с воспоминаниями багдадского и кутаисского детства.

Без конца он рассказывал, как любил в Багдади (где родился) уходить из селения один с собаками, чтобы полежать под деревом, и ему особенно нравилось, что собаки его охраняли.

— Из-за этого и уходил,— смеялся Володя,— уж очень нравилось, что собаки крепко меня оберегали.

Меня удивляло и то, что дома, при матери и сестрах, Володя становился совершенно другим: тихим, кротким, застенчивым, нежным, обаятельным сыном и братом.

И было очевидно, что и дома Володю горячо любили и считали праздником каждый его приход.



В. В. Маяковский. *1910 г.*



А. А. Маяковская. ***1940 г.***

В эти домашние часы, наблюдая за Володей-сыном, таким совсем иным, неузнаваемым, и в то же время зная Володю-поэта, Володю-бунтаря в желтой кофте, я много думал о том, что в Володе живут два Маяковских, два разных существа, и при этом таких, которые меж собой находятся в состоянии борьбы.

Колесо жизни вертелось.

Нам надо было ехать в Кишинев, но Маяковский задерживал отъезд.

Мы волновались.

Дело в том, что Маяковский влюбился здесь в красавицу Марию Александровну и по этому неожиданному случаю «сходил с ума».

Он рвал и метал и вообще не знал, как быть, что предпринять, куда деться с этой нахлынувшей любовью.

Семнадцатилетняя Мария Александровна принадлежала к числу тех избранных девушек того времени, в которых сочетались высокие качества пленительной внешности и интеллектуальная устремленность ко всему новому, современному, революционному.

Стройная, обаятельная, «с глазами южной ночи» — это она сразу же представилась воображению поэта:

а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

Двадцатилетний Маяковский, еще не знавший любви, впервые изведал это громадное чувство, с которым не мог справиться.

Взволнованный, взметенный вихрем любовных переживаний, после первых свиданий с Марией он влетал к нам в гостиницу этаким праздничным весенним морским ветром и восторженно повторял: «Вот это девушка, вот это девушка!»

Или вдруг, обвеянный мрачными предчувствиями возможной неудачи, он нервно, задумчиво шагал по комнате, чтобы вскоре же сказать:

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина стонет, корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

И мы действительно в эти дни не могли узнать прежнего беспечного Володю, который теперь рвал и метал, бегал по комнате из угла в угол, как лев в клетке, и вопрошающе твердил: «Что делать? Как быть?»

Бурлюк, в лорнет наблюдая за влюбленным другом, развалившись на диване, тихонько и нежно подсказывал:

— Напрасно страдаете. Ничего не выйдет. Из первой любви никогда ничего не выходит.

Маяковский рычал:

— У всех ничего не выходит, а у меня выйдет.

Бурлюк стоял на своем:

— Напрасно страдаете, Владим Владимыч.

И вот с глыбой-Маяковским началась тропическая малярия любви.

Вы думаете, это бредит малярия!
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре»,— сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Маяковский потерял покой. Первая праздничность встреч сменилась острой болью тревоги.

Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам — Люде и Оле,
ему уже некуда деться.

И мы это видели. И посоветовали Маяковскому ускорить объяснение с Марией Александровной, так как выступления наши в Одессе кончились и нам надо было торопиться в Кишинев.

Развязка пришла.

Двери вдруг заляскали,
будто в гостинице,
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете:
я выхожу замуж».

Ошеломленный Маяковский в этот же вечер решительно заявил: «Едем», и курьерским поездом мы помчались в Кишинев.

В вагоне-ресторане мы сначала втроем очень долго молчали, пока, наконец, Давид Давидович Бурлюк, размышляя о Марии, не произнес:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Маяковский тяжело улыбался, молчал.

Через несколько дней, направляясь из Кишинева в Николаев, а потом в Киев, Маяковский, сидя в купе и поглядывая в окно, напевал:

Это было,
было в Одессе...

Именно эти памятные строки вошли вскоре в его прекраснейшую из поэм «Облако в штанах», или, по первому названию, «Тринадцатый апостол».

Как вагон, тесна была ему тогдашняя жизнь, и потому так сокрушительно рвался он к просторам будущего.

...вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

В Киеве Маяковский весь был охвачен пламенной мыслью сделать будущую поэму грандиозной вещью.

— Чтобы, как крейсер! — говорил он.

Двадцатилетний Маяковский, слегка утомленный от постоянных драк, твердо предложил:

— Поедем, ребята, в Тифлис. Это единственный город, мой город, где не будет скандала, где любят новых поэтов и умеют встречать гостей.

Поверили. Поехали.

В конце марта 1914 года мы (Маяковский, Бурлюк, Каменский) прикатили в Тифлис.

Остановились на Головинском, в Гранд-отеле:

Маяковский немедленно исчез и через полчаса ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой.

Наш громадный номер наполнился криком молодых орлов, блеском весенних глаз, взмахами крыльев-башлыков, трепетом неудержимого темперамента.

Маяковский всех обнимал, целовал и говорил по-грузински, как по-русски.

Он расспрашивал обо всех друзьях детства из кутаисской гимназии, ребячески веселился и несколько раз порывался сплясать лезгинку.

И тут же читал стихи и нас заставлял читать.

Словом, было ясно, что Маяковский у себя дома, среди крепких, горячих друзей.

В переполненном театре публика жарится, как шашлык на вертеле.

Маяковский в кофте «из трех аршинов заката», широко размахивая надежными руками, громогласным рупором голоса вбивает сваи зарожденья нового мироощущения, нового понимания искусства, как общественного, площадного, массового выявления творческой активности всех народов мира.

Двадцатилетний оратор бурлит разбегом Риона, наворачивает крупные скалы мысли, сияет бирюзой горизонтов будущего, управляет вершинами построения новых форм бытия.

И так это легко и весело делает, будто ветер, сбежавший с высоченных гор. Раскаленная аудитория через каждые две-три минуты взрывает поэта-трибуна динамитом пылающих аплодисментов, залпом разрывающихся сердец.

Здесь, в Тифлисе, у себя дома, Маяковский говорил, будто избранный тамада, языком великой взволнованной дружбы.

Несмотря на всю свою зеленую молодость, Маяковский был достаточно зрелым мыслителем новой социальной смены и не менее зрелым поэтом стихотворного мастерства.

Здесь, в Тифлисе, поддержанный неостывающим огнем друзей юности, Володя развернулся во всю ширь, словно сразу вырос, равняясь по Эльбрусу.

Недаром, когда мы крупной компанией не раз поднимались по фуникулеру на гору Давида, Маяковский, озирая с высоты митинг гор, говорил:

— Вот это — аудитория! С эстрады этой горы можно разговаривать с миром. Так, мол, и так — решили тебя, старик, переделать.

В эти дни нашего весеннего будоражного пребывания в Тифлисе мы ходили без конца по гостям, по духанам, по кофейням, по улицам, по базарам и всюду сплошь читали стихи, и всем это нравилось.

Если навстречу нам попадались девушки или юноши, Маяковский спрашивал:

— Куда идете? Зачем? Бросьте. Давайте вместе. Вернитесь. Пойдемте с нами читать стихи.

И за нами шли.

Маяковский почти сплошь говорил по-грузински, и мы этим очень гордились.

После ряда тифлисских выступлений в Оперном театре и в гостях мы побывали в том самом Кутаисе, где жила семья Маяковских: отец (лесничий), мать и две сестры — Людмила и Ольга.

Здесь Володя провел детство, здесь учился в гимназии, здесь он встретил 1905 год, здесь, по его словам, Володю вместе с грузинскими революционерами усмиряли нагайками.

Отсюда в 1906 году, после смерти отца, семья переехала в Москву.

Теперь Маяковский на улицах Кутаиса то и дело встречал друзей детства, целовался, обнимался при встречах и горячо говорил по-грузински, вспоминая, очевидно, детские годы, игры, приключения, знакомых, гимназию.

И в эти минуты из окон гимназии приветствовали нас стаями белых платков.

Здесь Маяковский горел воспоминаниями, много и подробно рассказывал о детстве, о своих затейных играх с младшей сестрой, Олей, с приятелями.

Каменистый берег Риона, развалины древнего храма Баграта, тучные деревья, сады, базар, улицы, дома, люди — все были свидетелями кутаисского детства Володи.

— Вот идет ослик, сонно бредет ослик сам по себе,— радовался Маяковский.— Прежде я бы обязательно сел на него и проехался, а теперь, если сяду,

не видать будет ослика, и ноги мои по земле потащатся.

Кутаисские друзья Маяковского устроили ему жаркую встречу.

Пили вино из бычьих рогов, пели «Мравалжамиер», под зурну плясали лезгинку, говорили речи, читали стихи, стреляли в потолок.

Словом, от виноградного и всяческого успеха едва выбрались в Россию.

Мы чуяли конец «существующего строя», мы верили в пришествие революции.

Маяковский горел:

— Скоро трахнет рабочая революция, и тогда я покажу себя.

Мы все горели одним пламенем (я лично еще с 1905 года, когда в Нижнем Тагиле был председателем революционно-забастовочного комитета), и подобную фразу Маяковского слыхали много раз и не удивлялись теперь.

Именно теперь, в жуткие дни военного патриотизма — «за веру, царя и отечество», Маяковский с гордостью всюду повторял:

...вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Это был отрывок из растущей новой поэмы «Тринадцатый апостол» («Облако в штанах»), над которой теперь Маяковский работал с утроенной энергией.

Максим Горький, приехавший из-за границы,— первый из крупных писателей, кто нас широко поддержал.

Горький писал («Журнал журналов» № 1):

«Русского футуризма нет. Есть просто Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, Вас. Каменский. Среди них есть, несомненно, талантливые люди, которые в будущем вырастут в определенную величину. Их много ругают, и это несомненная ошибка. Не ругать их нужно, к ним нужно просто тепло подойти, ибо даже в этом

крике, в этой ругани есть хорошее: они молоды, у них нет застоя, они хотят нового, свежего слова, и это достоинство несомненное.

Достоинство еще в другом: искусство должно быть вынесено на улицу, в народ, в толпу, и это они делают, уродливо, но это простить можно.

И все они, этот хоровод галдящих, кричащих и именующих себя почему-то футуристами, сделают свое маленькое, а может, и большое дело, которое даст всходы. Пусть крик, пусть ругань, пусть угар, но только не молчание.

Трудно сказать, во что они выльются, но хочется верить, что это будут новые, молодые, свежие голоса. Мы их ждем, мы их хотим.

Их породила сама жизнь, наши современные условия. Они не выкидыши, они вовремя рожденные ребята.

Я только недавно увидел их впервые живыми, настоящими, и знаете, футуристы не так уж страшны, какими выдают себя и как разрисовывает их критика.

Вот возьмите для примера Маяковского — он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами».

Мы всюду постоянно выступали.

На общем фоне, как дредноут среди миноносцев, выделялась до зубов вооруженная натиском фигура Маяковского.

Он гремел, удивлял.

Он первый из поэтов активно выступил против войны. Это вызвало всеобщее возмущение среди писателей-патриотов, настроенных в пользу «победы России над врагом».

Но Маяковский шагал напролом.

Однажды в богемском подвале Бориса Пронина «Бродячая собака», где мы, деятели искусства, часто собирались, Маяковский резко выступил против войны и почти с остервененьем прочитал:

...Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

Поднялся невероятный скандал.

Какой-то «гость», присяжный поверенный, разозлившись, запустил в голову Маяковского несколько бутылок, но не попал.

Мы бросились на присяжного поверенного и выгнали его к черту.

Мы потребовали от Маяковского еще таких же стихов, и он торжественно читал под нашей верной охраной:

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

Успех поэмы «Облако в штанах» был столь громаден, что с этой минуты он сразу поднялся на высоту гениального мастера-поэта.

Даже враги смотрели на эту высоту с трепетом изумленья.

А сам автор читал поэму так блестяще, что будто говорил от имени всего человечества.

Так потрясающе-превосходно читать, как это делал сам поэт, никто и никогда не сумеет на свете.

Это недосягаемое великое дарование ушло вместе с поэтом безвозвратно.

Убежден, что в целом мире нет подобных исполнителей поэм Маяковского, ибо для этого надо быть самим Маяковским.

Он и сам говорил:

— Вот сдохну, и никакой черт не сумеет так прочитать. А чтение актеров мне прямо противно.

За двадцать лет нашей дружбы я слышал Маяковского тысячи раз, и всегда с неизменным наслаждением, до опьяненья: несказанным величием дышали его слова-громадины.

А теперь, когда он впервые читал «Облако в штанах», когда ему было только двадцать два года, я смотрел на него, как на чудо природы, слушал и думал: и это тот самый мальчик Володя, которого я встретил всего только четыре года назад!

Не верилось в чудо, но было так.

Очень трудно было постичь эту стремительность роста поэта, тем более мне — жившему с ним постоянно.

Теперь, в двадцать два года, Маяковский уже не был юношей, а передо мной существовал вполне сложившийся взрослый, глубокоумный мужчина, всегда озабоченный крупным делом.

Вскоре после февральского переворота Маяковский пригнал в Москву ко мне и Бурлюку с целью немедленно выступить с агитацией в пользу пролетарской революции, во имя идей Ленина, против буржуазного Временного правительства.

Выступили.

Для нас было новостью услышать Маяковского как политического оратора.

Надо сказать, что и тут поэт-трибун оказался на высоте блестящего дарованья: он призывал всех мастеров искусства отдать свои труды рабочему классу, грядущей пролетарской революции.

В Маяковском заговорил большевик 1908 года, когда он был в партии.

Он призывал:

Все по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной
жизнь созидающей рати.

О, теперь прежнего Маяковского, юношу-бунтаря, проповедника футуризма, носителя желтой кофты, трудно было узнать: он возмужал, был одет в обыкновенное, говорил только о политических событиях, называл себя большевиком.

В это первое «свободное» время Февральской революции мы много выступали как поэты революции, и всюду Маяковский заявлял:

— Мы накануне своей пролетарской революции. К черту буржуев-правителей!

...С первых же часов Советской власти, когда все на улицу высыпали, мы открыли двери «Кафе поэтов», сияющими появились на эстраде и — на веселье одним, на огорченье другим — приветствовали победу рабочего класса.

То, что «футуристы первые признали Советскую власть», отшатнуло от нас многих.

Эти многие теперь смотрели на нас с нескрываемым ужасом отврата, как на диких безумцев, которым вместе с большевиками осталось жить «не более двух недель».

Наш октябрьский энтузиазм рос.

Кстати, в «Кафе поэтов» появились новые гости: большевики в кожаных пиджаках, среди которых часто бывали Муралов, Мандельштам, Аросев, Тихомиров.

Заходили ежевечерне, вооруженные винтовками, рабочие-красногвардейцы.

Бывало так: читаешь поэму с эстрады и только разойдешься, а в эту минуту входит отряд красногвардейцев.

Начальник отряда постучит об пол винтовкой:

— Оставайтесь на местах. Приготовьте документы.

После быстрой проверки начальник заявляет:

— Продолжайте.

Ну и продолжаешь читать поэму дальше.

А красногвардейцы стоят, слушают.

Маяковский проводил здесь каждый вечер и сплошь выступал, яростно приветствуя победу рабочего класса.

В эти боевые дни трибун Маяковский был исключительно прекрасен.

Он горел всеми огнями революционного торжества.

Пламенем пафоса был объят.

Каждое слово его дышало гневом, проклятием, гибелью буржуазному классу.

Каждое слово его дышало восторгом, энтузиазмом, приветствием новому, рабочему классу.

Чугунным памятником агитатора-поэта-массовика стоял он на эстраде перед накаленной толпой и таким застыл в общем представлении.

Таким всеоружным гениальным мастером слова Маяковский встретил пролетарский Октябрь.

И таким прирожденным трибуном Маяковский встретил свою бурную юность, которая вся прошла в борьбе, в сплошных выступлениях за новую жизнь.

Иной юности у него не было, и я даже не помню единого момента, когда он говорил бы об отдыхе, об усталости.

И всегда и везде Маяковский сиял, как солнце, у всех на виду, изумляя, удивляя всех возрастающей энергией.

Октябрьские события застали его на пороге полной зрелости, когда только окончилась юность и перед ним открывалась широкая дорога борьбы за дело коммунизма.

И по этой великой дороге Владимир Маяковский зашагал крупными, убежденными шагами пролетарского гениального поэта-агитатора.

С. И. Аралов

С ДАЛЕКИХ ЛЕТ...

Организаторы литературного сборника о В. В. Маяковском предложили мне поделиться воспоминаниями о встречах и беседах с великим поэтом. Хотя у меня встреч с Владимиром Владимировичем было и не так много, но они оставили большой след в моей жизни.

Начну с далеких лет.

Было это в октябре — ноябре 1914 года, в дни первой мировой войны.

Восточная Пруссия, Роментенский лес (пустошь). Наша девятая рота 114-го полка, как наиболее пострадавшая в последних боях под Дагутшином, была оставлена в Роментенском лесу для приведения себя в порядок и для охраны дорог. Командир роты был убит, я временно командовал ротой.

Лес раскинулся на много десятков верст. Старые, могучие сосны, пушистые ели, ясени, дубы хранили тишину и оберегали покой оленей, коз, фазанов. Даже в солнечный день в пустоши было сумрачно, пахло сыростью и прелым листом. Изредка на дорогах встречались небольшие дома лесничих. В глубине заповедника раскинулся охотничий замок Вильгельма II.

Отведенный нам домик лесничего находился на перекрестке дорог и носил название «Клейн Юдуп». Дом не пострадал. Сохранилась в целости обстановка: мягкие диваны, рояль, граммофон, посуда, на стенах оленьи и лосиные рога. Уют, тепло. Но и сюда доносился непрерывный грохот орудий, временами отчет-

ливо были слышны ружейная и пулеметная стрельба.

В окно я увидел проходившую воинскую часть. Впереди в длинной потертой шинели шагал высокий немолодой офицер с темной неровной бородой, всем обликом походивший на Дон-Кихота. Да ведь это Ляхов, Арсений Николаевич! Я выскочил на крыльцо:

— Арсений Николаевич!

— Батюшки, никак Семен Иванович? — отозвался удивленный Ляхов.

— Заходите и тащите всех офицеров. Солдат я прикажу устроить. Мы здесь охраняем лес...

Ляхов деловито отдал распоряжения по батальону. Солдат разместили по сараям. Подошли походные кухни.

— Вот и отлично, отдохнут солдаты, и мы потолкуем, Москву вспомним.

С Ляховым мы учились в Коммерческом институте, одновременно кончили его, встречались и после.

Вошли офицеры, быстро перезнакомились. В кладовке лесника нашлись вина, и обед прошел в большом оживлении. Один из гостей подсел к роялю.

— Господа,— обратился к нам Арсений Николаевич,— рекомендую прапорщика Володю, можно без фамилии, все равно разойдемся скоро и не увидимся больше... Он чудесно играет, только, друзья, музыка любит тишину.

Затаив дыхание, мы слушали Бетховена — «Лунную сонату» и «Патетическую».

В комнате было темно. На дворе разыгралось ненастье: поднялся сильный ветер, хлынул дождь. Шум леса и дождя, завывание ветра сливались с орудийным гулом. Зарницами выстрелов на мгновение освещались вековые стволы сосен, гнущиеся от ветра лиственные деревья.

Там, за стенами, непогодь, холод, дождь, смертельный огонь. Здесь тепло, хорошо, и потому хотелось глубже, уютнее расположиться в кресле, слушать и слушать, хотелось, чтобы это продолжалось долго, всегда...

Но звуки рояля зовут к борьбе, к подвигу. Лихорадочная дрожь пробежала по телу. Я вижу бой, смятение, враг бежит... Слетают царские короны... Слышу

победный клич восставшего народа, своего русского народа...

Из глубины памяти всплыли гетевские строки:

> Чтоб я увидел в блеске силы дивной
> Свободный край, свободный мой народ!

Резкие раскаты выстрелов и разрывов потрясли домик, зазвенели стекла.

Выстрелы вернули нас к действительности. Помолчали. Растопили камин и, покуривая, долго беседовали. Было приятно не только от тепла и музыки, но и от того, что собрались земляки — москвичи. Вспоминали родные места, театры: Большой, Малый, Художественный... Незаметно разговор перешел на литературу.

— По существу,— говорил поручик Фролов,— Художественному театру жизнь дали Чехов и Горький. Они вдохновили театр, сроднили его с народом, научили показывать русскую действительность, то же, что произошло в свое время с Малым театром, когда Гоголь, Грибоедов, Островский помогли познать театру подлинную русскую жизнь. Народ создает таланты из тех людей, которые прислушиваются к его голосу, умеют понять и выразить народные чаяния. Чехов и Горький и есть продолжатели великих традиций русской литературы — Радищева, Пушкина и Толстого... Смешны, ей-богу, рассуждения «Русской мысли», что Ахматова, Сологуб, Арцыбашев — пушкинские продолжатели. Какое-то издевательство! Символисты, акмеисты, футуристы на словах все за будущее, а на деле тянут назад, к отжившему...

Большинство было согласно с Фроловым. Но вот один дотоле молчавший прапорщик, отличавшийся выхоленой белокурой бородой, которую он поминутно расчесывал гребенкой, резко заявил протест.

— Чепуха! Я решительно не согласен. Нельзя вечно жить только Пушкиным или Некрасовым. Они отжили. Искусство самостоятельно,— картавя и медленно, как будто снисходя к нам, говорил прапорщик.— Искусство должно звать к красоте, к новым формам выражения мысли, к новым словам. И потом, нельзя смешивать акмеистов, символистов, футуристов. Акмеисты отбросили символический туман, видят смысл в лично-

сти, в субъекте. Они воспевают красоту наготы, живого тела с мускулами, описывают розу как розу. Потом... Мы понимаем любовь более изысканно, изощренно. Мы пишем не для широкой публики...

Ему не дал договорить Володя, игравший Бетховена. Он подошел к прапорщику.

— Простите, прапорщик, я не знаю вашего имени...

— Все равно, зовите прапорщиком, фамилия моя Гордов Игорь Степанович...— Он покраснел, усмехнулся.

— Так вот, уважаемый Игорь Степанович, вы с головой выдали себя и подзащитных,— продолжал Володя.— Во-первых, признали, что презираете широкую публику, то есть народ, во-вторых, ваше заявление, что вы пишете не для широкой публики, не соответствует действительности, по крайней мере сегодняшней. Ведь те, кого вы защищаете, бросили свои таланты на защиту войны, на то, чтобы забить сознание именно широкой публики громкими словами о гуманности и великих идеях войны... Какие это великие идеи, спрашивается?! Политиками стали ваши певцы чистого искусства!

Пришел четырнадцатый год,
Огнем крестит родной народ.
Мы победим, мы победим...

Или вот еще:

И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
К которой завистью полны...

Нет, это не для избранных пишется...

Завязался общий спор. Спорщики вскакивали, перебивали друг друга. Когда немного утихло, вольноопределяющийся Гарькóвский, красный от волнения, заикаясь спросил:

— Господа, кто из вас читал «Нате!» Маяковского?

— Маяковского? «Нате»? — послышались удивленные голоса.

— Хотите, прочту?

Гарькóвский поднялся и, уже не заикаясь, начал читать:

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир...

Дочитав стихотворение, он сел, но тут же вскочил и, подняв худую руку, спросил:

— Можно еще: «Война объявлена», тоже Маяковского.

И, не дожидаясь ответа, начал:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

— А ну-ка, прочти еще раз «Нате!», чтобы понять, в чем тут дело...— попросил кто-то, когда он кончил.

Гарько́вский прочел «Нате!» с еще большим жаром. Задыхаясь, он воскликнул:

— Это же те, за которых мы воюем... Они с жиру бесятся. Посмотрите, что делается в тылу... Я только что приехал из Москвы...

Потом он прочитал еще одно стихотворение Маяковского — «Мама и убитый немцами вечер». Когда читал строки:

Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские сёла,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна,—

я увидел, как всех офицеров потрясла нарисованная поэтом страшная картина войны. Так ярко, образно то, что мы видели вокруг себя, что мы сами чувствовали. От волнения я не мог произнести ни слова, на глаза навертывались слезы.

Гарько́вский сел, тяжело дыша, и тоже закрыл глаза.

Денщики принесли чай, расставили стаканы и кружки на столах...

Когда гости ушли, мы остались втроем: Фролов, Гарько́вский и я. Говорили о настроениях солдат и офицеров. Удивлялись, что среди царского офицерства

нет единого понимания целей войны, появилась критика, недовольство. А среди солдат — злость, недоверие, думают и говорят меж собой о порядках...

Гарько́вский признался, что он социал-демократ, сочувствует большевикам. Видел на днях, как солдаты читали питерскую прокламацию большевиков.

Гарько́вского вскоре командировали в школу прапорщиков в Петроград. Фролов был ранен и увезен в госпиталь.

Наша часть, продвигаясь, наткнулась на широкие проволочные заграждения у города Даркемене, близ станции Штрепкин. Около трех месяцев пролежали в мокрых окопах. К концу «мокрого сиденья» вернулись Фролов и Гарько́вский. Среди новостей привезли рассказы о Маяковском, его стихах. Гарько́вский восторженно говорил о выступлении поэта, читавшего «Облако в штанах».

Позже, должно быть в самом конце 1915 или в начале 1916 года, к нам на фронт приехал большевик Дмитрий Петрович Афанасьев, токарь по профессии, незадолго до этого вернувшийся из ссылки. Мы с ним были хорошо знакомы раньше, по подпольной работе.

Дмитрий Петрович рассказал нам о положении в партии, о настроениях среди рабочих. Обсудили вопрос об организации у нас большевистской ячейки. Дмитрий Петрович утвердил ответственным организатором партийной группы Фролова, его помощником Хорькова. Всего в группе было семь человек.

Привез Дмитрий Петрович в рукописи страницы поэмы «Война и мир» Маяковского. Читали. Нашелся мастер слова. Были мы тогда в резерве. В халупе сидели не шелохнувшись. За халупой ухало, ахало, охало... Мы слушали стихи Маяковского, где тоже все «ухало»:

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сел.
Медными мордами жрут
всё.

Когда кончили читать, Дмитрий Петрович ясным, живым, отчетливым словом обрисовал идущую победу: придет конец капиталистическому миру и войне...

Пришли революционные дни 1917 года.

Закрутила буря старую Россию.

Хоть, по словам Маяковского, «время — вещь необычайно длинная», но годы 1917—1921 пролетели стремглав, в постоянном движении, боях, драках, спорах.

В победе Октября, в годы гражданской войны мы увидели, что гений Ленина, его практические, организационные мероприятия дали поразительные победы и на полях войны, и в создании Советского государства.

Маяковский в эти страстные годы небывалой борьбы дни и ночи работал в РОСТА, помогал поэтическим словом и рисунком отстаивать завоевания Октября. Можно сказать, что в годы гражданской войны Маяковский стоял в первых рядах бойцов за новый мир, в первых рядах ленинской гвардии. Мы, армейцы, чувствовали его поддержку.

Настал 1921 год. Меня оторвали от фронта и с полей боев направили на дипломатическую работу. Сначала послом в кемалистскую Турцию, затем в Латвию, тогда еще буржуазную.

И вот в конце 1924 года у меня состоялось личное знакомство с Маяковским.

Ехал Владимир Владимирович из Берлина в Москву через Ригу... Я перехватил его. Он — в полпредстве. Беседуем, обмениваемся новостями. Но я говорю ему:

— Мы вас не выпустим. Прочтите нам поэму «Ленин».

Чудесный великан ответил без колебаний:

— Прочту.

Тут же были приглашены секретарь партбюро, директор клуба. Назавтра созвали большой наш коллектив из работников полпредства и торгпредства со всеми вспомогательными органами. Теперь можно сказать, что присутствовали и несколько товарищей из Рижской партийной коммунистической организации, с которой мы тогда держали замкнутую, тесную товарищескую дружбу...

Зал клуба был заполнен до отказа.

Маяковский произнес первые слова поэмы:

Время —
начинаю
про Ленина рассказ.

Зал затих, впились глазами в поэта.

Был декабрь 1924 года. Еще не утихла боль, вызванная невозвратной потерей дорогого Ильича. А поэт отчетливо говорил о живом Ленине, о бессмертии его идей.

Время,
снова
ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
растекаться
слезной лужею,—
Ленин
и теперь
живее всех живых.
Наше знанье —
сила
и оружие.

Перед нами проходит в ярких поэтических образах жизнь, борьба, работа, учение Ленина.

Затаив дыхание, слушали мы волнующий рассказ поэта о последнем прощании с любимым вождем. Вдохновенно говорил поэт о том, как ленинская победа растет, разливается по земному шару.

Последние строки поэмы:

Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история,—

были встречены слушателями восторженными аплодисментами. Вся аудитория поднялась. Все бросились к Маяковскому. Что тут было, трудно описать. Особенно удивили меня всегда спокойные, медлительные латыши-рабочие. Это были портовые рабочие, находившиеся

на службе торгпредства. Они приветствовали и благодарили поэта так же восторженно, как и каждый из нас.

Мне не пришлось быть на похоронах Ленина. Международная обстановка была напряженная. Народный комиссариат иностранных дел опасался возможных выступлений против СССР — мне было запрещено покидать Ригу.

Это было очень тяжело для меня, так как я близко знал Владимира Ильича, неоднократно встречался с ним, пользовался его советами, поддержкой. Этими своими переживаниями я поделился в разговоре с Маяковским. Маяковский признался, что и он очень тяжело переживал смерть Владимира Ильича.

— Это был удар, он ошеломил меня. Но тут же я почувствовал, как во мне закипели мысли о жизни Ильича. Они проносились вихрем, выхватывая отдельные куски: подполье, встречи с рабочими, кружки, Сибирь, эмиграция, создание партии, близкие друзья, броневик у вокзала, Октябрь, гражданская война... Явилась сильнейшая потребность, именно потребность, а не только одно желание, оформить все это в поэму жизни Ильича и передать ее миллионам, пролетариям всего мира...

Помолчав, он добавил:

— Удар не перешел в уныние, а перешел в цель, в долг перед ним и человечеством... Показать миру — кто Ленин. Пожалуй, было так, как у беспартийных рабочих: смерть Ленина обернулась требованием к себе — быть коммунистом, коллективной мощью помочь партии, революции, продолжить Ленина... Засел за работу. Не буквально засел, не заперся, а находился все время в движении, искал выхода из горя, находил уверенность и силу у людей труда. Читал, искал людей, знавших Ленина. Многое в поэме от живых свидетелей.

С этих пор и началось мое личное знакомство с В. В. Маяковским. Бывая в Москве по вызовам НКИД, я время от времени навещал Владимира Владимировича. Он познакомил меня со своей мамой — Александрой Алексеевной, с сестрами — Людмилой Владимировной и Ольгой Владимировной.

В 1926 году я возвратился на постоянную работу в

Москву. Но и теперь встречи с Владимиром Владимировичем не были частыми. Жизнь требовала непрестанной деятельности. Поэт разъезжал по Советской стране с докладами и стихами, ездил за границу. Мне также часто приходилось покидать Москву.

Когда мы встречались, Маяковский, хотя поэма о Ленине была уже написана, часто расспрашивал меня о моих встречах с Владимиром Ильичем, о его военной работе по созданию и руководству Красной Армией. Позже я узнал, что он собирался писать о Красной Армии.

Вспоминая об одной встрече с Лениным, я нарисовал сценку, как однажды Владимир Ильич, беседуя со мной, держал меня все время за борт кителя, будто опасался, что я убегу, да еще прислонил к стенке, и так до конца разговора не отпускал. Маяковский весело рассмеялся:

— Так все время и держал? Эх, жалко, что я не знал этого, когда писал поэму.

Как-то я спросил Владимира Владимировича, почему он не вступает в партию. Он ответил примерно так, как позже сказал на вечере в Доме комсомола Красной Пресни:

— Если на сегодняшний день я не связан с партийными рядами, то не теряю надежды, что сольюсь с этими рядами.

И потом добавил:

— Я борюсь вместе с партией за индустриализацию, я боролся в гражданскую войну плакатами, стихами, поэмами. Силы свои я отдаю рабочим, всем трудящимся, веду борьбу со старьем. Хочу, чтобы советское искусство, настоящее, было понятным, ясным широким массам.

Как-то зашел разговор об отношении к классикам. Я неосторожно сказал, что, конечно, можно издеваться над Гумилевым, Северяниным, Бальмонтом, но не над Пушкиным и Лермонтовым.

— Я над Пушкиным и Лермонтовым не издеваюсь,— отвечал Владимир Владимирович.— Они другой эпохи.

Дальше он говорил, что критики упрекают его в непонятности и в пример ставят понятность Пушкина.

— А вот возьмите такие строчки...

Владимир Владимирович прочел отрывки из «Евгения Онегина», где говорится про Дианы грудь, ланиты Флоры и ножку Терпсихоры.

— Но ведь там же, в «Евгении Онегине»,— возразил я,— есть и такие строчки:

> В тот год осенняя погода
> Стояла долго на дворе...

Или:

> Зима!.. Крестьянин торжествуя
> На дровнях обновляет путь...

Разве рабочий и крестьянин не поймут этих строк? Отлично поймут и порадуются этим стихам.

Владимир Владимирович засмеялся.

— Вы, конечно, правы:

> Вот бегает дворовый мальчик,
> В салазки *жучку* посадив,
> Себя в коня преобразив...

Ясно, отлично. Поймут и даже запомнят. Но не в этом дело... Сейчас важнее другое: идет мировая драка с буржуазией за власть рабочих и крестьян. Надо помогать этой борьбе. Вот в чем я вижу основную задачу поэта.

— Меня радовало, воодушевляло,— говорил Маяковский в другой раз,— когда я рисовал и писал плакаты в РОСТА, что через короткий срок плакат висел на улице и звал красноармейцев, рабочих скорее бить и бить врага.

— Вот мы вместе с ним делали плакаты,— сказал Маяковский, знакомя меня с художником М. М. Черемных.— Тогда, да и теперь считаем себя фронтовыми бойцами. Подтверди,— обратился он к Черемных.— К сожалению, мы не умеем вести классовой борьбы в газетах так, как вела наша буржуазия,— она травила в прессе своих классовых врагов, она издевалась над ними, позорила, сживала со света, так же как и феодалы в свое время сживали со света Радищева, Чернышевского, Пушкина, Лермонтова, Полежаева. Всем это известно... Мы обязаны охранять интересы рабочего класса. Мы молчим там, где надо горланить во весь голос.

Много раз Владимир Владимирович говорил о равнодушии поэтов к злободневным, жизненно важным темам. Помню, как он возмущался требованием переиздать Гумилева.

— Того Гумилева, который восхвалял войну четырнадцатого года... Это же будет позор — ставить на пьедестал поэта империалистов, поэта войны, поэта, который боролся против Советской власти! Как бы стихи его ни были красивыми, нельзя таким поэтом восхищаться. Борьба с буржуазией еще не окончена, она продолжается.

Однажды зашел разговор о погибшем Есенине. Меня донимали работники Наркоминдела, что будто бы Маяковский не признает поэзии Есенина. Я сказал об этом Владимиру Владимировичу. Он нахмурился.

— Вот опять эти дикие нападки на меня. Надо понимать литературное значение Есенина, что пригодно в нем для нас и что непригодно. Есенин войдет в будущее, он был даровит, многое войдет и будет понято. Но сейчас, сейчас за другое надо драться — за Советскую власть, за социализм. Надо драться на всех участках нашей работы, как учил Ленин. Его, Есенина, спаивали завистники, в уши шептали о радостях мира, подбрасывали женщин... Убивают не только из пистолета, а и нравственно, духовно. Нашей задачей было побороть упадничество Есенина, влить в его талант бодрость, понимание новой, советской жизни. Казалось, вот-вот это пойдет, а вышло иначе — погиб Есенин. Не везет русским талантливым поэтам. У нас молчат, не пишут о поэте Полежаеве, а он был замучен за революционные стихи.

В другой раз Маяковский с горечью говорил о жизненных невзгодах и мучениях Белинского, Добролюбова и добавил:

— А Чернышевского замучили...

— Это феодалы, цари и царедворцы травили их,— заметил я.

Маяковский ответил:

— Дикость, клевета, ненависть к новому, революционному перешли оттуда к некоторым нашим чиновникам-бюрократам. На себе чувствую. Огрызаюсь, воюю... Я ставлю себе задачу и добиваюсь, чтобы лите-

ратура и все искусство стали оружием советской политики. Это основная проблема моей жизни.

Владимир Владимирович заходил ко мне в Наркоминдел, расспрашивал о делах дипломатических. Очень интересовался «лимитрофами», как тогда называли Эстонию, Латвию, Литву. Требовал подробностей о жизни рабочих, их настроениях. О латвийском рабочем говорил, что это крепкий пролетарий, его в сторону не свернешь. Это не эстет, а самый настоящий боец...

В 1928—1929 годах Владимир Владимирович несколько раз навестил меня в ВСНХ, где я тогда заведовал иностранным отделом и, кроме того, после июльского (1928 года) Пленума ЦК занимался организацией отдела по руководству высшими техническими институтами (Главвтуз).

Маяковский приходил в ВСНХ к В. В. Куйбышеву и от него всегда потом заходил ко мне. Расспрашивал о задачах Главвтуза, высказывал советы о перестройке технического образования, говорил, что электрический ток должен поднять на высоту технику, создать нового инженера-коммуниста.

Запомнился мне один разговор о редакторах наших журналов и газет. Маяковский сказал, что самый вредный тип редактора (он назвал при этом Полонского) — это редактор, который относится безразлично к идейным задачам. Получается торгашество, а не литература.

25 марта 1930 года Маяковский выступал в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном 20-летию его деятельности. Я не был на этом вечере. Но спустя несколько дней увидел, как Маяковский своим широким шагом направляется к нам в ВСНХ. Заходил ли он в этот раз к В. В. Куйбышеву, не знаю, но заглянул ко мне. Рассказывал о своем вечере, о докладе, записках, возмущенно сказал:

— Опять меня рвали за классиков. И чего привязались: если я и выступал против классиков, то не за их уничтожение, а за изучение того полезного наследства, что нужно для рабочих. Говорили, что выставка моя плохо посещается. Да, плохо посещается, но кем? Писателями, поэтами, чиновниками. А рабочие, студенты охотно приходят, расспрашивают и хвалят, считают, что мое творчество помогает партии и народу

строить социализм. Но мне не восхваления нужны, а помощь — помощь в борьбе с врагами...

Он встал и ушел хмурый. Больше я его не видел.

Случилось так, что эти свои воспоминания о великом поэте я закончил в день тридцать седьмой годовщины со дня его трагической смерти. И снова передо мной, как и тридцать семь лет назад, встает вопрос: как же это могло быть и могло ли так быть, что Маяковский — волевой, жизнелюбивый, жизнедеятельный — добровольно ушел из жизни?

И как тогда, много лет назад, так и теперь я не могу ответить на этот вопрос утвердительно, ибо такой конец никак не вяжется с жизнью Маяковского, с его пламенной революционной деятельностью.

14 апреля 1967 г.

В. А. Десницкий

ПАМЯТИ ПОЭТА

Годы кануна Февральской революции я жил в Дерпте [1]. Небольшой университетский городок с сорокатысячным населением был оторван от общей жизни страны благодаря разнонациональному составу своего населения.

Оседлая русская интеллигенция города — профессора и преподаватели университета, ветеринарного института, учительского института, либеральные учителя казенных средних школ и чиновники правительственных учреждений жили совершенно обособленно от эстов и немцев, притом замкнутой жизнью ведомственных и профессиональных кружков. Немногочисленное исконно русское население — рыбаки, ремесленники и рыботорговцы — свое национальное лицо блюло в замкнутой старообрядческой общине федосеевского согласия.

По роду своих занятий — преподавал в частных немецких и эстонских гимназиях, так как в казенные до 1916 года меня не допускали как поднадзорного — я был связан со всеми национальными слоями города, но преимущественно, разумеется, с русской либеральной профессурой университета и со студенчеством.

Профессора мирно читали лекции в Юрьеве или Петербурге, на большом досуге писали хорошие и плохие книги, изредка занимались «политикой» на заседаниях совета университета или факультета, молодые

[1] *Дерпт* (Юрьев) — ныне г. Тарту Эстонской ССР.

приват-доценты катались на лодках и яхтах по Эмбаху, играли в теннис. И все по вечерам часто и длительно пили чай и закусывали: либералы — в обособленных дружеских ячейках, правые — преимущественно в розницу, в паучьем уединении.

Культурный уровень профессорской либеральной среды был очень высокий, но на этой культуре лежал своеобразный отпечаток провинциальной архаичности, опасливого отношения и даже некоторой брезгливости ко всему новому, особенно крикливому и шумному.

Наиболее смело и решительно, не скажу — с большими и благими результатами, к новым течениям в литературе, живописи, музыке определенные симпатии проявляла молодая эстонская интеллигенция города. Немецкая же и русская — и в этом отношении они очень своеобразно солидаризировались — кичилась своей консервативностью. С культурой Германии дерптские немцы связывали себя именами Гете, Шиллера, Моцарта, Баха, Генделя, Бетховена, Дюрера; в немецких гимназиях едва ли не целый год до оскомины кормили учащихся старшего класса первой частью «Фауста»; заезжие из Европы пианисты, скрипачи в немецком концертном зале давали в великолепном исполнении суровым ценителям только классиков.

Тот же «культурный консерватизм» захолустного университетского города был и в среде русской юрьевской интеллигенции. Не только Скрябин в музыке, но даже художники «Мира искусства» воспринимались с некоторым недоумением и большой медлительностью. Поэтами-символистами позволяли себе увлекаться только наиболее «радикальные» в области искусства молодые профессорские жены. Выступление в 1910 году поэтов-символистов (Кузьмина, М. Волошина и других), выписанных из Питера эстетствующими студентами-юристами, произвело впечатление культурного скандала. Но осведомленность в новом, особенно книжная, среди юрьевской интеллигенции была очень широкая; благодаря близости Петербурга и наличию в городе нескольких книжных магазинов книжные новинки быстро появлялись в профессорских гостиных.

Доходившие до Юрьева слухи о крикливых выступлениях молодых поэтов и художников-футуристов вы-

зывали в среде русской интеллигенции брезгливое недоумение.

Претенциозные по внешности книжки футуристов брали в руки со смехом и возмущением. Суровых хранителей традиций русской литературы в изданиях футуристов раздражало все: и необычайный формат, и бумага (обойная в первом выпуске альманаха «Садок судей»), и литографский способ воспроизведения, и загадочные иллюстрации, и еще более, разумеется, раздражало содержание: опыты словотворчества, устремления к зауми, новаторство в стихосложении, настойчиво заявляемые и мало чем оправданные претензии на какую-то новую идейность.

Весело смеялись, когда цитировали «образец иного звуко- и словосочетания»:

дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
р л эз,

данный притом с пояснением «кстати»: «В этом пятистишьи больше русского, национального, чем во всей поэзии Пушкина» (*А. Крученых* и *В. Хлебников*. Слово как таковое). И справедливо возмущались, когда наталкивались на такое утверждение: «Русская литература до нас была спиритической и худосочной, она кружилась в колесе черта...» (*А. Крученых*. Черт и речетворцы).

Мое внимание из всех поэтов-футуристов привлек только Маяковский. Когда целая группа писателей-футуристов, объединившихся в сборниках «Садок судей», заявляла о себе: «Мы новые люди новой жизни» (предисловие ко второму сборнику), чтение их произведений нисколько не убеждало меня в истинности этого смелого утверждения. Словотворчество не увлекало, раздражала наигранная инфантильность, в большинстве прозаических и стихотворных opus'ов чувствовалось несомненное озорство и хулиганство, да и сами себя иные из поэтов-«революционеров» размалевывали под апаша; не видно было таланта, живой искренности; всюду на прозе и стихах проступали пятна какой-то внутренней связанности с «бунтом» российских дека-

дентов. Когда Н. Бурлюк с полным самоуважением сообщил:

Над степью крыш
И стадом труб
Плывет луны
Сожженный труп...

(«Требник троих»)

чувствовалось, что соорудить эти четыре строки стоило ему больших усилий, но желания похвалить поэта за усердие не появлялось.

Иное отношение вызывали к себе стихи Маяковского. Это не было настроение радостного приятия, восторга и наслаждения. Воспитанному в традициях классической поэзии — русской, европейской — не легко было проглотить «глупую воблу воображения» поэта. Но подкупали несомненная искренность, убежденность в значимости выполняемого дела, многое обещало противопоставление поэтов, которые «выкипячивают, рифмами пиликая, из людей и соловьев какое-то варево», корчащейся «улице безъязыкой», которой «нечем кричать и разговаривать» («Облако в штанах»). И, запомнив это противопоставление, я склонен был уже по-иному понять и даже принять звучавшее как будто так же, как и у собратьев Маяковского по перу, гордое заявление urbi et orbi [1]:

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

А смешная по первому впечатлению автобиографическая тирада пролога, перечитанная во второй раз, настраивала даже на радостное ожидание:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрóмив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

(«Облако в штанах»)

[1] *Urbi et orbi* — к всеобщему сведению.

А может быть, и в самом деле, думалось, идет молодой и сильный поэт, которого давно ждет «безъязыкая улица»? Придет время, спадет с него шелуха крикливых условностей кружковой, узкой среды, да и мы сумеем лучше разобраться в том новом и сильном, что поражает нас своей необычностью и преднамеренной резкостью.

Был в Юрьеве в поле моего зрения один соученик Маяковского по московской школе зодчества и ваяния. Это был маленький чистенький преподаватель рисования в одной из средних школ города. Очень тихий и смирный, без особых талантов, свое дело любил, взрослых учеников боялся, хотя они хорошо относились к нему. Когда заговаривал о Маяковском, то его глаза блестели, он становился в странную и смешную позу мальчика, который хочет показаться большим, и с особенной акцентуацией крепко усвоенного школьного жаргона выкрикивал: «Это — силища!.. Это — талантище!..» Неоднократно я пытался добиться от него более подробных сведений о школьной жизни Маяковского, но всегда безрезультатно — дальше восторженных восклицаний его сообщения не шли. Очевидно, с ученической уже скамьи обреченный на скромную деятельность школьного учителя рисования, он не входил в близкое окружение Маяковского.

Но мой интерес к Маяковскому все же не шел так далеко, чтобы на вере в его несомненную талантливость и искренность я мог примириться и с той шумихой, которую производили его соратники, и особенно с их нередко вымученным издевательством над простым человеческим разумом, с их мало чем оправданным экспериментаторством в области поэтического языка.

В декабре 1916 года на каникулы я приехал в Петроград и жил у М. Горького. Алексей Максимович не был в восторге от мышиной суетни разных групп и объединений новаторов — поэтов и художников, не одобрял крикливых наскоков на прошлое русской литературы, но и не возмущался.

— Много кричат они,— говорил с усмешкой Алексей Максимович,— это не беда, надоест — и перестанут. Вот учиться им надо, а они правописание отрицают...

Когда заговорили о Маяковском, тон Алексея Максимовича изменился.

— В этом что-то есть. Не все я понимаю, но чувствую, что у него свой голос. И дьявольски громкий! Стихи не читает, а орет... Хотите послушать? Поэму пишет о войне...

Слушали мы «Войну и мир» вдвоем. Маяковский в первые минуты встречи, процедуры знакомства, до чтения, произвел странное впечатление. Высокий, с неуклюжими движениями в прямых линиях, полуоткрытый для крика почему-то рот в обыденных фразах; весь — вызов кому-то и чему-то. И в то же время несомненная стесненность, конфузливость, даже робость и юношеская милая улыбка, спешно затираемая судорожным приведением лица в боевую позицию выступления на шумном собрании.

Я не помню, встали мы с Алексеем Максимовичем тогда, когда Маяковский начал читать, или стояли уже и раньше, но слушали мы чтение все время стоя. Да и нельзя было сидеть. С первых же слов меня ошеломил голос Маяковского. Так читать можно было тысячам, на площади, а не двум слушателям, в замкнутом пространстве четырех стен комнаты. И это не удивляло. Сразу стало ясно, что эти стихи, если их можно было назвать стихами, только так и нужно было прокричать.

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!

Разве это стихи? И эти:

...выбежала смерть
и затанцевала на падали,
балета скелетов безносая Тальони.

Танцует.
Ветер из-под носка...

Но не возникало сомнения, что это — настоящая поэзия, что и таким языком, в таком ритме можно «петь», что это не комнатная поэзия, а искусство улицы, митинга, баррикады, что в поисках пути к «безъязыкой улице» законно и оправдано даже дерзкое нарушение традиционных канонов. Читал Маяковский без рукописи.

Прослушали, помолчали. Перед нами был опять не трибун и пламенный агитатор, а натопорщенный, готовый к «дерзости» и «озорству», внутренне конфузливый, застенчивый юноша.

— Ну, что скажете, земляк? — спросил наконец меня Алексей Максимович.

— Это так необычайно, но хорошо, крепко хорошо...

Алексей Максимович заговорил о дальнейшей работе Маяковского, всячески одобрял своевременность темы, правильность взятого тона. Я сделал несколько замечаний об идейных установках, уклонениях от основной направленности. Владимир Владимирович, хотя и с сердитой миной, выслушал молча. Но когда я указал на два-три, с моей точки зрения, срыва формального порядка, Маяковский вскипел:

— Вы ничего не понимаете в этом, у меня все хорошо!..

Алексей Максимович с добродушной улыбкой вмешался:

— А вы напрасно сердитесь. По-моему, Василий Алексеевич прав, ведь он делает свои замечания, идя от вашего понимания форм выражения... Это не та критика, которая вас раздражает, это — советы друга...

Расстались мирно, на прощание Владимир Владимирович даже сказал мне: «Посмотрю...»

В первые дни Февральской революции я переселился в Петроград и жил у Алексея Максимовича в его последней квартире на Кронверкском проспекте (ныне проспект Максима Горького). В мартовские дни Маяковский неоднократно заходил к нам, заходил просто, не по делу. Был очень оживлен. Улица его пьянила, и в сообщениях о своих уличных впечатлениях он забывал о всякой сдержанности и настороженности. С увлечением рассказывал об аресте генерала Секретева, начальника той школы, в которой Маяковский обучался по призыву, рассказывал о своем активном участии в этом веселом деле. Чувствовалось, что его целиком захватил пафос ожившей улицы, что атмосфера революции — это тот здоровый воздух, который нужен ему как поэту.

После марта ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом году я с Маяковским у Горького не встречался. Но Владимир Владимирович нередко заходил в редакцию «Но-

Л. В. Маяковская. *1905 г.*



В. В. Маяковский. *1918 г.*



В. В. Маяковский. ***1923 г.***

вой жизни», где Алексей Максимович принимал по делам литературного отдела газеты. Заглядывал и ко мне в кабинет. О «новостях» не спрашивал. Бывало и так, что посидит несколько минут молча, спросит: «Работаете?» — и уйдет молча. Однажды его, очевидно, удивил прошедший ко мне священник, одетый по всей форме, с крестом на груди, в шелковой рясе. Это был привлеченный мной к работе в газете в качестве информатора по церковным делам священник, порвавший связи с официальной церковью; после Октябрьской революции он работал в советских учреждениях, порвав и с религией. После ухода священника из кабинета Маяковский стремительно вошел ко мне с вопросом:

— Почему поп?..

Я объяснил ему.

— А в коридоре у вас,— засмеялся он,— хроника боится, что крестить их пришел...

Иногда являлся с мрачным видом и сразу: «Деньги есть?» Получив утвердительный ответ, брал деньги и уходил. Я совсем не знаю, как жил Маяковский в эти годы, думаю, что знавал и нужду. Занятую сумму всегда возвращал без всяких напоминаний.

Выступления Маяковского в «Новой жизни» были эпизодичны. Мое предложение Владимиру Владимировичу принять участие в отделе «Маленького фельетона» (на политические темы) не было особенно настойчивым. Он не отказывался категорически. Но мне и тогда казалось, что газета по своему тону не всегда соответствовала его боевому темпераменту, да и направление газеты, особенно после октябрьских дней, едва ли соответствовало его пониманию задач революции.

Весной 1918 года я неожиданно для себя дал тему своеобразного творческого состязания М. Горького и Маяковского.

Не помню, обоим вместе или, скорее, каждому из них отдельно я описал уличную сцену. На мостовой, у самого тротуара, без запряжки лежит на боку лошадь. Никаких видимых повреждений. От тяжелого дыхания бугрится и без того вздутый живот. С большими усилиями приподнимает с мостовой голову. Кажется, с недоумением и упреком смотрит на проходящих. Проходят люди, взглядывают на лошадь, на секунду-другую

останавливаются и идут дальше. Один мальчик, лет десяти, надергал пыльной травы и, опустившись на корточки, сует ее лошади. Лошадь тяжело вздыхает, травы не берет. Мальчик упрашивает: «Ешь, лошадка!» Другие дети смотрят с сочувственным ожиданием — будет есть? Встанет, поевши травки?..

Все. Никаких комментариев бытового порядка я не давал.

Алексей Максимович спрашивал: кто проходил, что говорили? По обыкновению, попросил разрешения использовать рассказ.

Алексей Максимович написал свой очерк непосредственно под впечатлением моего рассказа. Для Маяковского возможно возникновение данной темы и независимо от моего сообщения. Но важно отметить, что мой рассказ с его возможностями социально-бытовых выводов поэтом был использован, правда без конкретных деталей (лето, начинающийся голод и т. д.).

Оба произведения на эту тему были напечатаны одновременно в газете «Новая жизнь».

Вспоминается одно из выступлений Маяковского в Ленинграде, в большом зале. Весь вечер был посвящен Маяковскому. Он читал свои стихи. Это было в дни нэпа.

Вокруг Маяковского, как и в годы прежних шумных выступлений, еще крутились хозяйственно какие-то лица, сугубо таинственные и озабоченные. В передних рядах сидели девушки с накрашенными губами, глазами, жертвенно устремленными на эстраду, сидели молодые люди — сидели по форме: в пальто с поясом, с тщательно охраняемыми проборами склеенных волос.

Но зал был густо наполнен новыми людьми, новой молодежью. Это были рабочие, студенты и студентки советских наборов, выходцы из рабочей и крестьянской среды.

Маяковский вышел на эстраду. Он был спокоен, уверен в себе. В голосе не было, как раньше, вызова аудитории, не было мальчишеского задора, готовности в любую минуту вступить в веселую драку. Перед жадно слушавшими его людьми, прямой и высокий, с

гордо закинутой головой, стоял убежденный в каждом своем слове трибун революции.

Настойчивыми аплодисментами сопровождали слушатели каждое стихотворение Маяковского. «Безъязыкая улица» нашла своего поэта, а поэт пришел в свою аудиторию. Их общим языком был язык революции, единой любви и единой ненависти.

Когда зал опустел, я подошел к Владимиру Владимировичу.

— Жить можно? — спросил я его.

— Весело можно жить! — с широкой улыбкой ответил он.

Пожалуй, это была моя последняя встреча с поэтом.

Рубен Симонов

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И ДРАМАТУРГ

В 1916—1918 годах я был постоянным посетителем литературных диспутов в Политехническом музее, особенно когда выступали В. Маяковский и В. Каменский. Владимир Маяковский читал «Облако в штанах», Василий Каменский «Степана Разина». Наиболее ярко и интересно, задиристо и смело, остроумно и находчиво выступал Маяковский. У поэта была притягательная сила огромного личного обаяния: редкой красоты голос, безупречная дикция, прекрасная внешность, стройная фигура.

В тот период даже передовая молодежь не принимала нового течения в поэзии. Считалось, что это оригинальничание, озорство людей, которые не оставят после себя никакого следа в литературе. Я расценивал стихи Маяковского, в особенности «Облако в штанах», как современное, новое явление в искусстве поэзии. Читал наизусть пролог и несколько отрывков.

На одном из диспутов Маяковский критиковал модных тогда поэтов во главе с И. Северяниным. Он доказывал примитивность композиционного построения их стихов, однообразие ритмов. Приводя примеры, Маяковский на мотив «Ехал на ярмарку ухарь-купец» — популярную в то время эстрадную песню — пропел стихи некоторых поэтов, в том числе и Северянина. Такое «неуважение» к модному поэту вызвало негодование у части аудитории, начался свист, крики «долой!».

Маяковский взбирается на стол президиума и, пере-

крывая шум зрительного зала, своим раскатистым голосом заявляет:

— Все равно вы меня не переубедите. Плохие стихи! Вот когда писал Пушкин...

Маяковский начинает читать одно из любимых моих стихотворений Пушкина — «Когда для смертного умолкнет шумный день», и вдруг замечаю, как затихает зрительный зал. Через минуту гробовая тишина воцаряется в огромной аудитории, и в пронзительной тишине падают последние слова стихотворения:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

На несколько секунд воцаряется полная тишина. И вдруг шквал аплодисментов потрясает зрительный зал. Маяковский медленно спускается со стола и садится на свое место в президиуме. Борьба с сотнями разъяренных врагов кончается красивой, честной победой Маяковского.

Запечатлелся в памяти вечер в Политехническом музее «Избрание короля поэтов». В нем наряду с другими поэтами участвовали Маяковский, Северянин, Каменский.

Зрительный зал был переполнен. Поэты один за другим читают свои стихи. Маяковский в своей обычной манере, красивым низким голосом, доходящим до последнего ряда балкона. Северянин немного в нос, скорее напевает, чем читает. Василий Каменский очень задушевно, грудным голосом, с большим обаянием читает отрывки из «Степана Разина». Зрительный зал разделился на партии. Каждый поэт имеет своих почитателей. Особенно много их у Маяковского.

По окончании чтения начинается голосование. Каждый из присутствующих опускает в ящик билет, где надписывается фамилия поэта, за которого он подает голос. Я опускаю свой билет с фамилией Маяковского. Проходит полчаса. Бюллетени подсчитаны — королем поэтов избран Игорь Северянин. На голову поэта возлагается лавровый венок. Его чествуют поклонники. Я ухожу огорченный. Почему не Маяковский?

Прошло лет десять после этого вечера. Как-то, идя по Никитскому бульвару, я встречаю Василия Камен-

ского. Мы направляемся в пивной бар, который находился в конце Никитского бульвара. Вспоминаем недавнее прошлое, диспуты в Политехническом, вечер избрания «короля поэтов».

— Как же так получилось, что избран был Игорь Северянин? — задал я вопрос Василию Васильевичу.

— О, да это преинтереснейшая история,— весело отвечает Каменский.— Мы решили, что одному из нас почести, другим — деньги. Мы сами подсыпали фальшивые бюллетени за Северянина. Ему — лавровый венок, а нам — Маяковскому, мне, Бурлюку — деньги. А сбор был огромный!

Василий Каменский прожил большую, долгую жизнь. Один из первых русских летчиков, поэт, соратник и друг Маяковского. Начиная с тридцатых годов он поселился в своем доме на Каме. Судьба послала ему тяжелое испытание — у него были ампутированы ноги. Но жизнерадостность не покидала этого милого, доброго человека.

Поэты первой поры революции, Маяковский и Каменский оказали большое влияние на нас, вступающих в искусство молодых актеров, режиссеров. Маяковский, как никто, искренне, горячо воспевал Ленина, Советскую страну, нашу революционную действительность. Маяковский учил нас слушать современность. Его произведения, охватывающие огромные события революции, требовали широкого дыхания, ухода от «любвей и соловьев», которыми были переполнены декадентские стихи.

Как не хватает сегодня нашим многим писателям искренности, проникновенности в воспевании сегодняшней жизни и как не хватает широкого симфонического строя, который рождался сам по себе у Маяковского как форма, выявляющая грандиозность, масштабность событий! Принцип симфонического построения особенно виден в поэмах Маяковского.

Я читал на своих чтецких вечерах в первом отделении стихи Пушкина, во втором — главы из поэмы «Хорошо!» Маяковского. Должен сказать, что соединение двух поэтов в одном вечере было исключительно органично. Родоначальник русской классической поэзии и создатель современной революционной поэзии. К этому соединению я пришел в пятидесятых годах, в пору зре-

лого мастерства, но, по существу, любовь к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, зародившаяся с детских лет, не помешала мне полюбить в юности Блока и Маяковского.

Стихи нужно учиться читать нашей театральной молодежи. Уметь проникнуть во внутренний мир поэта, понять его и найти стиль, манеру выявления этого мира — дело сложное.

Как часто приходится слышать даже у хороших чтецов разговорно-прозаическую манеру в подаче пушкинского стиха — стиха, который вдохновлял лучших русских композиторов к созданию музыки: Глинка, Даргомыжский, Бородин, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов создали прекрасные оперные произведения, изумительные романсы. Актер обязан знать всю музыкальную литературу, связанную с Пушкиным, для того чтобы найти тонкое музыкальное произнесение стихов великого поэта. Как часто Маяковского читают чрезмерно громко, забывая о глубине мысли, ритмическом своеобразии стихов поэта. Школа стиха должна занимать большое место в театральных учебных заведениях.

Но Маяковский существовал и существует для меня не только как великий поэт, но и как великий драматург.

В 1950 году ко мне обратились работники Всесоюзного радиовещания И. Н. Акимов и А. И. Колосков с предложением поставить на радио пьесу Маяковского «Баня».

Как известно, постановка «Бани» в театре при жизни Маяковского получила несправедливо суровую оценку критики. С тех пор в течение двух десятилетий эта и другие пьесы Маяковского не появлялись на сцене. Многие работники театра почему-то считали их «несценичными», а другие даже «опасными», идейно порочными и т. п.

Перечитав теперь «Баню», я был удивлен и восхищен — до чего же это современное, советское, злободневное, талантливое и сценическое произведение!

Я изложил свое понимание «Бани» и план ее постановки на небольшом совещании в отделе литературно-драматического радиовещания, где присутствовала сестра Маяковского Людмила Владимировна. Потом

познакомился с матерью поэта Александрой Алексеевной Маяковской в их квартире на Красной Пресне. Общение с ними, их советы помогли нам в работе.

Мы понимали, что от успеха или неуспеха нашей постановки «Бани» зависит очень многое, а именно: будет ли драматургия Маяковского возвращена к жизни, вновь принята «на вооружение» советского театра или еще на более длительный срок останется под спудом.

Для постановки «Бани» мне удалось собрать крепкий, талантливый коллектив из актеров разных театров. На роль Победоносикова был приглашен И. В. Ильинский, Полю играла М. Ф. Ковалева, Оптимистенко — Н. О. Гриценко, Бельведонского — В. Г. Кольцов, Моментальникова — В. И. Осенев, мистера Понт Кича — Л. Д. Снежницкий, машинистку Ундертон — О. Н. Афонина, режиссера в театре — О. Н. Абдулов, Ночкина — Б. М. Шухмин, Велосипедкина — Б. Н. Талмазов, Чудакова — А. Н. Грибов, Мезальянсову — В. П. Марецкая, Фоскина — Н. Д. Тимофеев, Двойкина — М. А. Ульянов, Тройкина — М. С. Дадыко, просителей — Е. Д. Понсова и Л. И. Борисов, Ивана Ивановича — М. С. Державин, Милиционера — М. С. Зилов, Фосфорическую женщину — Л. А. Скопина. Стихи и пояснительные тексты читал я. А музыку для радиоспектакля подготовил композитор В. Я. Шебалин.

Наш коллектив работал напряженно и дружно. Сомнений в удаче радиоспектакля почти ни у кого не было. Но вокруг ходило много толков и суждений.

Помню день премьеры радиоспектакля «Баня» — 19 июля 1951 года, в день рождения В. В. Маяковского. Слушал я ее на даче. И кто-то из слушавших вместе со мной по окончании передачи сказал мне:

— Ну и влетит же тебе за этот спектакль!

Но вот прошло несколько дней — и в радиокомитет один за другим стали поступать отзывы радиослушателей. Они радостно, восторженно приветствовали появление «Бани» в эфире.

Технолог Грачев из Куйбышевской области писал: «Когда я случайно прослушал отрывок этого спектакля, то подумал, что кем-то написано новое талантливое произведение на злобу дня. Удивительно, почему произведение до сих пор было совершенно неизвестно?»

Радиослушатель Ревва из города Верхнеднепровска:

«Это образец смелой и беспощадной борьбы с бюрократизмом, образец постановки литературы, искусства на службу рабочего класса».

Матрос Урсуленко из Севастополя:

«Очень замечательное, высокоидейное произведение. С какой силой сумел Маяковский в «Бане» показать героев-бюрократов Оптимистенко, Мезальянсову, Победоносикова и других!»

Москвичка Воинова:

«Меня буквально ошеломила поразительная злободневность этой вещи, вот то удивительное провидение будущего, которое присуще гениальным людям, острота и меткость образов. Кажется, будто «Баня» написана сейчас... Постановка «Бани» очень своевременна. «Баня» должна заставить многих подумать: быть им в поезде времени или есть основания остаться за бортом?»

Радиослушатели причисляли пьесу Маяковского к классическим произведениям драматургии, высказывали пожелание увидеть «Баню» на сцене театров.

Вскоре после этого «Баня» была поставлена рабочим театром в Ленинграде, в Псковском областном театре, а затем в Московском театре сатиры. А за «Баней» — «Клоп» и «Мистерия-буфф». Пьесы Маяковского снова прочно вошли в репертуар многих театров нашей страны.

И мне и всем, кто работал над радиоспектаклем «Баня», это дало огромное творческое удовлетворение, большую радость.

5 февраля 1966 г.

Н. Денисовский

НАША ЮНОСТЬ СВЯЗАНА С МАЯКОВСКИМ

Подготовляя к печати альбом «Окон РОСТА» Маяковского и разбирая подлинные экземпляры, нарисованные и написанные самим Маяковским, еще и еще раз убеждаюсь, насколько имя поэта близко связано с революцией.

Голод, тиф, борьба с ними, холод, разруха, восстановление транспорта, оборона страны, разгром Врангеля, Деникина, Колчака, польского пана, интервентов — все это считал своей темой Маяковский.

Выразительный рисунок, к тому же многокрасочный, останавливает внимание и помогает слову быстрее и лучше запомниться. В те годы типографии не могли выполнить заказы на многокрасочную печать. Маяковский берется за кисть и собственноручно не только словом, но и рисунком изо дня в день агитирует, призывает, воодушевляет.

Поразительны энергия, оперативность, художественная изобретательность Маяковского. Несмотря на срочность задания, на отсутствие необходимых красок, Маяковский создавал произведения высокого художественного качества.

Поразительна его трудоспособность.

В 12 часов ночи мне звонит Маяковский: «Завтра в 9 утра надо сделать двенадцать плакатов Наркомздраву. Приезжайте работать». Я растерялся. Что за срок? Успею ли?

Минут тридцать собирал краски, час ехал до Таганки. За эти полтора часа все темы и подписи были

готовы. Маяковский примерно нарисовал и то, что надо было изобразить. Перед этим Маяковский приехал с какого-то выступления, где целый вечер читал стихи.

— Я прилягу на час, полтора,— сказал Маяковский,— вы за это время все сделаете. Если не успеете, то потом помогу я.

Мне не верилось, что удастся сделать за эту ночь хотя бы два плаката, но сознаться было очень стыдно.

Встал Маяковский.

— Ну как? Все готово? Ну ничего, сейчас дело пойдет веселее.

И действительно, дело пошло веселее. Указал, что плохо, что хорошо. Опыт у него в этом деле был колоссальный. Скажет, пройдется, шагнет в свою комнату, нагнется к столу, что-то запишет. Спросит, хорошо ли рифмуется то или другое слово, запишет и опять ходит. Так Маяковский работал. К утру ему еще надо было сдать стихотворение в «Комсомольскую правду».

В восемь часов плакаты были готовы. В девять мы были с Маяковским в Наркомздраве, и он возмущался неаккуратностью сотрудников, которые приходят на работу с опозданием. Заведующий отделом пришел только в половине десятого. Маяковский обрушился на него:

— Что же вы неточны? Плакаты просили вам в девять сдать, а сами еще спите.

Плакаты были все приняты.

1919 год. Я был студентом ВХУТЕИНа. Стихи Маяковского мы все знали, многие из нас читали их наизусть. Запоминали стихи, слушая их в исполнении самого автора. Напечатанных книг Маяковского в то время было мало. С каждым словом запоминались и его движения, и образ Маяковского врезался навсегда в память. Странно, что никто до сих пор не написал его портрета. Это можно объяснить только тем, что воспоминание о живом Маяковском слишком еще свежо в нашей памяти и нам не приходило в голову, что кто-нибудь его себе неясно представляет.

Был канун 1 Мая 1919 года. Не спали несколько суток, украшая город к празднику. Вечером сказали, что приедет Маяковский, и сотни сонных, усталых вхутеиновцев пришли, как один, точнее, чем на занятия, чтобы еще и еще раз слушать своего поэта. Грандиозный зал

трещал от втиснувшихся в него вхутеиновцев. Сидеть было не на чем. Все стояли. Над морем голов возвышался Маяковский. Он читал третий час. Но его просили еще и еще.

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда! —

вторил зал, шевеля губами, и на всю жизнь запомнилось:

Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Наша юность, связанная с годами революции, неразрывно связана и с Маяковским. Народный трибун, неустанный глашатай, своими стихами он постоянно взбудораживал наше воображение. Маяковского мы обожали, впрочем, так же к нему относились и все вузовцы, и думаю, что все, кто его знал.

Я стоял у гроба, я шел за гробом с толпой, и все же мне кажется, что он жив, что просто куда-то уехал, что завтра в газетах я прочту его стихи об Испании и снова и снова увижу его в аудитории Политехнического музея среди тысяч вузовцев, стоящих и сидящих везде, где осталось что-либо похожее на свободное место.

Таким я хочу его видеть и показать другим.

Симон Чиковани

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

Владимир Маяковский в пору моей юности трижды приезжал в Тбилиси. Первый раз — 28 августа 1924 года. Оставался Маяковский в Тбилиси до 6 сентября. Второй раз — 25 февраля 1926 года и находился с нами несколько дней. В последний раз он приехал в Тбилиси 9 декабря 1927 года и провел в обществе грузинских писателей пять дней. Я познакомился с ним в первый же день его первого приезда. После этого мы часто встречались, вместе обедали, вместе отправлялись на его поэтические вечера и долгие ночные часы проводили в разговорах о поэзии. Расстались мы тридцать шесть лет назад, но воспоминания о тех днях (даже те, что не записывались) так прочно и четко оказались впечатанными в память, что восстановить и оживить их не стоило большого труда. Все так легко легло на бумагу, будто было заснято на кинопленку и лишь ожидало проекции.

I

К августу 1924 года я был автором всего лишь одного стихотворения и одной эксцентрической статьи. Несмотря на это, тогдашний редактор журнала «Мнатоби» В. Бахтадзе пригласил меня сотрудничать и вверил мне один из отделов редакции. Дней за двадцать я свыкся с новой работой и старательно подготавливал материал для засылки в типографию. В конце августа в Грузии имело место контрреволюционное выступление, и в Тбилиси после восьми часов вечера движение на улицах ограничивалось. Наш редактор был послан в

Кутаиси, и работа в редакции замерла. Набирать журнал в типографии временно прекратили. Почти никто не приходил на работу в назначенные часы. Я являлся в редакцию рано утром, садился за стол и брался за рукописи. Редакция журнала находилась тогда в первом этаже дома на углу проспекта Руставели и улицы Чавчавадзе, напротив Оперного театра. Редакция недавно (в начале 1924 года) основанного журнала была еще плохо обставлена, в комнате было несколько стульев, два книжных шкафа и два рабочих стола.

29 августа я, по обыкновению, просматривал поступившие материалы. Утро выдалось жаркое, и зной уже подступал к нашим окнам. Около двенадцати часов открылась дверь, и вошел художник Кирилл Зданевич. Его сопровождал незнакомый мне высокий, статный, мужественного облика человек. Своей внешностью он сразу приковывал к себе внимание. Кирилл, улыбаясь, представил ему меня.

— Знакомьтесь, это тоже поэт-футурист...

Он еще что-то хотел сказать, но спутник прервал его:

— Футуризм устарел, сейчас Леф.— Затем представился: — Маяковский.

Все это было для меня неожиданностью, хотя я много раз видел его на фотоснимках и представлял именно таким... В замешательстве протягиваю ему руку и предлагаю сесть. Он опустился на стул, и сидящим показался мне еще крупнее. Он как-то уплотнил полупустую комнату. Я чувствовал какую-то неловкость, гость же сразу освоился, сказал:

— Приехал вчера вечером и вечером же познакомился с вашими друзьями — Николаем Шенгелая и Жанго Гогоберидзе. Хорошие ребята, они мне понравились.

Эти слова обрадовали меня, и неловкость исчезла, я стал чувствовать себя свободнее. Повеселел и Маяковский, воскликнул:

— Поэты — люди одной веры и одной нации! Все же вы выглядите слишком молодо для того, чтобы быть редактором.

Я ответил, что не являюсь редактором, но что, если он даст что-нибудь новое, буду очень рад, да и в глазах редактора возвышусь.

— С удовольствием. Вот я написал стихотворение об одном старом друге, «Юбилейное», и пока оно будет опубликовано по-русски — переведите и напечатайте.

Я поинтересовался, о каком это друге идет речь. Он, улыбнувшись, ответил:

— Об Александре Пушкине.

Заметив мое смущение, Маяковский переменил тему, стал расспрашивать о журнале. Я сказал, что в сентябрьском номере «Мнатоби» идут его стихи: «Ода революции», «Приказ по армии искусств», «Сволочи», «Необычайное приключение...» и другие в переводах Паоло Яшвили. Поэт очень заинтересовался этим:

— Прочитайте мне, я смогу оценить качество перевода.

Я сразу же с вопросом:

— Разве вы знаете грузинский?

А он в ответ на чистейшем:

— Я, дорогой мой, кутаисец.

Для меня его грузинская речь была настолько неожиданной, что я осекся и смог лишь сказать:

— Я тоже кутаисец, учился в реальном.

Маяковский:

— Так что двое кутаисцев завтра же просмотрят переводы.

Он действительно, как я убедился позднее, смог оценить качество переводов, свободно разобраться в их грузинском звучании.

Возможно, его лексический запас был не очень велик, но речь звучала совершенно свободно. Любил он кутаисские шутки с «примесью» русских слов. Помню, как-то раз мы сидели за столом на разных концах, и Маяковский, заметив, что я чему-то улыбаюсь, крикнул мне по-кутаисски: «Ра намиокебиа, ра намиокебиа?» (Что за намеки, что за намеки?) Он помнил старые кутаисские остроты и, произнося их, от души смеялся.

Паоло Яшвили в те дни находился в Аргвети, и мне было как-то неудобно показывать автору переводы в отсутствие переводчика.

Маяковский сказал:

— «Юбилейное» написано недавно, и, если оно будет переведено и напечатано в следующем номере,

я буду очень рад. Правда, тема его как будто не совсем проста, но оно будет понятно всем.

Я ответил, что не это является решающим. Собеседник мой даже вспылил:

— Как это так! Стихи должны быть понятны всем — начиная с профессора и кончая рядовым рабочим.

Я решился возразить:

— А ваше «Про это»?

Я был очень увлечен поэмой «Про это», где содержание выступало в метафорическом покрове и метафорическая оболочка оказывалась средством яркой, четкой передачи этого содержания. Я все это выложил и добавил:

— И разве всем одинаково доступен, например, остро драматизированный монолог из этой поэмы «Семь лет стою»?

Маяковский пристально взглянул на меня и ответил:

— Верно, это не легко понять, и все же поэтическое произведение должно быть понятно всем.

Он задумался и, немного помолчав, добавил:

— Как хорошо быть молодым, сама молодость является вдохновением, поэзия нуждается в молодости... А стихи все-таки должны быть поняты всеми — от семнадцати до шестидесяти лет. Интересно, можно ли сберечь молодость до шестидесяти?

Он отвернулся и стал что-то тихо напевать. Затем предложил Кириллу:

— Пойдем позавтракаем, возьмем с собой Симона.

Я подхватил эту идею и вызвался возглавить поход, обещал повести их в лучшую столовую.

— Хорошо, двинемся во главе с редактором,— пробасил Маяковский.

Мы вышли из редакции и взяли курс на Пушкинскую. По пути к нам присоединились еще двое друзей — Николай Шенгелая и Жанго Гогоберидзе. Я привел всех в подвальчик «Олимпия», где кухней заправлял прославленный Аветик, затмивший в ту пору всех тбилисских кулинаров.

Николай Шенгелая отозвал Аветика и предупредил, что с нами известный русский поэт и что надо оказать гостю достойный прием. Аветик потребовал познакомить его с гостем. Мы представили его Маяковскому и

отрекомендовали как лучшего в Тбилиси кулинара. Маяковский почтительно пожал ему руку и приветствовал по-грузински... Аветик засуетился, захлопотал, пригласил нас в отдельный кабинет («здесь вас никто не побеспокоит»), от радости, как говорится у нас, головой об потолок стукался и вскоре действительно накрыл великолепный стол.

Тамадой выбрали Николая Шенгелая. Пиршество получилось на славу. Маяковский, правда, не обнаружил пристрастия к вину, но сотрапезником оказался чрезвычайно общительным. Он включился в завязавшуюся за столом дружескую беседу и очень быстро заразился общим нашим весельем. Его собственному остроумию не было предела. Он нанизывал шутку на шутку, остроту на остроту и своими искрометными экспромтами вносил еще больше оживления. Обед затянулся до вечера. Расходясь, мы, по предложению Кирилла, договорились встретиться завтра вечером у него.

Утром я зашел к Владимиру Владимировичу в гостиницу «Ориант» (ныне «Интурист»), где он занимал номер на втором этаже, как раз над парадным входом (сейчас эта комната превращена в общую приемную). И хотя мы познакомились лишь накануне, Маяковский встретил меня как старого друга, которого век не видал. Вспоминали и вчерашний вечер, и Кутаиси, и берег Риони. Он прочитал из поэмы «Люблю» раздельчик «Мальчишкой».

Мое внимание привлек раскрытый чемодан у кровати, в котором лежали несколько книг Ленина и сборников, посвященных Владимиру Ильичу. Маяковский понял меня и пояснил:

— Пишу поэму о Ленине, к концу года надеюсь закончить, это будет новым словом в моем творчестве...

В Тбилиси в те дни были отменены литературные вечера, спектакли, после восьми часов нельзя было ходить по улицам без пропусков. Мы же должны были попасть вечером к Кириллу. Призадумались... Вдруг я вспомнил, что начальником Политуправления грузинских частей Красной Армии работает мой хороший зна-

комый Артем Квирикадзе. Я поспешил к нему, сообщил о приезде Маяковского, объяснил положение и попросил дать разрешение на хождение по городу после восьми. Артем распорядился выдать пропуска на пять человек. Эти пять человек были: Владимир Маяковский, Николай Шенгелая, Жанго Гогоберидзе, Николай Чачава и автор этих строк. Артем меня напутствовал:

— Ходите вместе, не оставляйте гостя одного.

Вспоминая эти дни, Маяковский позже писал: «Красноармеец из уличного патруля (3 года назад в Тифлисе) сам удостоверяет мою поэтическую личность» (Соч., т. 9, стр. 430).

В девять часов вечера все мы собрались у Кирилла и его жены Ольги Григорьевны Зданевич на Петровской улице. По соседству с ними жили сестры Чолокашвили. Младшая из них, Нюта, была приглашена на наш вечер. Квартира Зданевичей состояла из одной большой комнаты и широкого балкона, с которого открывался вид на раскинувшийся по берегам Куры город.

Во время ужина мы время от времени выходили на балкон и любовались великолепным зрелищем. Все было так построено или, я бы сказал, подстроено, будто сама природа готовилась слушать стихи.

Молодые грузинские поэты хорошо знали современную русскую поэзию. За несколько лет до этого русская литература лишились источника чарующей и всегда «нечаянной радости» — Александра Блока. Почти в ту же пору скончался Виктор Хлебников — тайновидец русского слова. Теперь в русской поэзии «соперничали» Владимир Маяковский, Сергей Есенин и Борис Пастернак. Но наиболее известным и признанным из них был Владимир Маяковский — трибун революции и новатор в русской поэзии. Он был талантливейшим поэтом своего времени, и именно это придавало особую силу его революционности.

Вождь новейшей русской поэзии, и вот он — он! — находится среди нас и дружески, доверительно беседует с нами! Казалось, мы когда-то вместе бегали на песчаном берегу Риони, а затем надолго потеряли друг друга, чтобы вот здесь снова сойтись. Для автора «Люблю» воспоминания о рионских берегах тоже имели особый

смысл. Он будто вызывал к себе образы развалин храма Баграта, кутаисского бульвара, пририонской рощи и дороги, ведущей к Багдади. Родные просторы, овеянные романтикой детских лет, не покидали воображения поэта. Потому и говорил он позже со светлой печалью: «Я в долгу... перед вами, багдадские небеса».

Во время одного из перерывов в ужине, когда мы вышли на балкон, гость заявил, что будет читать стихи. Всеобщая радость. Расселись по креслам. Владимир Маяковский начал стоя читать. И вот одно за другим — «Необычайное приключение...», «Левый марш», «Хорошее отношение к лошадям», отрывки из поэм «Человек» и «Про это» и т. д. Все эти стихи мы знали, Жанго сам отлично их читал, но сейчас они приобрели совсем новое звучание.

На балконе не было света, он слабо освещался лампой, горевшей в комнате. В единоборстве света и ночной тьмы вырисовывалась фигура поэта, читавшего нам свои стихи. Каждое слово, произнесенное бархатным басистым голосом, как будто отдавалось эхом в горах. Голос, рожденный привольными просторами, не умещался в тбилисских теснинах, колобродил в оврагах и отзвуком вновь возвращался к нашему балкону. Казалось, сам воздух колеблется и его струи обдают наши пылающие лица.

Поэт полностью отдался своему голосу, он доверял ему, он полагался на него. Чтение это было предельно искренним и благородным.

Возвращались мы от Здаdebugger Зданевичей уставшие, погруженные в свои думы. Поздняя прогулка по пустынным улицам, чистый воздух доставили нам истинное удовольствие.

Маяковский большое значение придавал авторскому чтению произведений, порой определял этим качество самого стихотворения. Утверждал, что если поэт плохо читает свои стихи, то это свидетельствует о несовершенстве самого произведения, что поэт обязан не только хорошо писать, но и хорошо читать написанное. Каждая поэтическая строка, утверждал он, основана на возможностях собственного голоса, исходит из самой природы поэтического выражения, произнесения... И возможно ли, чтобы не было соответствия между голосом и мыслью, которую хочешь выразить?!

И действительно, автор «Левого марша» придавал голосовым интонированием большое своеобразие стихам. Когда его лирическая, образная стихия опиралась на его же голос, она казалась еще более четко очерченной и проявленной. С силой шекспировских монологов звучали отрывки («Семь лет стою» и «Мария...») из его поэм.

Как-то днем Маяковский, Коля Шенгелая, Жанго Гогоберидзе и я собрались в кафе на проспекте Руставели. Владимир Маяковский в подтверждение одной своей мысли сказал, что Борис Пастернак и Николай Асеев чудесно читают свои стихи, так как голос, которым они обладают, вполне выражает то, что у них на душе. Если есть это соответствие, поэт всегда будет лучшим исполнителем своих произведений.

— Я хочу,— продолжил он свою мысль,— как можно шире распространить свои стихи, сделать их достоянием масс и поэтому первостепенное значение придаю своему чтению.

Тут ему задал вопрос Жанго:

— А после нашей смерти как быть грядущим поколениям, желающим прочитать ваши стихи?

Маяковский ответил:

— Не беспокойтесь, сами разберутся.— И еще веселее добавил: — Стихи читаются не только вслух. Одно из свойств моих стихов, безусловно, будет утрачено, но останется над чем подумать и поломать голову потомкам.

Затем разговор перешел на «Высокую болезнь» Бориса Пастернака. Считая Пастернака проникновенным лириком, Маяковский, однако, не все принимал в этой поэме. В ней он находил несколько затуманенных мест, где суть раздумий в обнаженном виде оттолкнула бы самого автора. Но он тут же прочитал из этой вещи любимые им отрывки о Ленине.

— Это замечательно! — заключил он.— Но, как я сказал, стихи должны быть поняты и современниками и будущими поколениями. А вообще, в поэзии ничто хорошее не пропадает. Скоро я напишу книжку о природе стиха и выскажусь по вопросам поэтического искусства...

Из кафе мы пошли в театр имени Руставели, расположенный напротив. Котэ Марджанишвили готовил

тогда постановку «Мистерии-буфф», собираясь ее ставить на склоне горы Мтацминда. Наш общий друг художник Ираклий Гамрекели уже сделал эскиз оформления. Маяковский поговорил с автором спектакля, а Ираклия Гамрекели попросил сделать для него копию эскиза декорации. Уходил он из театра очень довольный и обрадованный.

Все мы направились в бильярдную. Там состоялся поединок сначала между Маяковским и Ираклием Гамрекели, который был хорошим игроком, а затем Ираклия сменил Коля Шенгелая. Маяковский выиграл почти все партии и заставил побежденных пролезать под столом.

На другой день утром я захватил корректуру переводов Паоло Яшвили и направился к Маяковскому. У него в гостинице я застал Колю Чачава и Жанго Гогоберидзе. Маяковский попросил меня читать переводы спокойно, без декламации: «Так я лучше оценю их достоинства и недостатки». Я прочитал «Левый марш», «Оду революции», «Необычайное приключение...», «Сволочи» и другие стихи. Автор слушал внимательно. Когда я кончил, он некоторое время молчал. Наконец высказался:

— Хорошо! Стихи звучат по-грузински сильно, но в некоторых не сохранен ритм оригинала.

Я выдвинул довод: природа грузинского стиха настолько иная, что добиться большего приближения невозможно.

— Почему же,— ответил он,— французское стихосложение тоже силлабическое, но французы смогли сохранить в своих переводах ритмическое движение оригинала.

Я на это сказал:

— У переводчика ваших стихов должен быть родственный вам поэтический голос. Паоло Яшвили внутренне близкий вам поэт, опытный и вдохновенный мастер...

Маяковский не возражал.

— В общем переводы мне очень понравились,— заключил он.

Действительно, переводы стихов Маяковского на грузинский язык требуют исключительного труда и мастерства. Творчество Маяковского связано главным об-

разом с городом. В формировании его поэтического языка принимали участие городская народная поэзия, разговорная речь улицы, а ритмическое течение его стиха зародилось где-то в гуле машин и заводов. Деревенский образный строй почти отсутствует в его стихах. В грузинской же поэзии не замечалось такое резкое размежевание. Безусловно, богатый грузинский поэтический язык может помочь в преодолении любых трудностей, но, как я уже сказал, это требует исключительного труда и мастерства. Мне казалось тогда, что родственная Маяковскому урбанистическая тенденция в грузинской поэзии наиболее выражена у Паоло Яшвили. Все это я постарался объяснить Маяковскому, и он, по-моему, остался доволен. Он согласился, что для перевода требуется особое искусство и мастерство, и добавил:

— Правда, сам я пока еще ничего не перевел, но собираюсь в будущем перевести несколько любимых поэтов. Обязательно попытаюсь... Киплинг не относится к числу моих любимых писателей, он враждебен и чужд мне, но Елизавета Полонская так здорово перевела его балладу о Востоке и Западе, что просто покорила меня.

И тут же он прочел строфу («Воронȯй летел, как юный олень...»).

Затем Владимир Владимирович предложил нам послушать его новое, накануне написанное стихотворение «Владикавказ — Тифлис». Оно произвело на всех нас большое впечатление, но вокруг него разгорелся и наш первый спор. В новом стихотворении были строчки: «История — врун даровитый, бубнит лишь, что были царьки да князьки: Ираклии, Ольги, Давиды». Мы поделились с автором своими сомнениями, сказали ему, что в грузинской истории не было Ольги, а упоминание Ираклия и Давида в ироническом контексте и неверно и нецелесообразно. Он сначала спросил, неужели многовековая история Грузии не знает ни одной Ольги? Получив отрицательный ответ, он весело отшутился:

— Вы футуристы и, наверное, плохо знаете историю Грузии!..

Мы объяснили, что в нашей истории известны деятели-женщины — просветительница Нина, царица Тамара и царица-мученица Кетеван. Известны также народные героини Майя Цхнетели, Вашлованели и дру-

гие. Он задумался, затем остановился на Нине (хотя она не была ни царицей, ни княгиней) и заменил ею в стихотворении Ольгу. Нам же он сказал:

— Не вижу в этом стихотворении ни одной принижающей историю Грузии строчки, я себя самого объявил в нем грузином, включил грузинскую песню «Мхолот шен эртс». Песню эту я слышал давно и вообще очень люблю грузинские песни. Нравится мне и грузинская народная революционная поэзия, кое-что помню до сих пор наизусть.

И он начал читать:

— «Ме вар Арсена Джорджиашвили... висроле бомби, мовкали мхеци, маграм мтарвалебс вер гавекеци...» (Арсен я Джорджиашвили... Я бросил бомбу, убил я зверя, но палачи меня настигли...)

И так до конца. Мы смотрели на него, удивленные. А он продолжал:

— Очень хорошо я запомнил с 1905 года и стихи вашего поэта: «Мегобреро! Цин, цин гасцит, ну шедркеба тквени гули, де мкердс сисхлис даги ачндес да шублс оплис накадули...» (О друзья, вперед, вперед, да не дрогнет ваше сердце...)

Особая любовь и пристрастие остались у него с детства к грузинским народным частушкам, называемым «шаири». Он рассказывал нам:

— Когда я учился в гимназии, то часто купался в Риони, а после купания, растянувшись на песке, состязался в шаири с мальчишками. Грузинские шаири великолепны, и поэт, который на их основе создаст жизнерадостную и веселую поэзию, станет народным поэтом.

Он говорил о Грузии и ее народной культуре как о чем-то близком, своем, кровном. Казалось, ему доставлял удовольствие сам предмет нашей беседы, и он сознательно затягивал свой лирический монолог. Это было понятно, так как именно Грузия с ее революционными традициями оказалась для него первой путеводной звездой. Жизнь и быт грузинского народа, безусловно, оказали влияние на формирование в детстве душевного склада будущего поэта. И в его своеобразной исповеди, поведанной нам в гостиничном номере, сквозила чистая любовь к Грузии и нежность, сбереженная в глубине души. Он, действительно, настолько *своим* чувствовал себя в Грузии, настолько *своей* ощущал и

мыслил ее, что, безусловно, имел право говорить и писать безо всяких оговорок обо всем и так, как он считал нужным, с полной уверенностью, что его, конечно, поймут так, как надо.

Закончив неожиданный свой монолог, он встал и начал вешать на стену эскиз декорации к «Мистерии-буфф», подаренный ему Ираклием Гамрекели. А затем предложил:

— Теперь двинемся. В Тифлис приехал Николай Тихонов,— повидаем его.

Когда все уже собрались выходить, в номер вошел Колау Чернявский с возгласом:

— Владимир Владимирович! Я должен прочесть вам новое стихотворение!

— Читайте,— согласился Маяковский.

И Колау начал читать. Все мы, как в финальной сцене «Ревизора», стоя и молча выслушали декламацию Чернявского. Стихотворение называлось «Каменный полет». Оно нам понравилось, и Маяковский сказал:

— Хорошо, но в «Лефе» не смогу напечатать.

Весь остаток дня мы провели в поисках Тихонова, но безуспешно — он, оказывается, в этот же день выехал в Ереван.

6 сентября в десять часов вечера Владимир Маяковский уезжал в Москву. Примерно к семи часам собрались провожать его Жанго Гогоберидзе, Николай Шенгелая, Ираклий Гамрекели, Николай Чачава, Шалва Алхазишвили, Павел Нозадзе, я и другие. Из гостиницы мы вышли уже в сумерках. Перед этим прошел дождь, и небо было серо-свинцовым. Мы пересекли проспект Руставели и направились в сторону Верийского моста. Загэс еще не была выстроена, и город испытывал недостаток в свете. По омытой дождем улице то и дело попадались лужи, и нам в темноте приходилось перепрыгивать через них. Город все глубже и глубже погружался во тьму. Когда мы дошли до Верийского спуска, Маяковский стал настаивать, что еще рано и стоит на несколько минут зайти в бильярдную, чтобы убить время. Спустились в бильярдную. Маяковский начал играть с Ираклием Гамрекели. Как обычно, проигравший должен был пролезть под столом. Гамрекели в общем играл хуже Маяковского, но к нему в этот вечер

пришла явная удача, и он выиграл три партии подряд. Маяковский забыл все, кроме бильярда. Мы стали волноваться: так можно было опоздать на поезд. Ираклий Гамрекели не собирался отступать, но, к счастию, он стал проигрывать. Мы остановили проезжавшего извозчика и понеслись к вокзалу. Когда доехали, до отхода поезда оставались минуты. Попрощавшись, Маяковский поднялся в вагон и помахал нам рукой.

На другой день, 7 сентября, я открываю газету «Заря Востока» и вижу стихотворение Маяковского «Юбилейное».

II

Прошло полтора года после отъезда Маяковского из Тбилиси. Думалось, что он успел позабыть тбилисских друзей, слишком уж непродолжительной была наша встреча. Издали наблюдал я за работой Владимира Владимировича. Размах этой работы был поистине велик. Он много путешествовал по загранице и страстно боролся за новую, революционную поэзию. Стихи его часто появлялись в газетах и журналах. Была опубликована его замечательная поэма «Владимир Ильич Ленин».

Конец февраля 1926 года. Вдруг я натыкаюсь на афишу с именем Владимира Маяковского. Это было время, когда поэт, вернувшись из заграничной поездки, выступал по городам страны с докладом и стихами об Америке. Мелькнула мысль, что, возможно, поэт уже находится в Тбилиси. Я справился в гостиницах, но не смог его обнаружить. Это было 25 февраля, а вечер назначался на 26-е.

На другой день около трех часов, спускаясь по улице Бесики, встречаю моего друга Акакия Белиашвили. Первые же его слова были: «Приехал Маяковский и разыскивает тебя, он сейчас возле Оперного театра, где вы обычно собираетесь». Меня очень обрадовало это известие, и я поспешил на проспект Руставели. Вскоре я заметил идущего навстречу со стороны Оперного театра Маяковского. Он точно врезался в гущу медленно шествующих людей и, возвышаясь над всеми, поднял приветственно руку. Обнялись. Первые расспросы. Он:

«Я занят путешествиями и работой». Мы немного прошлись и решили разыскать остальных товарищей, чтобы вместе пообедать. «Только сегодня я выступаю, и мне не следует засиживаться».

В ту пору все наши друзья, как по службе, собирались в определенное время на проспекте Руставели. И действительно, поодиночке стали появляться — Жанго Гогоберидзе, Николай Шенгелая, Кирилл Зданевич, Бесо Жгенти, Николай Чачава, Ираклий Гамрекели. Компания собралась, и мы, как полтора года назад, направились к заветному подвальчику Аветика. По дороге к нам присоединился Николо Мицишвили. Спустились в погребок. Я предупредил Аветика, что с нами тот самый знаменитый русский поэт и что мы надеемся на широкое гостеприимство. Он снова, как и в прошлый раз, попросил представить его гостю, любезно поздоровался с ним, осведомился о здоровье и уже после этого спросил, не забыл ли гость его, Аветика. Маяковский ответил:

— О, что ты, я скорее забуду Шекспира, забуду Гете, но тебя буду помнить всегда!

Знатный кулинар просиял и, радостный, поспешил на кухню. Стол был мгновенно накрыт. Маяковский продолжал шутить:

— Что сделал со мной ваш Аветик — заставил принести ему в жертву классиков мировой литературы!

Обед был в разгаре. Маяковский воздерживался от вина, шутил и делился с нами американскими впечатлениями. Кто-то в шутку спросил его, не забыл ли он в Америке грузинский язык? Этот вопрос напомнил ему один примечательный случай, и он рассказал нам, как в Америке ему очень пригодилось знание грузинского языка:

— В Чикаго, где я выступал с докладом, какой-то белогвардеец решил надо мной поиздеваться. Зная, что я не владею английским, он произнес речь, направленную против меня, на английском языке. Весь зал напряженно уставился на меня, ожидая, какой я найду выход из неловкого положения. Я поднялся и ответил моему оппоненту на... грузинском языке. Все были поражены. А на галерке, оказывается, сидел один грузин, эмигрировавший из России еще до революции, и, услышав мою грузинскую речь, не удержался, закричал:

«Кацо, вин хар, ан саидан харо?» (Эй, кто ты и откуда?) Я поднял голову и крикнул в ответ: «Кутатури вар, кутатури!» (Кутаисец я, кутаисец!) После вечера этот человек повидал меня, и мы очень подружились. Он оказался рабочим.

После этой веселой истории мы настроились на серьезный лад. Николай Шенгелая прочел руставелевское «Вах, сопело...»

— Это откуда? — спросил Маяковский.

— Из Руставели,— ответили ему мы.

— Как это великолепно звучит,— проговорил он... Поднялся Николо Мицишвили и обратился к гостю с речью. Встал и Маяковский. И тут всем бросилось в глаза комическое несоответствие — Мицишвили был очень мал ростом, и выручило его только его красноречие.

Так в разговорах, шутках, в веселом старании блюсти правила грузинского стола наступил вечер, и все мы поспешили в театр.

У входа в театр Маяковского встретил устроитель вечера и сообщил, что народу собралось мало. Весь день спрашивал меня Маяковский, соберется ли публика, и я его заверял, что от публики не будет отбоя. Однако предсказание мое не сбылось. Я чувствовал себя неловко. Вошли в зал, я сел в третьем ряду. Маяковский направился к сцене. Когда я осмотрелся, мне стало совсем не по себе — даже в партере было немало свободных мест. Не было галерки, не было большой аудитории. Раздвинулся занавес, и на сцене, после минутного ожидания, выросла высокая фигура Владимира Маяковского. Он представился мне как бы в новом свете. Я сидел в партере и снизу смотрел на поэта, завладевшего сценой, как бы заполнившего сразу все ее пространство. Зал уже был у него в руках, и он распоряжался — смешил, гневил, наказывал, поднимал, агитировал, убеждал... В личной жизни, в непосредственном общении Маяковский был исключительно скромен и деликатен. А на сцене стоял непоколебимый и неутомимый боец с острым взглядом и требовал безоговорочного подчинения.

Он и начал с заявления, что он является законода-

телем вкуса в Стране Советов, что поэзия — дело государственное, что незаполненный зал — это очень плохо, что вечер организован в пользу студенчества, и публика должна была прийти. Затем он изменил тон и объявил, что прочтет свое стихотворение о Грузии... Маяковский, по-видимому, знал, что дореволюционная грузинская интеллигенция с любовью и уважением относилась к Константину Бальмонту. Он даже видел в Тбилиси, в семье Сандро Канчели, на его письменном столе оправленный в рамку автограф стихотворения Бальмонта «Для меня опустела Картвелия». Но так или иначе, первую свою атаку докладчик обрушил именно на Бальмонта. Затем он сказал, что Бальмонт в стихах, посвященных Грузии, упоминает только одно грузинское слово — «макоце» (поцелуй меня)... В тот же миг какая-то молодая женщина из партера бросила ему вопрос, знает ли он, что значит это слово. Маяковский мгновенно повернулся в сторону голоса, шагнул к авансцене, очутившись почти над головой автора реплики, и с мягчайшей, вполне прирученной улыбкой ответил:

— А как же, дорогая, и даже практическое применение этого слова.

Зал содрогнулся от смеха. Незнакомка стыдливо потупилась. Маяковский же в отличном уже настроении продолжал:

— А вот я вставил в свои стихи о Грузии целую песню на грузинском языке — «Мхолот шен эртс»,— и он с особым воодушевлением прочитал свое «Владикавказ — Тифлис».

Поэт вернулся к разговору об открытой им Америке. Его американские впечатления были впоследствии опубликованы в виде блистательных очерков, и я их здесь не стану касаться.

Особое внимание присутствующих обратило на себя заявление поэта, что в нью-йоркских небоскребах его охватила тоска. Певец могучего движения масс, поэт-урбанист говорил о том, что затосковал и загрустил в Нью-Йорке!.. Закончив доклад, он начал читать стихи. Спокойно, уверенно знакомил он собравшуюся аудиторию со своими стихами об Америке. Прочитал «Атлантический океан», «Испанию», «Мелкую философию на глубоких местах», «Блэк энд уайт», «Бродвей», затем

«6 монахинь», «Бруклинский мост»... Он читал так, что его голос как бы освещал, делал предельно ясными каждую черту, каждый образ в прочитанном. Самим своим чтением он как бы освобождал поэзию от внешней живописности, оставляя господство только за искусством слова, собственно слова, произносимого слова. Когда он говорил: «Надо мною птицы, подо мною рыбы, а кругом — вода», то благодаря его голосу это «кругом вода» создавало впечатление океанской безбрежности. Будто гулкость и протяженность его голоса заменяли собой и метафоры и сравнения. Само звучание голоса поэта и его интонации создавали, рисовали, живописали поэтическую картину. Этим он достигал буквально классически ясной изобразительности. Или же когда он говорил: «Налево посмотришь — мамочка-мать! Направо — мать моя мамочка!» — голос его являл такую щедрую и емкую интонационную выразительность, что уже не нужны были дополнительные средства живописания. Само слово, настроенное на тончайший интонационный лад, брало на себя роль и красок и линий... Меня поражало, что в своей лирике Маяковский нигде не опирался на природу, ее образы были почти совершенно исключены из его лирической песни. И я убеждался, что место этой отсутствующей природы как бы занимал он сам. Стихи выражали радость и боль этого человеческого организма, который остро воспринимал и ощущал городской пейзаж, но оставался равнодушным к тайнам природы. В тот вечер, по ходу его, у меня возник ряд вопросов, которые я старался осмыслить. Поэт, вступивший на путь, проложенный Маяковским, должен был бы обладать свойствами его голоса. Может быть, в этом таилась причина того, что этот путь для меня лично оказался неприемлемым. Маяковский меня очень привлекал, он мне по-настоящему нравился, но именно он, а не его подобие, не его последователи и продолжатели (речь идет, разумеется, именно о данной стороне его творчества, а не о более широких идейно-эстетических категориях). Одним словом, я всецело, глубоко и страстно любил Маяковского с его неповторимой поэтической натурой, но повторение или даже продолжение его пути считал для себя невозможным и исключенным. Да и вообще в поэзии хорошо лишь то, что неповторимо и неподражаемо...

На другой день все мы были приглашены к Зданевичам, которые жили теперь в Кирпичном переулке, в отцовской квартире Кирилла. На этой квартире у Кирилла Зданевича была собрана изумительная коллекция картин Нико Пиросманишвили. Стены пятикомнатной квартиры были увешаны шедеврами народного художника. Перед взором зрителя открывался увиденный и переданный художником совершенно новый мир детски чистой, незамутненной и светлой души, доброго, умного и ясного взгляда. Понятно, что каждого из нас интересовало впечатление, произведенное на Маяковского картинами народного грузинского художника. К сожалению, я сам несколько запоздал, и к моему приходу осмотр картин уже был закончен. У Кирилла были кроме Маяковского Василий Катанян с женой, Коля Чачава, Ираклий Гамрекели и Шалва Алхазишвили. Я, как только вошел, спросил Владимира Владимировича о Пиросмани. Он ответил:

— Замечательный художник, прекрасный колорист. Мне он нравится больше Анри Руссо. Руссо по сравнению с Пиросмани сказочнее и отвлеченнее. Автор же этих картин человечнее и народнее, он больше реалист и летописец народной жизни...

Как известно, сам Маяковский был художником, блестящим знатоком живописи и вообще замечательным ценителем изобразительного искусства, и поэтому меня искренне обрадовала такая оценка им картин Пиросманишвили.

За столом гостя попросили прочитать стихи, и он прочитал стихотворение, которое теперь известно под заглавием «Домой!», а тогда называлось «Возвращение на родину». Как читателям известно (из статьи самого Маяковского), стихотворение заканчивалось строфой «Я хочу быть понят моей страной...». Стихотворение всем, разумеется, очень понравилось, но большинство присутствующих говорили автору — мол, эта концовка к нему не подходит, что она звучит скорее по-есенински и т. д. и т. п. Мне кажется, сам автор именно тогда усомнился в обязательности этой строфы. Позднее стихотворение было опубликовано под новым заголовком и без означенной концовки.

Вслед за «Возвращением на родину» Маяковский прочитал несколько блоковских стихотворений и, не-

ожиданно, два стихотворения Анны Ахматовой. Стихи Ахматовой он прочитал с редкой проникновенностью, с трепетным и вдохновенным к ним отношением. Все были удивлены. Один из присутствующих вслух выразил это удивление:

— Вы и Ахматова?

Маяковский чуть помрачнел, но ответил спокойно:

— Надо хорошо знать и тех, с кем не согласен, их нужно изучать.

Я робко заметил:

— Не думал, что ваш бархатный бас так подойдет к изысканным и хрупким строчкам Анны Ахматовой...

Маяковский внимательно посмотрел на меня и деловым тоном ответил:

— Это стихотворение выражает изысканные и хрупкие чувства, но само оно не хрупкое, стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого голоса, не дав трещины.

В его словах и во всем его тоне чувствовалось большое и глубокое знание природы ахматовской поэзии.

В этот вечер Владимир Владимирович казался спокойным и искренне любезным. Он был каким-то домашним, сердце его было любовно открыто друзьям, ему ни с кем не хотелось ни спорить, ни драться. С редкой деликатностью разговаривал он со всеми присутствующими.

Встали мы из-за стола довольно поздно. Когда вышли от Кирилла, на улице было уже прохладно. Шли медленно. Владимир Владимирович напевал про себя все те же грузинские стихи об Арсене и свою любимую строку: «На Кавказе, вероятно, весна». Он был очень доволен вечером, проведенным у Зданевича.

Мы все готовились ко второму его выступлению в театре. Но между двумя литературными вечерами 1926 года произошло два значительных события: Маяковский познакомился со своим переводчиком Паоло Яшвили и его друзьями — Тицианом Табидзе, Валерианом Гаприндашвили и Георгием Леонидзе (это было событием радостным), и, во-вторых, в этот же промежуток в одной из тбилисских газет появилась статья, направленная против поэта, в которой утверждалось, что стихи Маяковского об Америке могли быть написаны и без поездки автора в Новый свет, что они вполне могли

быть сочинены и без заграничного путешествия. В статье походя зачеркивался год напряженной поэтической работы Маяковского.

На второй свой вечер Маяковский пришел страшно разгневанным. Все наши друзья были в зале. В директорской ложе сидели Тициан Табидзе, Нина Макашвили, Паоло с женой, Валериан Гаприндашвили и Георгий Леонидзе. Занавес поднялся. Маяковский вышел на сцену и сразу же заговорил о газетной статье, напечатанной накануне. Начался беспощадный разбор глупой и поверхностной рецензии, были жестоко высмеяны авгуры всех мастей и буквально высечен скрывающийся за псевдонимом неизвестный полемист. Общеизвестно, что Маяковский был наделен незаурядным полемическим талантом. Он заявил, что рецензента может высечь так, чтобы сквозь брюки его кое-что просвечивало. Эти слова были встречены взрывом аплодисментов. Грузинская общественность демонстрировала свою единодушную поддержку поэту, она открыто радовалась и его словам, и его тону... Затем на сцену поднялся Паоло Яшвили и заявил, что оценку, данную рецензентом, следует считать сугубо личным мнением автора, никак и ни в какой степени не отражающим взгляда грузинских поэтов и грузинской общественности в целом. «Грузинские поэты,— заявил Паоло Яшвили,— считают Владимира Маяковского величайшим поэтом революции, Октября, рупором и самим голосом Октябрьской революции, а его поэзию — блистательнейшим явлением всей советской культуры».

Когда Паоло произносил речь, Маяковский стоял поодаль и внимательно его слушал. Когда же оратор закончил свое приветствие от имени поэтов Грузии, Маяковский воскликнул: «Похоже на правду!» И в зале вновь разразились бурные аплодисменты и смех. Затем Паоло прочитал свои переводы «Левого марша» и «Необычайного приключения...» и вернулся в ложу. Гость в знак благодарности пожал ему руку и затем продолжал чтение своих стихов.

Вечер окончился. Паоло сказал мне, что ужин обеспечен в ресторане «Симпати». Он с женой и я направились туда на извозчике. За столом уже сидели Маяковский, Тициан Табидзе, Нина Макашвили, Георгий Леонидзе, Валериан Гаприндашвили, Николай Шенгелая,



В. В. Маяковский. *1925 г.*

О. В. Маяковская. *1931 г.*





В. В. Маяковский. ***1925 г.***

Николай Чачава, Платон Кешелава. Но стол еще не был накрыт, и в ожидании этого Маяковский, Паоло и я уселись отдельно и беседовали.

Нас подозвали к столу, и разговор влился в общее русло. Тамадой был избран Паоло Яшвили. Он провозглашал тосты за каждого в отдельности. Первый тост был посвящен Маяковскому. Звучали за столом нередко и стихи. Маяковский и здесь прочитал «Возвращение на родину», Паоло свое «Тбилиси», я — «Под дождем». «Возвращение на родину» всем очень понравилось. Тициан воскликнул, что это даже лучше его американских шедевров, что эти стихи просто несравненны...

Когда я закончил читать свое, Маяковский в знак одобрения поднял руку и помахал мне. Затем слово взял Валериан Гаприндашвили и вновь провозгласил тост за нашего гостя. Содержание его речи сводилось примерно к тому, что Маяковский большой художник слова, что его поэтический размах поистине удивителен, что еще в «Облаке в штанах» грандиозные образы этой поэмы напоминали по своей мощи поэзию Бодлера...

Но тут Маяковский прервал Валериана восклицанием:

— Товарищи, что вы ухватились за этих французов? Неужели мы не сможем обойтись без декадентов? Одно народное грузинское стихотворение доставило бы мне в тысячу раз больше удовольствия!

Валериан Гаприндашвили был очень недоволен репликой, но потом включился в разговор о грузинском фольклоре. Всех удивило такое пристрастие Маяковского к грузинской народной поэзии. А он с упоением повторял веселые шаири, все ту же песню об Арсене Джорджиашвили, шутил, веселился, внес радостное оживление в нашу трапезу. Ее потом перенесли из «Симпати» в Ортачала.

Но было уже довольно поздно. Все очень устали. Чтобы размяться, Леонидзе и Маяковский решили побороться. Но все-таки все скоро заскучали. Замолкла и шарманка. Приближался рассвет. Уже в преддверии утренней зари Паоло поймал на дороге извозчика, усадил женщин и Тициана и умчал. Остались Маяковский, Валериан и я. Некоторое время мы еще балагурили, но вскоре на холмах забрезжил рассвет. Двинулись по мокрой после дождя дороге, как три пилигрима, уста-

лых и изнуренных длительным путешествием. Вступили в город, достигли конечной остановки трамвая и сладко заснули в совершенно пустом вагоне, несмотря на его адский грохот.

Назавтра мы были приглашены на обед к Паоло. Не вспомню, почему я не смог туда пойти. Маяковский оставался в Тбилиси до 2 марта, и мы встречались ежедневно.

Мы говорили главным образом о стихах и уйму времени отдавали доскональной оценке творчества того или иного поэта. Поэзия была не просто любимой темой Маяковского,— он глубоко был убежден в ее великом народном и государственном значении. От его взора не ускользало буквально ничего из того, что появлялось в советской литературе. Он знал наизусть огромное количество стихов своих современников. Он был совершенно искренен, когда признавался в одном из своих стихотворений: «А мне в действительности единственное надо, чтоб больше поэтов, хороших и разных». И действительно, никто, как он, не умел найти в чужих стихах хоть одну запрятанную в них хорошую строчку. Маяковский не любил оставаться один. Кажется, он всегда избегал одиночества, даже в минуты творческого вдохновения и напряженной внутренней работы. Он мог писать стихи в присутствии товарищей, и их разговор или даже шум не мешали ему работать. Я с восторгом смотрел на него, как на поэта совершенно нового типа. Мои собственные представления о поэте были иными, но именно тем и нравился мне он, что совершенно не соответствовал этим моим представлениям...

Наступил час отъезда Владимира Маяковского в Москву. Провожать его собрались многие его тбилисские друзья и почитатели. Среди них были и мы — Николай Шенгелая, Александра Тоидзе, Жанго Гогоберидзе, Николай Чачава, я. Были на вокзале и другие писатели. Маяковский был как будто бы грустен, угрюм, но потом оживился, начал шутить с женщинами. Поднимаясь в вагон, он сказал: «Этих красавиц я поручаю Симону и Жанго». Провожающие весело зашумели. Под наши выкрики и дружные хлопки поезд тронулся, и стоявший на лесенке Владимир Маяковский постепенно скрылся из наших глаз.

III

Спустя полтора года, а именно 7 или 8 декабря 1927 года, на улицах Тбилиси вновь появились афиши, возвещающие о приезде Владимира Маяковского. На этот раз тема его доклада была выражена ироническим лозунгом: «Даешь изящную жизнь!» Доклад сопровождался чтением стихов. Потом он читал посвященную десятилетию Октября новую поэму «Хорошо!».

Как известно, задолго до этого в Европе с докладом под таким заголовком выступал известный английский поэт и прозаик Оскар Уайльд. Маяковский повторил название его выступления. Это был полемический прием, ибо поэт Октября проповедовал совершенно иное учение, строящее новый мир, и утверждал иную эстетическую программу, призванную действенно способствовать изменению и переделке мира.

Мне уже были известны некоторые отрывки из Октябрьской поэмы, но не терпелось услышать ее в авторском чтении. 9 декабря, в двенадцать часов дня, я спустился со своей Мтацминды на проспект Руставели. И вновь повторилось то же: кто-то мне сообщил по дороге, что приехал Маяковский и спрашивал обо мне. И на этот раз я поспешил к Опере и увидел Маяковского чуть ли не на том же самом месте. Теперь я первый поднял приветственно руку. Он заметил и догадался, что это приветствуют его. На нем была зимняя шуба, и издали он мне показался еще более высоким и представительным. Подойдя ближе, я заметил, что он несколько пополнел, и сразу сказал ему об этом.

— Приближается старость,— ответил он,— я уже сдаю, говорил же я тогда, что молодость уходит. Все меняется... Этим летом я видел в Париже нашего Жанго — он там учится... А вот Коля Шенгелая стал известным кинорежиссером... Нас мало осталось, верных поэзии... Молодые избегают тяжелого труда... А Тифлис очень изменился, похорошел, магазины полны товаров. Сейчас я иду в сторону Муштаида, к родственникам... Проводи меня немного... Мать наказала обязательно их повидать...

Все это он выговорил с веселой грустинкой. Я проводил его до Плехановского.

— В Тифлисе много говорят о Коле Шенгелая и Нато

Вачнадзе, правда ли это? Давай их разыщем. И завтра пообедаем вместе. Сообщи им, что я здесь...

Затем он спросил:

— Как ты думаешь, будет ли публика на моих вечерах?

Я опять его заверил, что будут толпы. Он засмеялся:

— Твои пророчества что-то не сбываются.— И ушел.

На следующий день Владимир Маяковский, Нато Вачнадзе, Николай Шенгелая, Владимир Мачавариани и я — старая компания в несколько ином составе — спустились в подвал к Аветику. Аветик, как обычно, засуетился, завел нас в лучшую комнатку напротив прилавка, пригласил рассаживаться. В этой комнате был накрыт еще один стол, за которым молча обедали какие-то мужчины. По-видимому, вначале они не узнали ни Маяковского, ни Нато, ни Колю Шенгелая... Аветик убрал наш стол на славу. Потекла беседа, тосты. Тамадой была избрана Нато.

Наши соседи вскоре захмелели и решили поиздеваться над мужчинами нашего стола. Сначала вспылил Коля и начал грозиться, что отлупит каждого в отдельности. Но мы его удержали. Зато Владимир Владимирович буквально укладывал их замертво своими острыми ответами. Они стали догадываться, с кем имеют дело, сразу сложили оружие и, извинившись, оставили поле боя. Мы с облегчением вздохнули и успокоились. Вновь возник разговор о поэзии. Маяковский сказал: «Поэма «Хорошо!» — новая ступень в моей работе», и прочитал несколько великолепных отрывков. Тамада повторила тост за поэзию Маяковского. А Владимиру Владимировичу явно нравилось ее руководство за столом. Он откровенно высказался:

— Я, оказывается, ничего на свете не знал, думал, что Нато Вачнадзе красивая артистка, и только, а вот какой она друг и товарищ! Какой замечательный человек! И как она знает поэзию!

Вечер Маяковского в этот день был назначен на восемь часов в театре Руставели. Он уже начал волноваться, а я, несколько захмелев, продолжал повторять свои обычные заверения о толпах молодежи, которые заполнят зал. Он же по-прежнему подшучивал над моим пророческим даром. Все тосты были уже произ-

несены, но Нато объявила, что у нее остался еще один. И она начала говорить о молодости, о юности, которая включает и молодость души, о юности, которую нужно беречь и лелеять, чтобы души не коснулась старость. И пошла, и пошла, дав волю своему настоящему красноречию. Все мы увлеченно ее слушали, но когда тост был завершен, Маяковский обратился к ней весело:

— Ваш тост прекрасен, Наталья Георгиевна, но по этому вопросу поэт высказался коротко и ясно.

И он прочитал конец своего «Хорошо!»: «Лет до ста расти нам без старости...» А потом сказал уже мне:

— Стихи потому и пишутся, чтобы выразить мысль коротко и ясно, тут достигается и экономия времени.

Я ему ответил, что Руставели придерживался именно такого взгляда на поэзию. На этом мы закончили и поспешили в театр. Подходя, мы увидели буквально море народа у входа, и зал был набит битком. Маяковского это очень обрадовало, и он сразу же направился к сцене. Мне припас место рядом с собой Леван Асатиани. Публика волновалась, зал шумел, со всех сторон доносились строчки Маяковского. Среди этого гула и шума на сцене вырос Маяковский, и сразу же грянули аплодисменты, а затем наступила гробовая тишина.

— Столько народа на моем вечере,— начал Владимир Владимирович,— это победа поэзии. Я слуга и пропагандист этого древнейшего искусства. Ныне поэзия в упадке и не в почете, но моя цель вернуть ей былую честь и славу и посредством искусства слова славить мое молодое отечество... Только что мне стало известно, что скончался известный русский поэт и прозаик — Федор Сологуб. Наше поколение прошло сквозь великие бури, и мы легко миримся с такими потерями. А Федор Сологуб был большим мастером, и после гениальных романов Достоевского в русской литературе не много было произведений, равных его «Мелкому бесу». Я помню, в дни Октябрьской революции Сологуб выступил с предложением перенести бои за черту города, чтобы уберечь город от разрушений, а в город предполагалось вернуться победителям. Сологуб наивно представлял себе революцию как однодневный поединок, тогда как революция продолжается и сейчас. Переделать жизнь заново, перестроить наш быт — вот в чем

теперь наша задача. Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать...

И так далее, подкрепляя свои мысли своими же строками, комментируя свои строчки новыми остроумными размышлениями вслух... С удивлением выслушал я брошенную мимоходом, но все же высочайшую оценку Достоевского. Удивило меня и его отношение к Сологубу, к сологубовскому «Мелкому бесу». Тридцать лет спустя один из друзей юности Маяковского доказывал мне, что тот в ранние годы испытывал сильное влияние Достоевского, и это мне показалось убедительным, но в ту давнюю пору я не мог этого понять. Я мог лишь удивляться и, следя за ходом его мыслей, чувствовать, что не все в них до конца доступно моему пониманию. Нет. Он не был ни Ставрогиным, ни Дмитрием Карамазовым. Он воспевал молодость мира и весну человечества! В «Хорошо!» он выразил новое понимание отечества, «рожденного в трудах и в бою», он провозгласил особую любовь к земле, «которую завоевал и полуживую вынянчил». Он славил свою республику, как истинную «весну человечества».

Вслед за отрывками из «Хорошо!» Маяковский захотел прочитать свой знаменитый и испытанный «Левый марш». И когда вместо слов «товарищ маузер» он произнес «aмханаго маузер», в зале возникла овация.

Вспоминаю еще ряд интересных деталей этого вечера. Зал был полон, и когда вошли несколько запоздавшие Нато Вачнадзе и Коля Шенгелая и не могли найти себе места, Маяковский прервал выступление, пристально всмотрелся в них и наконец сказал:

— Чего вы стоите, подойдите ближе, не стесняйтесь! Вот я вас здесь и обвенчаю всенародно!

Зал засмеялся, а Вачнадзе и Шенгелая заняли свои места в первых рядах.

Маяковский на своих вечерах получал огромное количество записок, прочитывал их вслух и, как известно, отвечал на них чрезвычайно остроумно. Обилие и однотипность ряда записок иногда даже вынуждали его повторять ответы. Мой друг Леван Асатиани задал ему письменно вопрос: «Как вы себя чувствуете в русской литературе?» Маяковский зачитал записку и очень спокойно ответил: «Ничего, не жмет». Зал от души рассмеялся. «Разве вы не ученик Хлебникова?» — спраши-

вал кто-то. «Да, не плохо иметь хороших учителей»,— последовал ответ. И так далее. Успех был поразительный. Гремели рукоплескания.

Вернусь к предшествующим дням. Однажды я прохаживался с Маяковским по проспекту Руставели. Все мое внимание, естественно, было приковано к моему спутнику. Когда мы проходили мимо здания Оперного театра, я почему-то вспомнил слова одного грузинского поэта о том, что у Маяковского прекрасный слух и что в этом отношении никто из современных поэтов не может с ним сравниться. Я сказал об этом Маяковскому.

— Музыкальный слух? — переспросил он и продолжал шутливым тоном: — Обладай я особым музыкальным слухом, из меня бы вышел певец не хуже Шаляпина, голос у меня подходящий, а мастерство — дело наживное...

После этих слов Маяковский добавил уже серьезно:

— Слух у меня и должен быть неплохим, слух к нашей действительности. Без этого не может быть хорошего поэта.

Позже, в зрелые годы, я не раз вспоминал эти слова и задумывался над тем, что такое поэтический голос и поэтический слух Маяковского. У Маяковского был бархатный, полный обаяния бас, прекрасная, богатая интонациями дикция. Недаром Маяковский утверждал, что поэт должен уметь не только писать хорошие стихи, но и хорошо читать написанное.

Но не об этом голосе я говорю. Для меня сам Маяковский, его творчество — поэтический голос революции и народа.

В отношении нашей действительности он обладал безошибочно острым слухом. К звучанию советской жизни он прислушивался, как говорят в Грузии, слухом сердца, и тут уж от него ничего не ускользало.

Это время гудит
телеграфной струной,
это сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Жизнь народа проникала в глубину души поэта, и поэзия Маяковского вторгалась во все сферы жизни, принимала непосредственное участие в созидании новой действительности.

Я сказал бы, что Маяковский возвратил поэзии гражданственность, завоеванную в прошлом Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым. Маяковский сумел возвысить значение поэзии в общественной жизни до государственной высоты и вместе с тем произвел подлинную демократизацию прав и обязанностей поэзии. Чтобы расширить общественные функции стиха, Маяковский проделал огромную поэтическую работу. Он вернул поэтической фразе классическую точность и лапидарность. Его поэтическое искусство основано на удивительном богатстве интонаций. Этим он намного усилил выразительность стиха и придал ему новый блеск.

Маяковский выработал классическую форму революционной поэзии. Ее изучением не может не заниматься ни один поэт, для которого дорога тема революции.

Воздействие поэтического слова Маяковского испытывают, конечно, не только советские русские поэты, но и поэты всех братских народов нашей страны, а также зарубежных стран. Воздействие Маяковского касается самого существа поэзии, ее духа, ее цели, и потому оно распространяется не только на поэтов, близких по своим поэтическим принципам к творчеству Маяковского, но и на поэтов, работающих в иной манере.

Поэзия Маяковского находится в нашем строю, в рядах борцов за торжество и расцвет весны человечества.

Георгий Леонидзе

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

...Я помню Маяковского с большой палкой в руке, он мнет взмахами шагов версты улиц, иногда чуть слышно бормочет стихи. И другой образ: Маяковский на эстраде. Лучший из всех когда-либо слышанных мною чтецов. Властный, покоряющий голос. Несравненное остроумие. Когда нас познакомили, я ожидал встретить резкого в обращении человека, но был приятно удивлен его скромностью, добродушием и какой-то большой человеческой мягкостью, которая звучала в его голосе, присутствовала в каждом его жесте. И для меня приобрели особый смысл стихи поэта, в которых говорится о бешенстве страсти и безукоризненной нежности, сочетающихся в одном большом человеческом образе...

Я встретился с Маяковским в пору, когда мои еще не окрепшие и во многом противоречивые взгляды на искусство мешали мне полностью оценить его подлинное значение. Но, односторонне и порою пристрастно относясь к его работе, я, как поэт, не мог не почувствовать мощи его поэтического голоса. Стих Маяковского пробивал кору предрассудков и предубеждения, разрушал сложившиеся представления о поэзии. Он пробуждал предчувствие небывалой новизны, новизны, от которой захватывало дух.

Мое личное знакомство с Маяковским произошло в 1927 году, в его последний приезд. Я помню его выступления в театре Руставели, в университете и в Центральном рабочем клубе. Читал он поэму «Хорошо!», «Левый марш» и многие другие стихотворения. Он заговорил

со мной по-грузински с «кутаисским акцентом», пожаловался, что на улицах Тбилиси услышал исковерканную грузинскую речь, мешанину из грузинских и русских слов. Он повторил мне запомнившуюся фразу: «Слесарс колесо цавуге гасакраскавадо» («Слесарю колесо отнес для окраски») — и добавил, что именно мы, грузинские поэты, должны в первую очередь бороться за чистоту языка. Говорил о грузинском поэте-революционере Иродионе Евдошвили и при мне процитировал на грузинском языке его стихотворение — грузинскую марсельезу, которую он сам пел в Кутаиси еще в 1905 году.

Следующая наша встреча произошла за городом, в Крцанисских садах, где все мы — грузинские поэты — собрались веселой компанией. Маяковский почти не пил, больше наблюдал, много и оживленно разговаривал, читал наизусть строфы Евдошвили. Вспомнил детство, Кутаиси, селение Багдади...

В этот же вечер, а может быть и позже, пришлось мне говорить с Маяковским о Есенине. Если в отношении Есенина к Маяковскому была какая-то нервозность, иногда очень даже похожая на зависть, то Маяковский относился к Есенину более спокойно, как бы снисходительно. Даже полемизируя с ним, он щадил этого большого и больного поэта.

Маяковский говорил о лиризме Есенина, об изумительном чувстве природы, которое ему присуще, и в голосе его почудились мне новые нотки... Теперь, перечитывая стихотворение Маяковского «Тамара и Демон», я вспоминаю об этом нашем разговоре.

Встречи мои с Маяковским были мимолетны, но поэзия Маяковского все чаще и чаще напоминала о себе, хотя в своем творчестве я еще долго оставался далеким от нее.

Вспоминая Маяковского и Есенина, я должен сказать, что Грузия воздействовала на них куда сильнее, чем это непосредственно сказалось в их творчестве. Первый не успел воспеть небеса Грузии, о чем он с такой болью в душе писал, и второму тоже не довелось пройти «грузинские кремнистые дороги». Я хорошо помню, как Есенин на квартире Тициана Табидзе возбужденно говорил нам о том, какую новую силу, новое движение в душе своей ощутил он в Грузии, о том, что

он уже наметил план цикла стихов о Грузии. Это было почти накануне его смерти, в последний приезд Есенина в Тбилиси.

Но то, что не успели сделать Маяковский и Есенин, осуществил мой друг и друг моего народа Николай Тихонов в «Грузинской весне» и в «Стихах о Кахетии». Тихонов исколесил и поэтически освоил почти все уголки Грузии. Закаленный в странствиях, он с великой жаждой любознательности путешествовал по Грузии как «крестоносец любви».

Владимиру Маяковскому я посвятил стихотворение:

Ты идешь.
На лоб упали пряди.
Сердцем весел и широк в шагу.
Перед небом голубым Багдади,
Перед краем милым
ты в долгу.
Здесь когда-то ты открыл впервые
Солнцем озаренные глаза.
Над тобой простерлись голубые,
Чистотой блистая, небеса.
Здесь, в саду, ты средь чинар
в прохладе
В детстве спал под ласковый напев...
Ты навек ушел,
воспеть Багдади
Громкими стихами не успев.
Стих твой ослепительный любя,
Полная кипения и силы —
Вечно будет юность за тебя!
Здесь ты жил,
и здесь ты пил с ладони
Родниковой холодок струи,
Здесь играл ты на зеленом склоне,
Здесь живут ровесники твои.
Ты окреп в Багдади,
вырастая,
Вольный и могучий, как дзельква [1].
Ты уехал из родного края —
Родиною сделалась Москва.
Холодком в те молодые годы
Жег тебя Риони голубой.
В Грузии под знаменем свободы
В первый раз ты потянулся в бой.
Не мечтатель с розой —
агитатор!
Пламенный,
ты силу знал свою!

[1] *Дзельква* — род деревьев.

Не вздыхатель бледный —
гладиатор,
Шел ты в бой —
и побеждал в бою.
Человек внушительного роста,
Ты,
от мира счастья не тая,
Говорил решительно и просто:
— Это революция моя! —
Ты гремел, воинственный и строгий:
— Хватит щебетанья!
Для страны
Не сонетов сладенькие строки —
Лозунги победные нужны.—
Вот Багдади, старый твой Багдади.
Здесь когда-то средь садов густых
В синей ученической тетради
Был записан первый детский стих.
Шум дзельквы, далекий крик оленя,
Ханисцхали плещет шумный вал,
Голосом твоим из отдаленья
Мне гудит Зекарский перевал.
Вот Багдади, старый твой Багдади.
С той поры прошло немало лет...
Счастья ради и свободы ради
Должен стих выковывать поэт.
Насмерть бьет твое взрывное слово,
Грома полон стих победный твой.
Все мы ждем, что вдруг раздастся снова
В стихшем зале голос твой живой.
Ты ведь жив сейчас!
Ведь ты направил
На врага свой раскаленный стих,
Там, за океаном, желтый дьявол
В страхе жмется от стихов твоих.
Ты в Москве, и ты в Багдади — дома,
Полководец беспощадных слов,
Побратим играющего грома,
Мастер атакующих стихов.
Нет, ты не в долгу перед Багдади!
С отрочества след остался твой
В каждой сельской травке, в каждой пяди
Солнечной багдадской мостовой.
Небеса в Багдади сини-сини,
Солнце в нем по-южному светло.
О своем необычайном сыне
Не забудет горное село.

(Перевел Е. Винокуров)

Николай Тихонов

ЩЕДРЫЙ ТАЛАНТ

В жизни я видел его сравнительно мало. Всего несколько раз беседовал с ним, слушал, как он читает стихи и публично, и в тесном кругу, и всегда уходил до новой скорой встречи, а новой скорой встречи не выходило, не получалось.

У меня была упорная какая-то мысль, что за него беспокоиться никогда не надо, что он сам знает все лучше всех, что ему не грозит никакая в жизни опасность, что он будет жить дольше нас всех, что природа недаром трудилась создать такой могучий организм, что видеть его и слушать всегда праздник, потому что он дышит такой силой творчества, так неиссякаемо жизнерадостен.

С другой стороны, иногда замечал я странное несоответствие между этой солнечной энергией, излучаемой им на окружающих, и его собственным угнетенным состоянием, прорывавшимся сквозь шутку и смех.

Он не любил сидеть на месте. Он был великий странник, он все время кочевал по стране, он признавался даже, что «бреется километрами» в поезде, переносясь из конца в конец по большой нашей Родине, или пересекая Европу, или переплывая моря и океаны.

Эти поездки и путешествия, массы новых людей, приветствовавших его, смена пейзажей, особенно городских,— он был любитель города,— постоянные новые встречи, тысячи записок и посещений — все это радовало его, все являлось новым стимулом для новых стихов. Он вернулся из Америки и выступал в филармонии

с рассказом о путешествии, читал стихи, шутил и острил, как всегда, переговаривался с залом, был необычайно остроумен. Потом был объявлен перерыв.

В перерыве я хотел пойти к нему за сцену, но подумал, что там вокруг него столпилось столько людей, что даже мало-мальски не удастся поговорить, и я решил не идти. Но через несколько минут я сказал себе, что это глупости: как бы много там ни столпилось народу, я смогу посмотреть на него поближе и поговорить о его американских стихах.

Я пошел за сцену. Каково же было мое изумление, когда я увидел одинокого человека, шагавшего, заложив руки за спину, по длинному темному пространству за сценой. В полном одиночестве Маяковский ходил взад и вперед, и когда я пожал ему руку, она была влажной. Он имел вид страшно усталого человека. Он был просто мрачен, и, когда после вечера мы сидели в гостинице, эта мрачность не покидала его.

Таким мрачным я встретил его однажды и в Москве на улице и провожал до дому. Тогда показалось мне, что он одинок в личной жизни гораздо более, чем это кажется с первого взгляда.

Однажды я попал к нему на квартиру. Он ходил по комнате, как по номеру гостиницы, как случайный заезжий, который через несколько дней съедет и поедет дальше.

Но снова он читал стихи, полные веры в жизнь, стихи, которые стали как бы новым, добавочным явлением в природе нашей обновленной страны, снова его голос первого поэта звучал со страниц газет, журналов, брошюр, сборников, и всякое сомнение в том, что может случиться что-нибудь неожиданное с Маяковским, никак не укладывалось в голове.

Его стих хорошо расходился по стране, и я помню, как в один туманный и холодный вечер в горах Кавказа, укладываясь спать в маленькой походной палатке на склоне горы, я слышал, как в соседней такой же палатке шумели альпинисты, издевавшиеся над погодой, над тем, что срывается восхождение, и один голос плаксиво сказал: «К черту этот туман — хочу солнца».

И другой голос весело ответил: «Я тебе сейчас дам солнце» — и начал читать наизусть:

Если
Гавану
окинуть мигом —
рай-страна,
страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.

И пошел и пошел наизусть. В палатке все замолчали и с удовольствием слушали. Когда читавший запнулся, все закричали: «Ну, дальше!» — и он, опять вспомнив, читал:

Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.
Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный.

Храбрая, мужественная молодежь, покорявшая горные вершины, со стихами Маяковского шагала по стране, и мы все знали, что нет такого явления в нашей жизни, на которое не откликнулся бы этот богатый и щедрый талант.

В 1930 году весной целая писательская бригада странствовала по Туркмении. Ожившая пустыня была восхитительна. Воздух, пронизанный ароматом джидды — острым, пряным и глубоким, опьянял. Красные маки и тюльпаны реками текли в песках. Налетели птицы, и немолчный крик их стоял над запрудами оазисов. Какие-то зеленовато-фисташковые дали открывались с холмов, с которых только что сошел снег.

Мы с Володей Луговским отстали от бригады и возвращались вечером усталые, но довольные в гостеприимные домики маленького городка, шумевшего весенними пахучими деревьями.

Ночи были темные, душистые, теплые. Нас позвал к себе один зоотехник. Мы шли со смехом через темные

дворы, аллеи, прыгали через журчащие арыки. Зоотехник жил просто. Рассказывал разные разности про страну и свою интересную работу. Его жена, женщина простая и хозяйственная, расспрашивала про Москву. Все было мирно, и беседа, как говорят, затянулась за полночь. Тогда напоследок мы спросили московских газет. Что нового в Москве?

— А газеты я как раз отдала соседям,— сказала хозяйка.— А там ничего особенного нет. Я их сейчас принесу.— И она пошла к двери. У двери остановилась и сказала: — Да, вспомнила: Маяковский, есть такой писатель, умер...

Мы чуть не упали с табуретов. Она взглянула на наши изменившиеся, мгновенно побледневшие лица и взволнованно сказала:

— Знала бы, что вы так расстроитесь, не говорила бы. Я сейчас достану газеты.

Она принесла газеты. Мы сидели потрясенные. Газеты сообщали о дне похорон и отклики. И эти газеты уже устарели. Тогда в этот городок газета из Москвы приходила на седьмой день.

Потом мы узнали все...

Проходили годы. Голоса национальных поэтов вступили в общий хор певцов Советского Союза, и с новой силой звучали песни нашей эпохи, и мы все дивились новому разнообразию красок в нашей советской поэзии.

В прохладный дагестанский вечер, сидя в роще у старого аула, мы беседовали с народным лезгинским ашугом Сулейманом Стальским.

Потом мы возвращались через длинный новый каменный мост. Светила луна, большая бурная река шумела под мостом, а в ушах еще жили песни, пропетые прославленным ашугом, и мы говорили о певцах, вышедших из народных масс, воспевших новую жизнь, нового, свободного человека.

Говорили о русских поэтах. И один молодой горец сказал с нежностью, меня поразившей:

— Вы тоже имеете замечательного ашуга...

— Кого? — спросил я удивленно, потому что как-то

еще не мог перенести это восточное определение певца на русский лад.

Горец продолжал:

— У нас есть славный ашуг революции — Владимир Маяковский.

И в темноте улыбкой блеснули белые зубы нашего кунака.

И тогда я понял, что то, что мы считали только своим, русским, уже стало достоянием всех народов, наших братьев, что по всему необъятному Союзу имя Маяковского произносится как имя поэта, всем близкого и любимого.

При всем многообразии своей работы обо всем все-таки не успел написать Маяковский. Он и сам это знал.

Я
 в долгу
  перед бродвейской лампионией,
перед вами,
  багдадские небеса,
перед Красной Армией,
  перед вишнями Японии,—
перед всем,
  про что
   не успел написать.

Как бы он был нужен сейчас, когда эпос эпохи рождается на глазах, когда герои совершают свои подвиги почти ежедневно, когда великие дела наши звучат по всему миру, когда петь славу этим делам нужно таким громовым и торжественным голосом, каким владел Маяковский!

И какой радостью светятся лица людей, когда в день славной годовщины Красной Армии во фронтовой газете ищут стиховую шапку для страниц о подвигах героев и находят эти строки у Маяковского!

И через всю газету идут бессмертные строки бессмертного поэта:

Крепни
 и славься
в битвах веков,
Красная
 Армия
большевиков!

Он сам был воином этой непобедимой армии, и смерть его мы ощутили как смерть бойца на поле битвы. Но имя его и его поэтический подвиг навсегда останутся в новых поколениях на освобожденной земле под тем славным красным знаменем, под которым всю жизнь победоносно боролся Владимир Маяковский.

Павло Тычина

ГОЛОС ТРИБУНА

Чем значительнее, чем глубже художник, тем сильнее у него желание говорить с народом откровенно. Эта откровенность, как правило, обнаруживается в форме дневника или же «исповеди». Причем в эпохи, которые клокочут народными восстаниями, в эпохи нарастающих революций традиционная спокойная форма «исповеди» сменяется формой взрывчатой, дерзкой, антитрадиционной, а то и вовсе она дробится, осколками разлетается вокруг во всех своих — до малейшего! — произведениях. Форму взрывчатую и в некотором роде зашифрованную форму «исповеди» мы встречаем у Александра Радищева, который острым лезвием своего правдивого слова полоснул по царям и дворянам еще в конце XVIII века. В своем «Путешествии из Петербурга в Москву», а также в оде «Вольность» он, говоря о народе, в то же самое время говорил и о себе, как о провозвестнике «блестящего дня» свободы.

Дерзкой формой «исповеди» в начале XX века неожиданно для многих заговорил Владимир Маяковский. И это была страшная неожиданность, страшная для банкиров, царей и попов, страшная для обанкротившихся главарей загнивающей Европы.

Я не об автобиографичности произведений говорю здесь, нет, а прежде всего о крайней потребности художника быть всегда готовым к отчету перед народом. И поэтому не случайно я сопоставил Маяковского с Радищевым — у них действительно очень много общего: и эта вечная сосредоточенность и зоркость пророка;

и эта привычка всегда идти по прямым жизненным дорогам, по магистралям истории; и эта способность прозревать будущее сквозь туман столетий; и этот слух — тонкий до такой степени, что он четко улавливает шаги грядущего (у Радищева: «Грядет зиждитель», у Маяковского: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год»); и, наконец, этот голос трибуна, который звучит особенно высоко, когда он должен быть услышан народными массами. Последнее в данном случае больше всего меня интересует.

Я видел Маяковского три-четыре раза в жизни. Первый раз я помню его, когда он шел по саду в Алупке летней ранью. Море ждало его! Но Маяковский, шагая к морю, не переставал внимательно наблюдать людей (одни опережали его, другие шли ему навстречу). И я, судя по дружелюбным поворотам головы его, по размахиванию полотенцем, ясно видел: чего-то не хватает Владимиру Владимировичу. Достаточно было бы окликнуть его по имени, и «тринадцатый апостол» современности охотно бы остановился, заговорил. Море голов привык он видеть вокруг себя, постоянно быть на людях, сливаться с массами. А курортником чувствовать себя Маяковскому было, наверно, слишком уж скучно.

Второй раз я видел Маяковского в Харькове, в театре, на его вечере. И меня тогда поразила титаническая способность мыслить без специальной тишины кабинетной, мыслить на глазах у всех. Творческая откровенность его была поистине поразительной. Она покоилась на двух началах: на знании того, какие именно струны прежде всего надо задевать в душе народа, на понимании того, какое звучание стиха будет усвоено слушателями всего быстрее.

Композитора Генделя некогда упрекали в том, что он, видите ли, не захотел услаждать слух людей тихими и сладкими напевами, а избрал «новый сорт музыки» — с громом, с шумом. Вот так же и Маяковский призвание свое видел не в том, чтобы услаждать слух людей, отвлекать их от шумов жизни, а в том, чтобы как можно быстрее разбудить массы для восприятия грядущего, которое на глазах поэта (речь идет о периоде «Войны и мира») безостановочно росло и приближалось. А разбудить людей можно было, действительно, только лишь посредством новой музыки — с громом и шумом.

Возвращаясь к харьковскому выступлению Маяковского, я хочу сказать, что это выступление, несмотря на свои громоподобные формы, было сердечным, полным лиризма и доходчивым. И я воспринял его как пламенную исповедь поэта.

В третий раз Маяковского видел я в Москве, в 1929 году. Тогда выезжала в Москву многочисленная (человек в пятьдесят) делегация писателей и актеров Украины. На одной из встреч украинских писателей с писателями русскими нас с ним и познакомили. Не беру на себя смелости на основании короткой моей встречи с ним, на основании единственной беседы делать свою собственную характеристику Маяковского. Отмечу лишь, что он ни в коей мере не показался мне колючим или еще каким-либо, ни, тем более, заносчивым или же недоступным. Напротив, он оказался очень обаятельным и даже нежным. Но эта обаятельность и нежность были подвластны тому главному в душе поэта, что мы называем целеустремленностью и цельностью. Ведь мозг его, как и сам поэт заявлял, «веселый и разумный строитель».

На писательской встрече не обошлось, разумеется, без нападок на Маяковского. Я говорю «разумеется» потому, что нападки на него были тогда в моде. Владимир Владимирович искоса, через плечо, спокойно слушал одного из русских писателей, который в чем-то его обвинял, и, когда тот закончил, он попросил слова и начал ответную речь. Это была глубокая и благородная речь. Может, Маяковский что-нибудь сказал о себе? Нет. Он говорил о том, как он рад видеть и приветствовать в Москве украинскую литературу. Может, Маяковский начал, в свою очередь, нападать на того, кто только что обвинял его? Нет. Он говорил о том, что неплохо было бы еще теснее установить связь между писателями украинскими и писателями русскими. Недолго он говорил, но страстно и убедительно. И закончил он свое выступление такими вот словами, которые я запомнил в точности: «Для антологии украинской поэзии я обязуюсь в этом году перевести из украинских поэтов десять листов, и никак не меньше!..» У многих из нас, украинских поэтов, тогда радостно забилось сердце. У меня оно просто затрепетало от восторга. Потому что я любил и люблю Маяковского больше, нежели котели

это показать некоторые поверхностные критики наши.

В заключение хочу подчеркнуть — меня волнует Маяковский сегодня еще и потому, что именно он сказал в «Войне и мире» о старой Западной Украине:

Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободранным боком.

Да, именно ободранным боком. В. И. Ленин в своей статье «О мире без аннексий...», напечатанной в 1916 году, ясно сказал: «Царизм, опираясь на помещиков и буржуазию, повел войска грабить и порабощать Галицию...» Царизм, а после царизма австрийский цесарь, после Австрии польская шляхта — вот кто обдирал бока у несчастной Галиции. (Кстати, пятая строка в приведенном мною отрывке стиха как по звучанию своему, так и отдельными словами очень близка к украинскому языку, которым так интересовался Маяковский.) Не раз восставала Западная Украина против тиранов, не раз кровавым потом умывалась, пока не пришел на помощь Союз Советских Социалистических Республик и его Красная Армия. «Приподымается Галиция» — это пророческое предчувствие той же силы, как и предчувствие Радищева обо всей России и свержении царей:

Меч остр, я зрю, везде сверкает...

Меч острый — вооруженное восстание против тиранов и принесло народам свободу. Эту свободу громовым голосом своим воспел одним из первых Маяковский. А как бы мне еще хотелось, чтобы провозвестник свободы хотя бы одним глазом взглянул на рост благополучия, на расцвет культуры нашей Украины, который достигнут при братской помощи великого русского народа!

Как бы мне хотелось, чтобы с нами жил теперь Маяковский!

Мамед Рагим

ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ В БАКУ

Талантливейшего поэта нашей эпохи Владимира Маяковского я впервые увидел в дни его приезда в Баку, в 1927 году. Признаюсь, что тогда я еще недостаточно глубоко был знаком с творчеством великого поэта. Но мы, писатели Азербайджана, часто говорили о нем, о его замечательных боевых стихах.

Познакомились мы с Маяковским в организации пролетарских писателей Азербайджана. Было это так. Внезапно открылась дверь, и в комнату, где мы собрались, вошел высокий мужчина. Широким, уверенным шагом он направился к нам. И хотя мы до этого ни разу не видели его, все сразу догадались — это Маяковский! В живых, проницательных глазах светилась неугомонная мысль.

Он представился:

— Маяковский!

И тут же, даже не дав нам выразить свою радость по поводу столь неожиданной встречи, непринужденно, как со старыми друзьями, начал беседу. Боевой революционный дух, которым насыщена его поэзия, чувствовался и в его речи. Во время беседы он вдруг спросил:

— А вы выступаете на промыслах, на заводах?

— Иногда выступаем,— ответил кто-то.

— Не иногда, а постоянно, как можно чаще надо вам бывать среди нефтяников,— сказал Маяковский,— там настоящая жизнь, там дерзания, там богатый мир, еще не открытый нами...

Мы, действительно, редко встречались с рабочей аудиторией и проводили обычно встречи с читателями в вузах, библиотеках.

Приезд Маяковского расшевелил всех нас, сблизил с русской советской поэзией. Многие из нас серьезно задумались над своим творчеством, в котором сказывалось чрезмерное увлечение интимной лирикой. И мне, как и другим поэтам Азербайджана, захотелось стать ближе к рабочим-нефтяникам.

Нельзя, невозможно было оставаться равнодушным к словам Маяковского. О самом простом он умел говорить удивительно интересно и содержательно. Маяковский придавал большое значение личным встречам с читателями. Незабываемы выступления пламенного «агитатора, горлана-главаря»!

Вспоминаю его выступление в Доме учителя. Я пошел туда вместе с другими бакинскими писателями. Было еще рано. Но Маяковский тоже пришел раньше назначенного времени. Поздоровавшись с нами, он сел на плетеный стул. Мы невольно залюбовались его богатырской фигурой. Каждый, кто видел Маяковского, не мог не восхищаться какой-то особой мощью, веявшей от него. «Да,— думалось тогда,— вот кто по-настоящему может проложить новые пути в поэзии».

Спокойно, запросто, словно к ожидавшим его друзьям, Маяковский вышел на сцену. Минуя стол, за которым ему было отведено место, поэт прошел на авансцену и с улыбкой своим грохочущим басом объявил:

— Слово предоставляется Владимиру Владимировичу Маяковскому.

Честно говоря, Маяковский сорвал всю нашу подготовку к этой встрече. Мы хотели провести ее торжественно, с традиционным вступительным словом и т. д. Но Маяковский, любивший простоту и ненавидевший всякие восхваления, приступил прямо к делу. Без всяких предисловий он начал читать свои стихи. Зал словно ожил. Читал Маяковский что-то из своих сатирических стихов. Громкий хохот то и дело раздавался в зале. Словно подчиняясь воле поэта, менялось выражение лиц у слушателей. Маяковский иногда выступал вперед и спрашивал:

— Понятно ли вам, товарищи, все? Не утомляю ли я вас?

И в ответ на это раздавались аплодисменты и крики:

— Читайте! Еще читайте!

Бурными рукоплесканиями зал выражал свою признательность.

Среди огромной массы людей, которые приходили на встречу с поэтом, попадались и недруги советской поэзии и ее «полпреда» Маяковского. Это можно было заключить по некоторым запискам, поступившим от слушателей. Наряду с дружелюбными записками поэт получал и злопыхательскую писанину. Маяковский читал собравшимся подряд все записки. Нам казалось, что на многие из задаваемых ему вопросов очень трудно или же совсем невозможно ответить. Содержания записок я не запомнил, но прекрасно помню, что остроумные ответы Маяковского вызывали громкий смех и бурные аплодисменты зала.

Мы долго жили под живым впечатлением от встреч с Маяковским. В памяти вставали чеканные строки, полные призыва к борьбе, творчеству, к революционной бдительности.

Маяковский был пламенным певцом пролетарского интернационализма и дружбы народов. Он питал глубоко дружеские чувства к азербайджанскому народу, интересовался его революционной историей. Одно из лучших своих произведений он посвятил двадцати шести бакинским комиссарам. С восторгом он писал о новом, социалистическом Баку, о героическом труде нефтяников.

Велико и благотворно влияние русской советской поэзии на поэзию Азербайджана. И первое место здесь по праву занимает Маяковский.

Петр Хузангай

«МАРШ ВАШ — НАШ МАРШ»

Последовательный интернационалист и продолжатель гуманистической традиции великого Горького, Маяковский чутко относился ко всем народам Советского Союза, к их возрожденной культуре, к революционной борьбе великого китайского народа, к пробуждению классового самосознания трудящихся во всех пяти частях света. Едва ли есть народ, не названный поэтом в плане грядущего «единого человечьего общежития», так горячо отстаиваемого им в замечательном стихотворении «Товарищу Нетте».

Есть у Маяковского строки и о чувашском народе. В стихотворении «Казань» он описывает свою встречу с татарскими, марийскими и чувашскими поэтами. Эта тема подсказана автору подлинным биографическим фактом. Зимою 1928 года Владимир Владимирович был в Казани. Чувашский поэт Н. И. Шелеби и я посетили его в «Казанском подворье» (ныне гостиница «Казань»). Маяковский пристально смотрел на курчавую, тогда еще черную, бороду Шелеби, прислушивался к его голосу, интонации. Наш непосредственный и словоохотливый самородок свою беседу с великим современником пересыпал пословицами, народными изречениями и своими «на ходу» переведенными строчками. Маяковский то задумывался, то улыбался; он подбадривал собрата, называл его «папашей». Не вспомнил ли он строки из заключительной части своей поэмы «Хорошо!», которую собирался читать в тот вечер?

Сидят
  папаши.
Каждый
  хитр.
Землю попашет,
попишет
  стихи.

Обратившись ко мне, Владимир Владимирович спросил: «Как правильно — чуваш или чувашин?» — и тут же что-то занес в записную книжку. Прощаясь с нами, поэт вручил нам записку на имя представителя бюро выступлений: «Товарищ Лавут! Прошу обязательно устроить чувашских писателей. Вл. Маяковский». Не могу себе простить, что я не сумел сохранить этот документ, весьма похожий на двустишия, которые Маяковский щедро рассыпал устно и письменно. Я его в том же году опубликовал в чувашской газете «Канаш».

Через некоторое время появилось упомянутое стихотворение Маяковского «Казань», в котором мы прочитали:

«Марш
  ваш —
наш марш.
Я —
  чуваш,
послушай,
  уважь.
Марш
  вашинский
так по-чувашски...»

Неповторимая, как всегда у Маяковского, рифма «чуваш — уважь» полна глубокого смысла. В ней зафиксировано именно уважение к возрожденному братскому народу, к его национальному достоинству.

Тем же безграничным уважением к великому русскому народу и его могучему языку преисполнены наши сердца, когда теперь мы читаем на родном языке поэму «Владимир Ильич Ленин», стихотворения «Левый марш», «Во весь голос», «Стихи о советском паспорте» и многие другие произведения одного из выдающихся русских поэтов всех времен, классика советской литературы В. В. Маяковского.

Александр Ток

ВСТРЕЧА С МАЯКОВСКИМ

В январе 1928 года Владимир Владимирович Маяковский приехал в Казань, совершая турне по городам Советского Союза.

Накануне его приезда в Казань на улицах города появились большого размера афиши в одну полоску, на которых было написано лишь одно слово: МАЯКОВСКИЙ.

Многие из нас, студентов рабочего факультета Казанского университета, хорошо знали его творчество, некоторые посещали литературный кружок при рабфаке, увлекались его стихами, и поэтому появление на улицах города афиш с полуметровыми буквами — МАЯКОВСКИЙ — нас чрезвычайно обрадовало.

На другой день на улицах Казани появились новые афиши, назывались они: «Идем путешествовать!» В этих афишах подробно сообщалось, что сегодня в Оперном театре состоится вечер поэта Маяковского, где он поделится своими впечатлениями о путешествии в Соединенные Штаты Америки, прочтет свои «американские стихи».

Попытки достать билеты на его вечер не увенчались успехом: билеты были быстро распроданы. Как же быть? Тогда литкружковцы решили направить одного студента и меня в качестве «ходоков» к Маяковскому.

С глубоким волнением отправились мы в гостиницу «Казанское подворье». Подымаемся по лестнице на второй этаж, останавливаемся у низкой двери пятого но-

мера, стучимся. Из глубины комнаты раздается громоподобный голос:

— Мо-о-ожно!

И вот сидит он спиною к нам, широкоплечий, светло-серый пиджак висит на спинке стула. На столе стоит небольшое овальное зеркало, в нем отражается его намыленная левая щека.

Посматривая в зеркало и продолжая бриться, Маяковский спрашивает тем же громким голосом:

— Студенты?

Мы киваем утвердительно и, прося извинения, кладем на стол бумажку, где написана просьба дать членам литкружка десять билетов.

— Поэты, должно быть... За стихи еще не платят? — говорит он шутливо, и нам становится как-то легче, исчезает волнение перед этим физически громадным человеком и поэтом.

Маяковский продолжает бриться и шутит, слагая стихи:

— Подождите — побреюсь. Я не хожу к брадобрею.

— Товарищ Маяковский,— говорим ему, осмелев,— мы не только пишем стихи, но и переводим ваши вещи. Вот наш литкружок перевел «Левый марш».

— Прекрасно! — восклицает Маяковский и, кончив бриться, встает со стула, отходит к умывальнику, спрашивая:

— На какой язык?

— На марийский,— говорю я.

— Послушаем, послушаем! — весело усмехается Маяковский, утирая лицо полотенцем.

Я прочел «Левый марш» с большим подъемом, стараясь передать всю силу стиха и довести его до автора в полновесном звучании на непонятном ему языке. Маяковский, опершись о стол, строго посматривал сверкающими глазами.

А когда я кончил читать, он протянул мне правую руку, сказав:

— Ну что ж, хорошо! Продолжайте переводить.— И улыбнулся.— А билеты я вам разрешу бесплатно.

И, взяв со стола карандаш, в углу нашей бумажки написал: «Разрешаю пропустить бесплатно. Вл. Маяковский».

Провожая нас, Маяковский говорил:

— Заходите, не стесняйтесь. Я у вас в городе еще поживу.

В один из жарких июльских дней того же года я купил в киоске номер газеты «Комсомольская правда», где было напечатано стихотворение Маяковского «Казань» и в ней строки:

Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
Вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».

Ольга Форш

МАЯКОВСКОМУ

И французы ждали его приезда.

Мосье Франсуа говорил неплохо по-русски. Он готовился делать переводы классиков «пробудившегося Востока» и вместе с тем пугался широты их размаха. Полушутя, им в противовес, он приводил изречения модного скептика о признаках зрелости нации, когда люди уже ни во что не верят и только стремятся прожить «оригинально и красиво».

Мосье Франсуа раздобыл подстрочник Маяковского и, как сам признавался, был им взволнован больше, чем ожидал. В последние дни перед назначенным вечером он был просто в гневно-повышенном состоянии.

Сохраняя последнюю вежливость, мосье Франсуа избегал говорить прямо о занимавшем его предмете, но все равно, о чем бы ни шла его речь, это были тайные ядовитые стрелы, направленные в Маяковского.

Если, например, он перечислял с подчеркнутым пафосом, по его мнению, похвальные условности, благодаря которым во французском стихе достигнуто высокое мастерство, он был тот язвительный педагог, который хвалит ученика примерного, единственно в позор и обиду ученику-самовольнику.

— Сам Поль Валери, сегодняшний мэтр слова, восхищенно взволнован, поминая Расина и божественный классицизм!

Мосье Франсуа коварно улыбался и щурил глаза, отчего на суховатом лице его вдруг проступало много морщин. С тонким выражением, будто расставляя неви-

димой птице свою хитрую сеть, Франсуа восклицал по адресу классицизма:

— О, это — алгебра красоты, это — ее непреложный закон! Вы мне скажете: естественность муз в строжайшем плену? Поэт — раб особого словаря? Не возражаю...

Мосье Франсуа поднял острое, чисто выбритое лицо и произнес с важностью:

— Однако наш великий Расин, опутанный этой традицией, этим пленом, умудрился одарить нас искусством бессмертным!

Распаленный собственным красноречием, мосье Франсуа вынул из кармана подстрочники забавно написанных латинскими буквами русских строк. Он постучал по листкам карандашом и, едва сдерживая возмущение, спросил:

— Это тоже — стихи?

Он хлопнул по бумаге ладонью и, пресекая все возражения, воскликнул:

— Это графика, это узор... это просто шалости! И это сейчас, когда покаялся сам Пикассо, зачеркнув самочинный, разорванный на части прием, соблазнивший столь многих. Пикассо погрузился в старый классический синтез, как блудный сын, он пришел к Энгру.

Мосье Франсуа склонил над стихами свой лысеющий лоб и, делая смешные нерусские ударения, прочел:

Мы —
голос
воли низá,
рабочего низá,
всего света.

— О, я хотел бы понять этот ритм! Я непременно хочу услышать, как русский автор читает свои вещи сам.

Неизвестно почему, но с особой горячностью просилась на русский вечер и Алиса, старший манекен в большом модном доме.

— Я умоляю...— прошептала Алиса, встретясь со мной в коридоре отеля, где наши комнаты были рядом.— Мне это так важно, это моя надежда... Зайдите ко мне вечером, я все объясню.

Алиса торопилась на работу. Когда вечером я к ней вошла, она, утомленная своим тяжелым днем, сидела в кресле. Несмотря на искусную подрисовку, природная бледность проступала в прозрачности ушей и за глубо-

кой жилкой виска, где случайно раздвинулись светлые волосы.

Работа Алисы состояла в том, чтобы часами прохаживаться взад и вперед под жадными взорами богатых клиенток, приехавших из Америки за парижским шиком. С быстротой трансформатора Алиса должна была менять платья и, согласно их покрою, расчетливо играть своим телом. Манекену, который умел вызвать оценку деталей, изобретенных фирмой, хозяин жаловал премию.

Алиса не двигалась в кресле, она тихо плакала. С ней что-то случилось.

— Вы лишились места, Алиса?

— Разве в Париже манекен с талией сорок восемь, как у меня, может остаться без работы? — несколько высокомерно отозвалась Алиса и, вынув зеркальце, прошлась пуховкой по лицу, чтобы слезы не оставили после себя следов. Она только что сделала себе «лицо», и это стоило недешево. Продолжая пудриться, Алиса рассказала без выражения, без гнева, что новый гарсон, смахивая с кукол пыль перед поднятием с витрин жалюзи, прошелся метелкой и ей по лицу.

— У нас в ателье сегодня час, когда мы должны стоять на выставке вперемежку с деревянными болванами в модных платьях. Мы стоим — не дышим, не моргаем... И это все ради того, чтобы зеваки на улицах бились об заклад, где женщина живая, а где деревянная. Уходим под аплодисменты. Это реклама.

— Вероятно, гарсон не нарочно...— неудачно сказала я.

Алиса горько усмехнулась:

— В том-то и дело, что не нарочно. Гарсон имел основание обмахнуть меня, как болвана. Когда сам забываешь, что ты человек, забывают и все.

— Вы меня звали, чтобы объяснить, почему вам так важно попасть на вечер русского поэта, но я не вижу причины...

— Причина есть,— сказала сурово Алиса.— Из всех, кто будет его слушать, поверьте, мне он необходимее всего. Ведь я все медлю посылать мое объявление в газету «Сурир».

Алиса протянула бумажку. Это было предложение, адресованное неизвестному, написать ей до востребова-

ния, когда он желает с ней встретиться. Тут же стояло перечисление качеств, способных обольстить воображение ситуаена, жаждущего авантюр: девица, блондинка, свежая кожа, талия сорок восемь...

— Не правда ли, совсем, как про лошадь? — усмехнулась Алиса.— В газете подобные объявления печатаются на четвертой странице. Многие из моих товарок, потеряв терпение, уже прибегли к таким публикациям. Иным повезло!.. Но вот я медлю... Почему? Меня, знаете, очень расстроила Элиза из Сен-Дени. Она землячка, мы обе из Гренобля. «Если ты плачешь,— сказала Элиза,— тебе, значит, не стоит брать жизнь такой ценой! На этом пути везет только тем, кто не думает». Элиза дала мне какие-то революционные листки и портрет Луизы Мишель. Она показала на листки и произнесла строгим голосом: «Но уж если ты начала думать, доводи мысль до конца... Здесь ответ!» По правде сказать, листки мне было скучно читать, но портрет Луизы сказал мне многое.

Алиса указала на фотографию знаменитой коммунарки, висевшую у нее в изголовье рядом с благословением Лурда: вот она, Луиза Мишель, в фетровой шляпе вольных стрелков. У нее короткие волосы, они зачесаны назад, пелеринка из жалкого дешевого меха, солдатские сапоги. В этом костюме она обходила лазареты Коммуны. Она некрасива, Луиза Мишель, но ее улыбка сверкает такой неистребимой силой, такой верой в правоту своего дела, что повелевает идти за ней.

— Я вернула Элизе брошюры, но портрет попросила оставить. Элиза улыбнулась, что я, как дети, могу понимать вещи только по картинкам, и вот тут-то она мне сказала: «Тебе бы послушать русского поэта, он только что приехал в Париж. Может быть, ты тогда захочешь прочесть и наши листки». Возьмите меня с собой! Я сяду в угол, я буду в самом скромном платье, я, право, вас не сконфужу.

Маяковский приехал.

Я повела на его вечер двух своих французских знакомых — мосье Франсуа и Алису.

Мы подошли к дому, где во втором этаже сдавался зал для выставок и разнообразных выступлений. Узкая, показалось, какая-то многооконная комната, ступени, возвышение. Широкие подоконники, пустые ящики.

Люди сидели где и как попало, и похоже было — это мастерская живописи, когда натурщик ушел отдыхать.

Маяковский по своему большому росту был сразу отличен от всех. Он стоял, прислонившись к деревянной колонне, и хотя отвечал говорившему с ним, но думал о чем-то своем и грозно смотрел перед собой.

— Ангел...— начал мосье Франсуа.

— Которая? — оживилась Алиса.

— Я не про даму, я про поэта. Это его написал художник на стене киевского собора. Ангел страшного суда, он держит в руках весы правосудия. То же самое грозное лицо.

Маяковский стоял и тяжелым, твердым взором оглядывал аудиторию. Он будто взвешивал, отбирал, выбрасывал негодных. Презрительно смигнув их, он переводил глаза на другую группу людей. Он давил глазами. Его нижние веки не доходили до темного яблока глаза, отчего узкая полоска белка оттеняла темный зрачок ярче, нежели это обычно у людей. Взор его был проникающ, глаза сидели глубоко под бровями.

Внезапно от легкой застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало, как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба темную прядь. Маяковский вдруг одним шагом прошагнул на эстраду. Расставив ноги, он выставил чуть вперед голову. Так с капитанского мостика глядит капитан. Он налился огромной внутренней силой. Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк.

Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвел руки за спину, углы губ нервно дернулись книзу, стал говорить. Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель.

— О, этот голос знает, что делает,— одобрительно сказал мне мосье Франсуа.

В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,

и с невыразимым презрением, словно давал он пре-

мьеру-беглецу, «порочному школьнику», вдогонку шлепка:

за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший.

Вдруг лицо Маяковского дивно изменилось: в нем сейчас были нежность, и целомудренная гордость сына, обожающего гений отца, и большой вкус поэта, умеющего легчайшим любовным юмором прикрывать свои чувства:

в пальтишке рваном,—
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.

Маяковский долго гремел и ласкал своим единственным по могуществу голосом. То он жарким словом трибуна валил с ног врага, то пробуждал своим волнением лирика чувства. Он гнал свои строки неистовым бегом, он испепелял благополучие мещан, он заражал доверием к силе великих идей, которые одни могут дать счастье всему человечеству.

Маяковский находил мыслям свежую убедительность, он давал слову оттенки, до него не бывшие, то пронзительные, как свист бичей, то нежные, как детская жалоба. Он словно брал в руку свое полновесное слово и доносил его до сознания каждого, убеждая, вовлекая в стремительность обновления жизни.

И даже ленивые волей сливались на миг с его силой, и каждому с ним вместе хотелось гордо сказать:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,

но трижды —
которое будет.

Маяковский кончил. Его окружили. Мы молча пошли домой.

Прощаясь, мосье Франсуа произнес без обычной иронии:

— Я счастлив, что услышал его. Конечно, я не смогу это перевести, но я честно признаю, что слова такой силы и правды законно нашли себе новую форму благодаря гению этого человека.

Алиса заговорила только у порога своей комнаты и тихо, как бы стыдясь своих слов:

— Когда-нибудь передайте ему, что, конечно, не бог весть кто, но все-таки живой человек, поддержанный его душевным огнем, нашел в себе силу изменить свою жизнь.

Ленинград.

Г. Артоболевский

ВСТРЕЧИ НА ЭСТРАДЕ

> Я считаю правильным, чтобы к праздникам не только помещались стихи, но и вызывались читатели, чтецы, рабчиты для обучения их чтению с авторского голоса.
>
> *Маяковский.* Расширение словесной базы.

Значение творчества Маяковского в моем артистическом пути чрезвычайно велико. Именно ему я в большой степени обязан тем, что стал чтецом.

Воспитанный на Пушкине и классиках, с самого детства любя стихи и стремясь исполнять их вслух, я осознал потребность сделать это своей профессией, когда познакомился с творчеством Маяковского. В нем я нашел искренний голос большого человека близкого мне времени. Это настолько поразило меня, что Маяковский на долгое время заслонил от меня прочих поэтов.

Когда я впервые увидел его «Облако в штанах», текст поэмы буквально приказал мне и мощью образов, и строем речи, и лесенкой строк: читай! Живой голос современника взывал с печатной страницы и заставлял звучать мои связки. И вот тогда я захотел стать голосом поэта, голосом поэтов, голосом литературы.

Моя юность протекала в Киеве. Там, году в восемнадцатом-девятнадцатом, я познакомился со стихами Маяковского. Характерно, что знакомство было «с голоса». У меня был школьный приятель — молодой художник и талантливый актер-любитель. Однажды, когда я зашел навестить его, он оставил свой карандаш и, засучив рукава и расстегнув ворот рубахи, возгласил, скользя вверх по ступеням затейливой рулады и выпрямляя, как пружину, пригнувшееся к земле тело:

Бе-э-э-йте в площади бунтов топот...

Так я узнал «Наш марш». Потом явилось «Все сочиненное Владимиром Маяковским». Действительно, на этих страницах голос был зримым, а буквы звучали. Глядя на ступенчатые строки, я слышал их внутренним слухом. Они говорили во мне, и я стремился воспроизвести этот внутренний голос.

Так я начал читать Маяковского.

Первые опыты были домашними, семейными чтениями.

Из комнатных стен я перенес поэзию Маяковского и в первые опыты моих публичных чтений. Профессии чтеца тогда еще не было, но, участвуя в концертах как певец, как актер, я «протаскивал» в программы и мое чтение новых поэтов. С Маяковским я поступал в драмстудию, читал его на экзамене у А. И. Адашева. Маяковский звучал от меня и в зале консерватории, и на каком-то собрании сотрудников Сахаротреста, и в санатории ученых, и в рабочей аудитории. Успех, с которым обычно принималась его поэзия в этих выступлениях, еще больше укреплял меня в желании искать свое творческое лицо на путях чтения.

Видимо, правда человеческого переживания и сила его выражения пленяли слушателей. В этой сокрушительной лаве страстей современники обретали язык своим чувствам. «Безъязыкая улица» начинала в стихах Маяковского «кричать» и «разговаривать».

Маяковский входил в быт. Из уст в уста неслось его слово. Маяковский шел в массы путями фольклора. Недаром в 1921 году он обнародовал поэму «150 000 000» без подписи: «Хочу, чтобы каждый дописывал и лучшил». То, что я видел вокруг себя и в чем сам принимал посильное участие, было в этом отношении типично и характерно.

В Киев приезжал театр коллективной декламации. После его отъезда в среде литературно-артистической молодежи мы ставили многоголосым хором:

Вошел к парикмахеру, сказал —
спокойный:
— Будьте добры, причешите мне
уши...

И слова «сумасшедший!», «рыжий!» действительно «прыгали» с голоса на голос.

Наконец в 1924 году Киев посетил сам Маяковский. Молодежь буквально осаждала цирк, где выступал поэт. Милиция сдерживала толпу. «Киев пропустил 5660 слушателей»,— сообщал Маяковский. Меня не было в том числе. Слышать Маяковского тогда мне не довелось.

Я услышал его впервые уже в Ленинграде, по возвращении поэта из Америки. Из всех поэтов только Маяковский собирал столько народу. Великолепное спокойствие большого советского человека прежде всего обратило на себя мое внимание.

Как читал тогда Маяковский — сказать не могу. В тот вечер я был не профессионалом, а слушателем, рядовым жадным слушателем. Я впивал не декламацию, а слова. Впервые я воспринимал поэта в его человеческой сущности. Воспринимал синтетически. Анализ пришел позднее.

Личная встреча с Маяковским, издавна мной вожделенная, состоялась при очень своеобразных обстоятельствах. Это было летом 1929 года в Крыму.

К этому времени я мог считать себя профессионалом чтения. Два года прошло с тех пор, как я дебютировал в Ленинграде открытым концертом из произведений советской поэзии, где значительное место занимало творчество Маяковского. Этим летом я гастролировал в Евпатории. Я выступал с публичной лекцией «Нужны ли нам стихи?». Я читал в концертах произведения новой поэзии, в частности Маяковского. Стихи были нужны. Публика их горячо принимала.

С удовлетворением заканчивая свои выступления, я готовился к отъезду. На 17 августа был назначен мой прощальный вечер.

И вот накануне по Евпатории запестрели афиши: Маяковский.

Пляжники разносили вести: «Приехал!.. По пляжу ходит!..»

Несмотря на то что 16-го я был занят в концерте, едва закончив его, я поспешил в курзал «на Маяковского» и уселся в оркестр, являвшийся там своего рода «артистической ложей».

Высокий, наголо остриженный поэт, стоя за маленьким столиком, отвечал на груду записок. «Намозоливший от многолетнего сидения зады» безликий мещанин

пытался в них исподтишка идти на поэта в атаку. Некоторые записки до того пахли тиной, что мне стало жаль этого большого человека на эстраде, одиноко отражающего плотный прибой ненавистной ему обывательщины.

Было буднично, и было жарко. Маяковский пил воду алюминиевым стаканчиком из боржомной бутылки.

И вдруг я слышу в одной из записок упоминание моего имени. Кто-то из публики спрашивает у поэта, упрекавшего в своем выступлении актеров за неумение читать новые стихи, как тот относится к моему чтению.

— Как отношусь? Да никак! — роняет Маяковский.— Я его не знаю.

— А я здесь,— вырывается у меня непроизвольно.

Сказал — и сам удивился этому: почему сказал? зачем? Но дело сделано, камень покатился с горы.

— Это вы, товарищ? — нагибается в оркестр Маяковский.— Так, может, вы сейчас прочтете что-нибудь?

Публика рьяно поддерживает это предложение.

Вихрь противоречивых мыслей проносится в голове. Но желание узнать мнение ценимого мною поэта сильнее всего. Пусть я устал от проведенного концерта, пусть Маяковский публично раскритикует мое исполнение, я поднимаюсь на сцену.

Не помню: не то называлось в записке, не то выкрики из публики заказали мне задорное «Солнце в гостях у Маяковского».

— А вы не слышали, как я его читаю? — спрашивает автор.

— Нет. Вообще Маяковского я слышал, но исполнения этого стихотворения не слыхал.

— А вы не обидетесь, если после вас я сделаю свои замечания и прочту его по-своему? — продолжает он.

— Нет, я не обижусь. Но вы разрешите и мне сделать свои замечания с точки зрения читателя,— перехожу я в наступление.

Маяковский косится:

— Пожалуйста.

Публика в восторге: аттракцион готов. Состязание на эстраде! Бойцы салютовали друг другу и стали в позицию!..

Итак, я исполняю заказанное стихотворение, кончая его бравурно «под занавес»:

Светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

Публика аплодирует.

По совести говоря, читал я в тот раз неважно. Как всякий понимает, впервые читая перед автором, я волновался. От волнения был каким-то растрепанным, несобранным. Маяковский при желании мог обойтись со мной достаточно сурово. На эстраде, в полемике, он часто бывал и резким и беспощадным. Но он был принципиален. Он знал, кого бить и за что бить! О моем чтении он высказался по-деловому.

Отметил, что «у артиста красивый голос», касательно же исполнения сказал, что «оно все-таки актерское» (он, видимо, считал актерством мою передачу диалога с солнцем). Попутно попрекнул он и Ильинского за то, что тот «свистит солнцу». Пожелал большей ритмической заостренности. Сам он читал в «железном ритме».

В связи с этим любопытно одно наблюдение. Как известно, исполнявшееся мною стихотворение Маяковского написано ямбом, в котором последовательно чередуются стихи четырехстопные и трехстопные. В литературе отмечалось, что здесь дважды мы находим ритмические перебои.

Так, стих:

медленно и верно,

вследствие отсутствия анакрузы (начального неударного слога) имеет вид хореического стиха. Чтение Маяковского выправляло этот мнимый «перебой» ритма. Маяковский изобразительно растягивал произнесение первого слова, чтобы в самой интонации отразить «поступь событий» — медлительность описываемого акта, тогда как второе слово произносил твердо и четко. Таким образом, этот в начертании хореический стих в произнесении поэта уподоблялся прочим ямбическим стихам:

ме-эдленно и верно.

Слово жило для Маяковского не только логической, но и «изобразительной» стороной. «Перебой ритма» был знаком смыслового оттенка, ощущавшегося поэтом. Я запомнил это потому, что Маяковский именно этот

стих обособленно показал мне на эстраде: «А это так надо читать».

Затем он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: «У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения». Это надо учесть исполнителям.

Вспомним, как Маяковский при исполнении «Нашего марша» начинал маршеобразное движение ритма с произнесения самого заглавия «на два удара»:

Наш — марш.

Тогда, в Евпатории, он произнес заглавие повторенного им после меня стихотворения, зычно возгласив первые слоги, выделив их как бы «жирным шрифтом» голоса:

НЕОБЫ...

и после чуточной паузки рассыпался петитом:

...чайное приключение...

Помнится, Маяковский сказал, что соответственно располагались шрифты при первой публикации вещи. Если это так, приходится пожалеть, что в дальнейших перепечатках это графическое своеобразие пропало. Вопрос о «букве» Маяковского — это вопрос о мысли Маяковского. За всякой «буквой» у него живые звуки, интонация, мысль.

Читал Маяковский превосходно. При этом он отнюдь не «играл» образов. Он с рельефностью скульптуры передавал смысл произведения в четком каркасе ритма. Бросающейся в слух особенностью было неподражаемое переслаивание повышенного патетического тона тоном разговорным, «низким».

Запомнился смелый оборот, когда после слов «в упор я крикнул солнцу» вместо естественно ожидаемого громкого обращения поэт говорит «слазь!» простецким и потому уничижительным для солнца тоном. Подобным образом строилась и концовка. После высокопафосного подъема к словам «вот лозунг мой», мощно провозглашаемым, поэт делал маленькую остановочку и добавлял как нечто незначительное: «и солнца», низводя этим светило до роли «энного спутника» к необъятному жизнеутверждающему «я».

Когда поэт кончил, я посетовал, что автор, считая, по-видимому, свою интерпретацию канонической, дает так мало знаков для исполнителя. Кто прибегнет к только что показанному поэтом «речевому оксюморону» без особого авторского указания? Кто решится сказать «слазь» противоположно прямому смыслу глагола «крикнул»?

Маяковский ответил, что он не считает такое чтение общеобязательным. Видимо, слегка задетый моим замечанием, он добавил примерно так:

— Действительно, это прием довольно грубый. Это в балагане, намереваясь посмешить, актер зовет, обращаясь в кулису: цып-цып, а оттуда вместо ожидаемой крошки является нарочитый верзила. Но я не всегда читаю одинаково — смотря по аудитории.

И подкрепил это, показав, как то же заглавие он читает по-иному. Став у кулисы, он прошелся затем вдоль рампы маленькими шажками, ритмично при этом отбарабанивая:

Не-о-бы-чай-но-е-при-клю-че-ни-е...

Этим и закончилось наше «состязание на эстраде».

В заключение Маяковский предложил публике решить, кто из нас лучше читает. Так как возгласы были противоречивы, он хотел было даже голосовать поднятием рук.

Конец вечера Маяковский провел в защите прав поэта на исполнение своих произведений. Он вспоминал при этом чтение Бальмонта, которого не любил, и Хлебникова, которого ценил исключительно высоко, превознося даже своеобразную манеру последнего внезапно обрывать свое чтение возгласом: «Ну и так далее...»

Вопрос об авторском чтении был для Маяковского принципиальным вопросом. К нему он возвращался неоднократно. «Хорошесть авторской читки не в актерстве,— писал он в статье «Расширение словесной базы».— В. И. Качалов читает лучше меня, но он не может прочесть так, как я».

Полноту раскрытия своего замысла Маяковский представлял в авторских интонациях. Свое поэтическое слово он ощущал сказываемым. С газетной полосы «Комсомольской правды» он протягивал руку древнему слагателю «Слова о полку Игореве».

В художественной речи только интонация позволяет до конца точно вскрыть руководящую мысль произносимого текста — его «подтекст». Эсхил был не только автором своих трагедий, но и их исполнителем. Гомер или Гомеры пели стихи «Илиады» подобно нашим сказителям, акынам, ашугам.

«Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать минут на радио. Я требую, громче, чем скрипачи, права на граммофонную пластинку». Новый Гутенберг возможной «звукокниги» будущего вспомнит эти слова Маяковского, своего пророка и предтечи.

Владимир Яхонтов

С МАЯКОВСКИМ

Когда встречаешь в творчестве поэта-современника отголоски своих чувств и мыслей, когда писатель говорит за тебя и вместе с тобой, тогда рождается та искра общения, без которой не бывает настоящего и большого искусства. Умением говорить за всех нас, живущих вместе с ним, в высокой степени обладал Маяковский.

Маяковский — составное нашей эпохи. Всегда казалось, что пришел он в тот день, когда «над Петропавловской взвился фонарь, восстанья условный знак...»,— вот тут и зашагал Маяковский, прекрасный человек нашего времени.

«Левый марш» — новое слово в поэзии, но в те дни он звенел на улицах Москвы и Петрограда как народная песня, потому что пришли такие дни, чтобы «Левый марш» звенел. Я был новичком в Москве, но очень явственно ощутил, что поэзия Маяковского — неотъемлемая часть жизни всех, кто не намерен оставаться в плену школьных истин, обывательщины, старого, разрушенного мира.

Маяковский — это моя юность, мое становление, мое прозрение и мое приятие великих исторических дней Октябрьской революции.

Молодое поколение, никогда не видевшее Маяковского и не слышавшее его, вероятно, завидует нам, современникам поэта.

Безусловно, мое поколение — первые читатели гениальных произведений Маяковского: его стихи и поэмы

рождались на наших глазах. Разворачивая утренние газеты, заходя в книжные магазины, мы встречались с его стихами и поэмами.

«Кто он и откуда?» — в те годы я не думал. Это пришло позднее. Важнее было другое — что он существует, присутствует среди нас.

Первое произведение, которое я прочел у Маяковского, была его поэма с непонятным названием «Облако в штанах». Очень часто, катаясь по Волге на маленькой лодочке или лежа на желтом песке на берегу реки, я смотрел на плывущие облака, и никогда мне не приходило в голову, что облако может быть в штанах. И вдруг поэт так назвал свою большую поэму. Очевидно, что это самое облако в штанах — сам поэт. Я хорошо помню, как многие тогда издевались над Маяковским, главным образом над этим названием его поэмы. Помню, как всякие пошляки несли чепуху и ерунду по поводу этого названия, не давая себе труда подумать над расшифровкой этого образа, не говоря уже о самой поэме, которую заранее, за глаза считали выдумкой футуриста и галиматьей.

Поразило меня в этом произведении, что тема любви берется не с личных позиций, рассматривается не как частный случай, а как социальная трагедия. Ромео и Джульетта гибнут из-за феодальных предрассудков, из-за распрей между двумя семействами — Монтекки и Капулетти. А в мире капитализма влюбленных разъединяет золото. Характер любви различен, и конфликты в ней решает то время, в какое человек любит. Мне кажется, что есть у нашего поколения заветная мечта, чтобы чувство любви помогало строить, преодолевать трудности.

Поразительно, что Маяковский в предгрозовое время, в предчувствии грядущей революции далеко заглядывает вперед. Он решает тему любви как трагедию прежде всего социальную. Поэт вступает в борьбу со старым миром, в котором проблема любви упирается в куплю-продажу, где втоптано в грязь такое высокое человеческое чувство, как личное счастье. Значительно позже я убедился в правильности первого «прочтения» поэмы Маяковского, когда услышал строки его стихотворения «Домой»:

Я ж
    с небес поэзии
        бросаюсь в коммунизм,
потому что
    нет мне
        без него любви.

И еще одно обстоятельство продолжило мое знакомство с творчеством поэта.

В первые же годы после Октябрьской революции Маяковский ставит свою «Мистерию-буфф». Пафос «Мистерии» дышит необычайной новизной. Как светом прожектора, освещены пружины, на которых доселе стоял мир. Поэт строит свою «Мистерию» по древнейшим мотивам, на много столетий обосновавшимся в сознании человечества, жившего под знаком христианства. Снова традиционный «потоп»: «чистые» и «нечистые» собираются на корабль. История человечества начинается заново. Люди приходят в ад, затем в рай и наконец возвращаются на землю — в коммунизм. Такое решение темы ассоциируется с «Божественной комедией» великого итальянца.

Идя традиционнейшими путями, Маяковский переворачивает сюжет вверх дном, утверждая любовь к жизни преобразователя земли — человека. Все было пленительно в этом спектакле, и даже фантастичность его приобретала пронзительный блеск великолепной реальности. «Мистерия» отразила дерзновенные годы нашей юности — юности революции помолодевшего народа. В реальность событий верилось беспрекословно. Я вспоминаю «Мистерию-буфф» потому, что полнота, с какой я ощутил тогда Маяковского, и сделала меня в дальнейшем исполнителем его произведений. Это никогда больше не увидевшее сцены произведение осталось путеводной звездой в моем сознании. После «Мистерии-буфф» у меня появился живой интерес к стихам Маяковского, я начал думать об их исполнении.

Имя Маяковского мелькало всюду на больших листах — это означало, что он приглашает нас в гости в Политехнический музей. Гости съезжались со всей Москвы, очень довольные, что их пригласили.

Вечера Маяковского!

Дремать нельзя, надо спешить!

Политехнический музей раскачивает толпа. Сюда

бегут, обгоняя лошадей, и протискиваются в открытые двери.

Крутой амфитеатр густо заполнен гостями Маяковского — хозяин гостеприимный и разговорчивый. Но у всех особое состояние ожидания: что-то будет?.. и какой он сегодня?.. У новичков замирает сердце. Должен выйти чудо-человек, или гигант, или что-то вроде колокольни Ивана Великого — что-то несообразно огромное, разговаривающее с домами.

А выходит поэт — человек, в котором просторно располагаются все человеческие чувства. Он сообщает, что живет с нами в один день, в один час, на одной земле, в одной с нами стране, что он ходит только по солнечной стороне и всегда на виду, что все его мысли и поступки известны нам через его стихи, что он гостеприимный и общительный человек. И я понял отлично, что это его манера жить в большом обществе, что так он общается с друзьями. Это был совершенно свой человек — и на короткую ногу со всеми, кто жил в Москве, вокруг Москвы и дальше. Куда бы он ни приехал, он сейчас же приглашал к себе в гости. И еще была в нем естественность поведения, деловая простота: обращается он к каждому, разъясняет каждому, кто не понял чего, а все потому, что каждому человеку нужен в жизни поэтический образ и стихотворная строчка. Он знает, что без этого никак не проживешь. Оснастить человека, строящего коммунизм, стихом совершенно необходимо. Собрать его в дорогу нужно толково и продуманно. Путь будет не алмазами усеян, особенно в самом начале. Чтобы не растерялся, не заныл и не повернул бы обратно. И поэт собирает нас всех в этот путь. Мы, строители будущего, пришли сюда за напутствием его, за советом, за справедливым деловым стихом.

Собирает он нас в дорогу час, другой, третий... С кручи обрушиваются на него аплодисменты, а он продолжает нас оснащать, увлекать, растолковывать. Но попадает тем, кто со свиным рылом, вприпрыжку и бочком, с собственным индивидуальным чемоданчиком, напиханным древнейшими рецептами, как на свете послаще пожить, собрался в тот же путь. Он вытряхивает индивидуальные чемоданчики, потрошит до дна и пускает по ветру. Таких задерживает с поличным и билета на проезд в коммунизм в мягком вагоне не дает.

15 Заказ 1231

Он пьет чай, снимает пиджак, он работает, засучив рукава.

Обработка и проработка нравятся: с кручи снова валятся аплодисменты. Они усиливаются, распирают стены. «Погода» крепчает, «погода» хороша. В самый раз тронуться в путь, попробовать силы. Ладони в рукоплесканье бьются в воздухе, как маленькие паруса на ветру. Это те самые руки, что создают все для человека и человеку,— это человеческие трудовые руки. Они сегодня ему отвечают, с ним говорят, звенят, трещат, ураганятся в вихре, в буре! А буря веселая и молодая. Уж за полночь, пора по домам. Круча рассыпается, люди скатываются по лестницам, и тогда тихо гаснут лампы.

Все идут и, конечно, еще вспоминают и говорят о нем.

Бывая на его вечерах, я стал, как я уже говорил, его негласным учеником. Смысловая сторона его творчества меня восхищала, стилистическая поражала новизной: своеобразный ритм, интонация, порой разговорная, порой пафосная, приводили и к желанию полнее познать структуру его стиха, а этому мог научить только автор.

Его авторские вечера сделались для меня своего рода университетом. Я научился любить не только современную литературу, но и современные искусства: музыку, живопись, театр. С тех пор я стал упиваться его ритмикой, я бы даже сказал, особой, свойственной только ему мелодикой, какая звучала в его произведениях. Это очень важное приобретение я сохранил навсегда от выступлений Маяковского.

Откуда у него такое просторное слово в смысле его произносимости и как это получается в его чтении — вот чему я удивлялся. Помню с детства, я качался на качелях. Упоительны в этом были взлеты в небо и известная закономерность таких взлетов, упругость воздуха и звон в ушах — такая в этом была сила, что дух захватывало. Есть в стихах Маяковского нечто такое же притягательное, задорное и молодое. Его стихотворная строка похожа на дугу, описанную брошенным камнем: камень летит, достигает кульминации, падает — таков строй его стиха.

Или так: лодка взбирается на гребень волны, она скользит с волны на волну, то исчезая, то вновь появ-

ляясь, пересекая порой линии горизонта. Подобна лодке его строка, она идет на волнах ритма. Я превосходно уяснил структуру его стихов.

Вспоминается, как-то летним вечером мы с Поповой пересекали Лубянскую площадь, очень взволнованные работой. Это было в те самые горячие дни, когда мы задумали композицию о пятилетнем плане. И работа уже шла полным ходом, и найдено было название: «Торжественное обещание». Мы шли по вечерней Москве. Я люблю Москву летом — влажные, остывающие тротуары и вечернюю прохладу улиц. Мне всегда казалось, что, например, Кузнецкий мост с мягким светом книжных витрин — наша большая комната, может быть, кабинет с библиотекой, где можно думать, беседуя вслух. Когда пульс города слабеет, как у засыпающего человека, когда не только люди, но и дома отдыхают,— в такие часы хорошо вырваться из плена комнаты и чувствовать, что несешь в себе значительно большее творческое напряжение, чем ритм утомленного города с побледневшими, сизыми улицами. В такой час город становится нашей большой рабочей комнатой, а дома — задумчивыми собеседниками. И вот в такую минуту, когда мы молча шли и думали о своей работе, внезапно прошумел легкий плащ Маяковского. На секунду он вырос перед нами, словно охваченный волнением, весь, с головы до ног, в ритме стихов, и, раскланявшись, исчез так же внезапно,— и казалось, на месте встречи осталась крутая воздушная воронка нашей общей взволнованности: его взволнованности — потому, что он, шагая по улицам, всегда сочинял стихи, а нашей — потому, что мы только что отошли от своего рабочего стола с монтажными листами.

И еще одна картина в памяти.

Маяковский в Крыму. Мы встречаем его на тесных улицах Ялты. Море бросает белую пену на камни набережной. Маяковский ходит рядом, кидая широкие плечи в горы, в море. Мы раскланиваемся, как обычно, как далекие знакомые, как близкие незнакомые. Я смотрю на Ай-Петри, на море, учу стихи. Проходят часы. Крым отдыхает.

Маяковский дает свои вечера. Мы слушаем его стихи. В перерыве он подошел к нам, спросил, как нам нравится.

Сложилось впечатление, что он присматривается к нашей паре.

После его вечера мы с Поповой сидели в ресторане на открытой площадке одни. Кругом пустые столики. Был свежий вечер. Маяковский ужинал рядом, в закрытой веранде, бросая взгляд на наш одинокий столик.

Как-то мы проходили по садику гостиницы «Ялта» к себе домой. Встретили Маяковского. Он сидел в саду на скамейке. Остановил нас. Спросил, когда идет «Пушкин», и пригласил заходить в гостиницу, почитать ему Пушкина. Я заметил, что у него перегоревший от курения рот. Я встретился с глазами, способными смотреть длинно, с бескрайним глубоким горизонтом, обещающим новые, неоткрытые земли.

Я подумал тогда: как Пушкин в девятнадцатом веке выражал собой в кристально чистой форме цвет своей эпохи, так Владимир Маяковский нес на богатырских плечах своих весь ослепительный размах двадцатого века.

Я встречал его почти каждое утро. Он плыл среди летней нестройной толпы отдыхающих. Все были много короче его. От его присутствия в Крыму становилось как-то праздничнее и веселее, словно он дарил нам свои лучи. Казалось, так и ходит поэт в обнимку с солнцем по ялтинским улицам.

Бывало, идешь по Москве — навстречу Маяковский. Легко постукивая тяжелой палкой, он плавно покачивается, как океанский пароход. И вдруг останавливается и спрашивает: «Что делаете, над чем работаете?» Почему он заметил меня, я не знаю, но всегда останавливался и допрашивал, как идет работа. Я понял, что в этом был Маяковский. Он как бы проверял посты: все ли благополучно и правильно ли налажено дело? Видимо, и меня он считал одним из этих «постов». Я был некая «точка» или «объект» и что-то делал довольно самостоятельное, за этим следовало наблюдать, быть в курсе. Встречи были короткие, деловые.

Я коротко отчитывался перед ним. Происходило это от его великолепных глаз, от которых немыслимо было уйти. В такие глаза заглядывать время от времени необходимо, чтобы правильнее держать курс, не сбиваться в сторону. Возможно, он знал это и поэтому спокойно и властно выслушивал мои «рапорты». Он был велико-

лепным хозяином и полководцем литературы и искусств.

Маяковского я не преодолевал, не завоевывал, как Пушкина. К Пушкину я шел как бы в глубину лет, шел в девятнадцатый век, а потом, приблизившись к нему, посмотрев ему в глаза, где-то там прочтя его стихи, я возвращался с поэтом обратно — к нам, в двадцатый век. И я знал, что вот именно такой Пушкин нужен нам. А за Маяковским не нужно было уходить в глубь веков, он был весь в двадцатом — наш современник. Учиться понимать Маяковского мне было незачем. В своей биографии поэт сказал, что у него не было вопроса, принимать или не принимать революцию. «Моя Революция!» Так и у меня не было вопроса — принимать или не принимать Маяковского. Революция — моя! Маяковский — мой! Существуют голоса, которым не только веришь, они не только убеждают, но и воспитывают. Таким поэтическим голосом обладал Маяковский.

Выше я говорил, что мое поколение — первые читатели Маяковского. Но это еще не все: многие из нас — первые исполнители его стихов, той «слышимой» литературы, рождение которой отметил Маяковский.

Я хочу сказать, что стихи Маяковского с исключительной наглядностью несут в себе черты поэзии «слышимой». Его произведения написаны скорее звуком, нежели пером. И следует особо отметить, что перо это отнюдь не лишено тонких ритмических и трудноуловимых полутонов, которыми, как многие полагают, отмечена поэзия девятнадцатого века, а не двадцатого.

Я беру на себя смелость утверждать обратное. Я уже говорил о вокальности своего исполнения пушкинских стихов. В поэзии Маяковского вокальность еще явственнее, еще шире, свободнее и, как я уже отмечал, просторнее строй его стиха. Разнообразие ритмов — безмерно; ритмическая структура стихов рождается из самой жизни — иногда из той обстановки, в которой находится поэт, а иногда из тех событий, о которых он пишет.

В статье «Как делать стихи» он говорит, что «ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова».

А ниже он говорит о рождении ритма: «Ритм может принесть и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра.

Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки».

Из вышеприведенного признания поэта можно сделать интересные выводы: поэт, как тончайше вибрирующий инструмент, отзывается на среду, в которой он находится. На мой взгляд, это интересно не только поэтам, но и исполнителям. Услышав его стихи, можно сразу сказать: это написано Маяковским — до того его поэзия своеобразна. Попробуем взять два его стиха и поставить рядом, например стихотворение «Мелкая философия на глубоких местах» и стихотворение «Тропики».

Первое:

Превращусь
                    не в Толсто́го, так в то́лстого,—
ем,
    пишу,
            от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Второе:

Смотрю:
            вот это —
                        тропики.
Всю жизнь
                вдыхаю наново я.
А поезд
            прет торопкий
сквозь пальмы
                    сквозь банановые.

Явственно слышно, что ритмы этих двух стихов очень различны. В первом случае поэт находится на океанском пароходе. Огромное водное пространство, не видно берегов: небо и вода куда ни глянь. Пароход тихо

колышется на зеркальной глади океана. Возникает ритм, соответствующий той обстановке, в которой сейчас находится поэт. Слова медленно ворочаются: «Превра-щусь» — и медленно ложатся друг за другом в цепи строчки.

В них словно слышится медленное покачивание большого океанского парохода.

Во втором примере — Маяковский в экспрессе. Поезд мчит его сквозь тропический лес. В ритме стихов слышится стук колес.

А в первом примере строчка почти прозаическая, повествовательная, плавная:

Превращусь
                    не в Толсто́го, так в то́лстого,—
ем,
   пишу,
          от жары балда —

медленное покачивание вправо и влево.

Вот характер ритма двух строф из различных стихов Маяковского.

Но и внутри стиха, в соответствии с развитием содержания и характером повествования, ритмический рисунок меняется.

Например, в первом еще более замедляется:

Годы — чайки.
                    Вылетят в ряд —
и в воду —
               брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
                    В сущности говоря,
где птички?

Здесь слышится раздумчивая, неторопливая мысль, состояние покоя (поэт засмотрелся).

«Годы (даже самое тире говорит о паузе) — чайки. Вылетят в ряд — (снова пауза)

и в воду —
               брюшко рыбешкой пичкать.

Скрылись чайки (молчите сколько вам угодно; будет правильное состояние).

В сущности говоря, где птички?»

Океан смирный, он усыпляет поэта своим покоем. Недаром выше поэт сообщает:

Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.

Вот этот присмиревший океан и породил своеобразный и ни с чем не сравнимый ритм.

Правдивостью, точностью состояний и оформлением их в точный ритм стиха поразительно впечатляет поэзия Маяковского.

Это качество «слышимой» поэзии очень ценно для исполнителя его произведений.

В другом стихотворении («Тропики»):

Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я —
и день
и лес исчез
без вечера
и без
предупрежденья.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?

Поезд явно убыстряет свой бег, перестуки колес учащаются, вырисовывается новая мелодия. Она определяет ритм приведенных выше строчек.

Все это и называет Маяковский — организовать движение, организовать звуки вокруг себя, «находя ихний характер, ихние особенности». Организует поэт окружающий его мир точным ритмом. У него ритм — это природа явлений. И у каждого стихотворения Маяковского свой, особый, единственный ритм.

Дальше Маяковский пишет в той же статье: «Ритм — это основная сила, основная энергия стиха».

Каждая идея, каждая мысль, каждое событие, любое чувство обладают присущим им ритмом.

В каждом стихотворении Маяковского правда мысли

и чувства соответствуют правде ритма. В этом, можно сказать, единство формы и содержания его поэзии.

Он берет картины, сюжеты из жизни в их неповторимом естестве, с точным, только им присущим ритмом. Об этом поэт предельно ясно сказал в своем замечательном исследовании «Как делать стихи». И я уверен, что под этими положениями могли бы подписаться все великие поэты мира.

«Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих — это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся»,— пишет Маяковский.

Я много говорил о зримости слова. Применительно к поэзии Маяковского можно сказать, что в его стихе живут зримые образы такой силы, что они как бы навсегда фиксируют тот день и тот час, о которых рассказывает поэт.

Маяковский умел смотреть и запоминать. Запечатленное в его памяти сохранялось навсегда, чтобы потом воплотиться в зримом слове.

Маяковский сам неоднократно говорит об этом. Он был на Красной площади в тот день, когда народ прощался с В. И. Лениным.

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.

В стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии» Маяковский подчеркивает эту способность подлинной поэзии «возвращать время»:

Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!

Этой способностью слышимо и зримо закреплять события, жизнь своего времени в огромной степени обладал поэт.

Маяковский пришел в поэзию из художественных мастерских. Он был очень хорошим рисовальщиком и

неплохим живописцем. Найдя себя окончательно в поэзии, он сохранил нерастраченный талант живописца. И этот глаз живописца обогатил его поэзию прекрасным ви́дением мира. Этой особенности творчества Маяковского нельзя исполнителю не заметить. Более того, это нужно также донести до слушателя. Зримое слово Маяковского очень помогало мне в моей работе.

Зримость слова можно найти в каждом его произведении. Оно требует особой приглядки: как зримое переходит в звучащее слово? Мы, исполнители, прежде всего слышим стихи, а уже после видим. Мне приходилось специально развивать в себе чувство видения, только тогда появлялась так называемая выразительность чтения. Живописать надо звуком. Никуда от этого не деться. Звук — это плацдарм нашего искусства. Звуком рисуешь видимое слово, звуком чувствуешь, страдаешь, восхищаешься и звуком же рассказываешь о месте действия, о мире, природе, небе, морях и реках. И конечно же о людях.

Мы много раз, применительно к творчеству Маяковского, говорим: «у него разговорная интонация». А откуда она берется? На мой взгляд, все оттуда же — из ритмических характеристик разворачивающихся вокруг него событий и его отношения к этим событиям.

Отметим: не только ритм, но и отношение, то есть глаз советского художника.

Таким образом, ритм входит в систему мировоззрения поэта. Ритм подчеркивает отношение поэта к явлениям. Идейный смысл стиха оформляется ритмом. Одно дело прочесть стихи глазами. А совсем другое — попробовать исполнять. У нас особое отношение к звучащему слову. Мы знаем, проверив на практике, что звучащее слово обладает огромной дополнительной силой. Оно как бы проявляет негатив. Вступают в силу все компоненты стиха в их неразрывном единстве: и содержание, и система образов, и ритм.

Тщательная подготовка стиха к чтению, так называемый застольный период — процесс, чрезвычайно обогащающий исполнителя. В этом процессе есть особое, очень близкое общение с автором. Если стих увлекает, производит большое впечатление, то сквозь него всегда начинает просвечивать живой человек — автор. И чем больше увлекаешься стихом, тем он явственнее вхо-

дит в твое сознание, потому что в стихе прочитываются мысли автора, его чувства. Они обычно ключ к исполнению.

Чуть вздыхает волна
                                        и, вторя ей,
ветерок
              над Евпаторией.

Я постарался пронизать эти стихи солнечными лучами и весельем, таким весельем, которое охватывает человека при виде моря: солнце — и море блестит, играет и трепещет в солнечных бликах,— и вот эти блики, эту игру солнца и воды мне нужно положить на слова, нарисовать каждый предмет до его видимости. Здесь может быть разговор о подаче детали. Вы читаете:

Всюду розы
                  на ножках тонких.

На первый взгляд, что особенного? Однако отработка детали играет очень важную роль в подаче стиха. Именно применительно к такого рода задаче, как работать над штрихом,— можно сказать, что тут-то и возникают так называемые чувство слова и высокое мастерство его подачи. Из таких деталей, собственно, и складывается гармоническая палитра художника-исполнителя. Отсюда, из этой чрезвычайно тонкой палитры, и возникает раскрытие поэтического образа.

Я лично решал эту задачу так. Маяковский, как мне казалось, с какой-то веселой и нежной гордостью ставит розу на тонкую ножку. У меня эта роза ассоциировалась с онегинскими строчками:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола...

Почему же именно эти строки приходили в голову? Упругость движения балетной ножки, легкость ее связывались с интонацией Маяковского.

Конечно, трудно передать словами звучание и его рисунок, но слово «розы» я произносил, как бы подбра-

сывая вверх и разворачивая все ее лепестки, от этого раскатистое «р» в сочетании с затянутым «о», и затем пауза, как всегда бывает после взлета гимнаста или балерины, то есть полет и приземление. И затем очень насыщенное гордостью «на ножках тонких» — посмотрите, мол, как она хороша, стройна эта роза!

Отработанная деталь дает яркий штрих, сверкает поверх стиха, запоминается и придает блеск исполнению.

Слово — это бесконечно просторное и емкое явление. Со словом надо уметь обращаться, заставлять его работать на свою актерскую задачу. Поэтому понятие «выразительное чтение» как будто ничего и не открывает, оно уже примелькалось и потеряло свою весомость, а на самом деле оно содержит в себе всю гамму мастерства и умения произносить, и чем выше это умение, тем выше мастерство исполнителя. Слово — это земля, на которой мастер художественного чтения растит все, что считает нужным. Подача деталей играет огромную роль в нашем искусстве. Она тесным образом связана с проблемой интерпретации, то есть с вопросом отношения исполнителя к произведению.

Но в какой же степени художник волен в своих намерениях, в какой мере он имеет право привносить в художественное произведение свое «я»?

Поговорим об этом подробно.

Я работаю над произведением, читаю его и получаю первое впечатление от автора. Некоторые места меня больше волнуют, а некоторые я как бы опускаю, то есть я их недоглядел. Потом я оставляю произведение. Я еще не знаю его наизусть, у меня лишь общее представление о нем. Но вот я спустя некоторое время снова к нему возвращаюсь, вторично его читаю, и вдруг те места, которые я недоглядел, которые казались мне второстепенными, они-то и приводят меня к целому ряду новых соображений.

И все-таки, существует ли главное и основное, от чего следует отталкиваться? Есть ли общий ключ к решению задачи? Несомненно, идея произведения является тем солнечным светом, который должен засиять в исполнении художника.

Но путь, которым идешь, когда несешь и растишь в себе идею, не прост: по дороге встречается очень много препятствий. Задача в том, чтобы найти наикратчай-

шую дорогу. Что же такое наикратчайшая дорога и что такое окольные пути в работе над произведением?

Допустим, что идея художественного произведения — «читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза».

Это Маяковский говорит о себе. Вместе с тем — это и обо всех советских людях. Поэт действует в определенной обстановке. Исполнитель, читая произведение, рассказывает о Маяковском, что он делает:

...и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.

Поэт гордится своим высоким званием советского гражданина. Он счастлив, он высоко поднимает свой «молоткастый, серпастый, советский паспорт».

С огромным достоинством ведет себя Маяковский в международном вагоне, где хозяйничают грубые руки жандармов и сыщиков. Исполнитель гордится им, ему нравится, как поэт действует и как он разговаривает. Можно и так исполнять, но это я назову окольным путем.

Наикратчайший же путь будет: я гражданин Советского Союза и хочу действовать, как действует поэт. Мне кажется, тогда загорится та искра, появится тот трепет, в котором сливаются сердца: сердце поэта и сердце советского исполнителя. И свет идеи засияет, быть может, еще более ярко, потому что сливаются в единый образ поэт и исполнитель. И тогда стихи Маяковского прозвучат с особой силой, ибо это будет согласное биение двух сердец, а когда сердца бьются созвучно, это не может не отозваться в зрительном зале биением сотен и сотен сердец.

Творчество Маяковского многообразно — не было темы, которую бы он не затронул в своих стихах, поэмах. У такого глубочайшего реалиста, как Маяковский, поразительна струя фантастического начала, пробивающаяся во многих его произведениях. Умение, как говорится, стреножить и подчинить фантастическое реальному удивительно. Он хозяин не только планеты, но и вселенной, гуляет туда и обратно «свободно и раскованно», и все ради того, чтобы, например, в «Бане» из коммунизма пришла Фосфорическая женщина, чтобы

Присыпкина разморозили люди, живущие уже почти в коммунизме, от чего его пьесы приобретают такой размах мечты и реальности, от которого дух захватывает.

Говорят о гиперболичности его поэтических образов, но, кроме этого, существует гиперболический размах его мысли. Маяковский как-то по-особому мыслит. Много и долго можно говорить об оригинальности его ума. Стрелы его мысли, не считаясь ни с календарем, ни с трехмерным пространством, разят умно и точно, и на конце стрелы всегда отточенная, ясная, большая идея советского художника. Возьмем «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». К этому стиху привыкли. В нем все кажется реальным, проще простого, но, помнится, когда я впервые прочел «Необычайное приключение...», оно ошеломило дерзостью сюжета и красотой мысли: поэт и солнце — два друга. Одно — светит, другой — поет. Я уже говорил также о его «Мистерии-буфф». Не буду повторяться.

Вспомним «Про это», где он в последней части описывает мастерскую человечьих воскрешений. В его фантазии есть тот размах, которым определяется сознание современного человека, дерзновенно проникающего в новые области науки, строящего коммунизм.

Мы находим у Маяковского все эти черты новатора-революционера, потому что в нем велика жажда делами и творчеством приблизить мечту, которую мы осуществляем.

Грудой дел,
          суматохой явлений
день отошел,
          постепенно стемнев.
Двое в комнате:
                    я
                    и Ленин —
фотографией
          на белой стене.

Вот так же стояла передо мной много лет поэма «Владимир Ильич Ленин».

В гениальных поэмах «В. И. Ленин» и «Хорошо!» Маяковский — блестящий летописец наших дней — разговаривает как историк. Его «я» выступает здесь от миллионов людей, очевидцев и участников исторических событий, здесь бьется многомиллионная боль сердец, потерявших вождя (поэма «В. И. Ленин»), и здесь

представлена вся история партии, зарождение марксистского учения, развитие капитализма в России, нарастание революционной борьбы, этап за этапом в их исторической последовательности, и, наконец, эпопея Октябрьской революции, отраженная и в поэме «В. И. Ленин», и в поэме «Хорошо!». Эти два произведения — гигантский памятник делам Коммунистической партии. Хочется сказать: очень складно получилось, что события, открывшие новую эру в истории человечества, нашли своего поэта. Заговорил действительно гениальный поэт о действительно гениальном времени.

Поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» — это как бы первая и вторая части единого эпического произведения, от Маркса и до наших дней.

...знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.

Страницы этой поэмы, посвященные развитию капитализма в России и борьбе рабочего класса, звучат так же торжественно и величественно, как и страницы «Манифеста Коммунистической партии». Дыхание гениального произведения Маркса и Энгельса окрасило, положило свою мелодию на строфы поэмы «В. И. Ленин». И казалось мне порой, что, не впитав в себя музыкального строя первоисточника, вдохновившего поэта, пожалуй, и не найдешь настоящего ключа к их исполнению. Без знания «родословной» — я имею в виду труды классиков марксизма-ленинизма — трудно наживать правильное актерское состояние и решать творческие задачи.

Не мог Маяковский так вот, из воздуха написать эти поэмы, как бы он ни был гениален. Маяковский еще в юности впитывал в себя революционные идеи, читал подпольную литературу, так что, можно сказать, нас с вами он, конечно, обогнал в этом вопросе. Я только в 1925 году прочел впервые «Манифест» и ленинское «Что делать?», а он-то уж, наверное, читал их еще будучи юношей, и, конечно, его ухо поэта уловило высокое поэтическое дыхание этих произведений революцион-

ной мысли. Почему я об этом пишу? Потому что я это проверил на себе — я учуял перекличку и родственность стилей. Интересно поговорить также о проникновении революционной песни в стихи и, в частности, в поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». Об этом можно написать большое исследование. В статье Маяковского «Как делать стихи» есть такое место: «Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых — короткие. Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с

Вы жертвою пали в борьбе роковой...—

а вторая — с

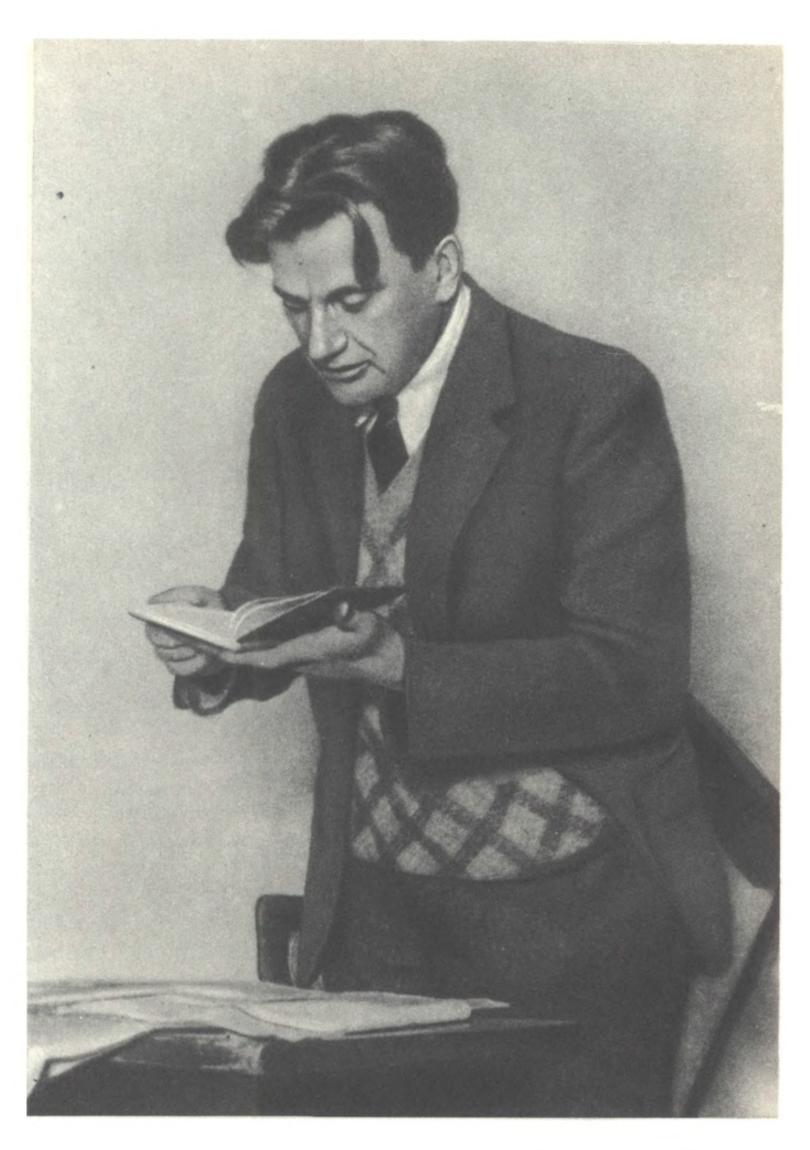
Отречемся от старого мира...

Курьезно. Но, честное слово, это так».

Маяковский, как видите, по-рабочему, с большой деловитостью, кратко говорит об этом, но все же этот секрет его творческой лаборатории чрезвычайно интересен. Я лично много раз улавливал в ритме и как бы вторым планом звучание разных песен; при углубленной работе над стихом это просвечивало. Так, например, исполняя главы из поэмы «В. И. Ленин», в которых поэт описывает смерть вождя и всенародное горе, я чувствовал в их ритме присутствие печальных траурных мелодий. Привыкнув к оптимистическим нотам Маяковского, мы, исполнители, даже здесь, в этих главах, боимся отдаться большому чувству народной скорби, боимся отражать в поступи стиха ту медлительность и скорбность движения народных масс, идущих за гробом Ленина. И порой не слышишь в исполнении этих глав простой, сдержанной, но все же большой печали, а без этого разве можно прочесть эти главы Маяковского?

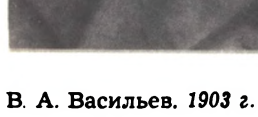
Большая простота нужна, ненаигранность в горе. Надо ронять слова медленно, как слезы, сдержанно и искренне. Конечно, к каждой главе надо найти свой ключ. Тем и замечательно искусство Маяковского, что он всюду своим ухом поэта вылавливал характер событий и даже его звуковой фон.

Разве вы не чувствуете порывов ветра в стихах, описывающих взятие Зимнего? Например:



В. В. Маяковский. ***1930 г.***





В. А. Васильев. *1903 г.*



Н. П. Смольнякова-Махарадзе. *1901 г.*

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрáми,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.

Здесь фонетический ряд упирается в мощные звуки как бы завывающего ветра:

дул
дули
дуют.

Буква «у» во всех трех случаях работает великолепно. Дело исполнителя развернуть их до органной звучности.

Маяковский любит паузу. Его разбитая строчка — своеобразный руководитель для исполнителя. Просто читателя она сбивает с толку. Маяковскому нужен воздух между словами. Знаки препинания его не устраивали, ему их не хватало.

Разбивая строчку, Маяковский хочет дать понять, что существует известная протяженность самого слова — исполнительская протяженность, то есть он, будучи прекрасным исполнителем своих стихов, слышит свое слово звучащим. И существует известная пауза между словами. Иногда пауза длиннее, иногда — короче, но всегда его слова живут просторно.

Если сравнивать поэтов с музыкальными инструментами, то ближе всего голос Маяковского (на мой субъективный взгляд) к органному звучанию. Учиться читать стихи можно даже у такого архаического инструмента, как орган. Я учился и у органа, и у скрипки, и у пароходных гудков. Скажут: это дело субъективное, а на мой взгляд, слушать склянки на пароходе — дело полезное и для поэта и для артиста. Маяковский слушал, я в этом уверен.

Поэзия Маяковского-трибуна, Маяковского-агитатора родилась в огне Октябрьской революции. Это не

16 Заказ 1231

литературная метафора, а попытка наиболее точно определить внутреннее содержание всего творчества Маяковского. Именно Октябрьская революция окончательно сформировала его как поэта — революционера и новатора, у которого новое идейное содержание обусловило и новую форму стиха. Поэтому произведения Маяковского имеют право говорить от имени социалистической эпохи, от имени нескольких поколений, создававших и творивших в эту эпоху.

Страстное отношение Маяковского к своим поэтическим темам всегда тесно связывало поэта с его аудиторией. Голос Маяковского никогда не был бесстрастным. Он писал только о том, что его глубоко волновало, и это волнение передавалось аудитории, раскалывая ее на друзей и недругов не только самого поэта, но и того нового, что внесла наша эпоха в человеческую историю.

Маяковский первый, со смелостью истинного революционера, широко раздвинул рамки привычных поэтических тем. И как часто, возвращаясь домой после выступлений Маяковского в Политехническом музее, мы уносили с собой частицу его беспокойства, жажду настоящей, всепоглощающей творческой работы.

1919—1921 годы. В красноармейских аудиториях, агитпоездах, на митингах и собраниях я исполняю «Войну и мир», «Необычайное приключение...», «Хорошее отношение к лошадям», «150 миллионов» и ряд лирических произведений Маяковского. Уже тогда я включаю в свой репертуар «Флейту-позвоночник» и «Облако в штанах».

1925 год. Исполняю композицию из произведений Маяковского, куда частично входит его поэма «Ленин». В процессе работы над поэмой совместно с режиссером Е. Е. Поповой устанавливаем, что Маяковский тщательно изучил «Коммунистический манифест» и «Что делать?» Ленина, что поэма, по существу, построена на этом материале. Это дало нам возможность свободно включить в композицию отрывки из «Коммунистического манифеста» и основные положения работы Ленина «Что делать?».

В дальнейшем Маяковский становится ведущим поэтом моих программ. Его произведения прекрасно сочетаются с марксистско-ленинской литературой. Ритмика его стихов как бы цементирует публицистический

материал. Голос самого поэта звучал совершеннее самых лучших исполнителей его произведений.

Маяковский, как мне кажется, был не только великим поэтом, но и гениальным актером-трибуном, талантливо пропагандировавшим свои очень новые и оригинальные по форме произведения. После смерти поэта я почувствовал внутреннюю потребность и обязанность не дать замолчать его оборвавшемуся голосу, который должен звучать и жить по-прежнему с той же силой, что и при его жизни.

В чем своеобразие моего исполнения, в чем я отхожу от Маяковского и где я к нему близок? Родственность — в сохранении мной стиха Маяковского, его поэтических интонаций, лишенных бытовой окраски, в сохранении своеобразного, свойственного одному Маяковскому ритма стихов и того органного звучания его поэзии, которым не так легко овладеть (достаточно сказать, что только теперь, в результате почти двадцатилетней работы над стихом Маяковского, мы, может быть, начинаем приближаться к этой изумительной по красоте и торжественности органной звучности его поэзии). Поэтический голос Маяковского необычен по своей торжественной силе и полон величия. Если сопоставить силу поэтического звучания различных русских поэтов, (я имею в виду своеобразие их поэтических голосов, благодаря которому мы отличаем, например, Пушкина от Державина), то стих Маяковского по своему звучанию ближе всего к державинскому. Недаром по какой-то неизвестной нам ассоциации Маяковский однажды вспоминает в своих стихах Державина:

Хожу меж извозчиков.
Шляпу нá нос.
Торжественней, чем строчка державинских од.
День еще —
и один останусь
я,
медлительный и вдумчивый пешеход.

В лирических произведениях Маяковского мы несколько отходим от манеры исполнения самого поэта. Мы ищем здесь большей мягкости и нежности, потому что у этого «горлана-главаря» было большое и очень нежное человеческое сердце. Исполняя лирические стихи Маяковского, я пытаюсь показать своей аудито-

рии, что читать этого поэта вовсе не следует громко и крикливо. Гораздо важнее донести до слушателей его мысли и чувства. Аудитория должна, например, почувствовать, как часто Маяковский в своих стихах задумывается, иногда предается глубоким лирическим размышлениям. И поэтому бешеный темп исполнения стихов Маяковского (о, этот пресловутый темперамент!) совсем не обязателен. Исполнителю следует искать краски для всех оттенков чувств и эмоций, заложенных в стихах поэта, а не громыхать и греметь от начала до конца.

Иногда перед исполнителем произведений Маяковского встает вопрос: что именно исполнять из его многообразного поэтического наследства? Нам кажется, что это зависит прежде всего от индивидуальности исполнителя, его отношения к тому или иному произведению Маяковского. Нельзя правильно исполнять стихи Маяковского и уж совершенно невозможно создать композицию из его произведений, не осмыслив всего богатейшего наследства поэта...

Е. Ратманова-Кольцова

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

«МЫ НЕ ВЕРИМ»

Маяковский, собирая материалы для своей выставки «20 лет работы», часто наведывался и в издательство «Огонек». Располагаясь в кабинете редактора, он просматривал журналы и газеты за минувшие годы. Кольцов сам показывал ему зимой 1929 года рукописи, фотографии, рисунки, объявления, письма читателей и всяческие архивные материалы издательства.

Перелистывая журнальные фолианты, они читали текст и рассматривали снимки, и выражение не схожих чертами лиц собеседников менялось, отражая свет и тени прошлого. Они переживали с большой силой чувств то, что не забыть, и вспоминали далекое, что забыто. Это было совместное путешествие в прожитые годы.

Стороннего человека, непричастного к тайнам полиграфического искусства, удивило бы, что два взрослых, серьезных человека подчас принимаются осторожно трогать бумагу старых журналов, пожелтелую и ломкую, как сухие листья. При этом Кольцов доставал новенький, еще пахнущий типографской краской журнал, или журнальную верстку, или газетные полосы, и собеседники заводили тогда разговор о нашей бумажной промышленности, о ее недалеком будущем, о мастерах полиграфии, о свойствах бумаги хранить во времени оттиск типографского набора, цветовую гамму красок.

В сумерки редактор включал сразу все лампы, они сияли на письменном столе, подобно автомобильным фарам, освещающим дорогу путешественникам...

Когда Маяковский выступал в 1923 году в Москве с чтением стихотворения «Мы не верим», рабочие просили достать первый номер журнала «Огонек», именно тот самый, которым 1 апреля 1923 года началось издание советского массового иллюстрированного еженедельника.

— Надо отнести товарищам журнал. Не обеднеете душой,— обратился поэт к редактору.— Я дал слово. Им нужен снимок Ленина.

— Тираж «Огонька» — пятьдесят тысяч. Тираж мгновенно разошелся. Не рычите на меня, Володя... Знаю, что у стихов «Мы не верим» не пятьдесят тысяч, а миллионы соавторов. Я тоже ваш соавтор.

Кольцов сказал «Володя», так назвав поэта, которого привычно называл Владимиром Владимировичем; иначе сказать тогда он не мог, и Маяковский это понял. «Спасибо, Колèчкин»,— отозвался он, забирая сразу с собой несколько экземпляров журнала, добытых в редакторском запаснике.

На первой странице этого журнала были напечатаны стихи Маяковского «Мы не верим» и портрет Владимира Ильича, снятого в домашней обстановке в Горках в 1922 году.

Старинный диван и кресла перед маленьким овальным столом образуют уголок комнаты в Горках. Возле стола сидит Ленин, закинув ногу на ногу, руки покоятся на боковинках плетеного кресла. Момент отдыха, не отделимого от раздумья. Выражение лица Ленина непроницаемо-спокойное, бородка подстрижена, как всегда, и щеки выбриты. Одет он в повседневный костюм с большими нагрудными карманами, хорошо знакомый по прежним снимкам. На столе — объемистые пачки книг, брошюр и журналов.

14 марта 1923 года было опубликовано правительственное сообщение об ухудшении здоровья Ленина. Медицинские бюллетени печатались в газетах, вывешивались повсюду — на улицах, на заводах, в сельсоветах и учреждениях,— и все тревожно ждали утренних и вечерних врачебных сводок из Кремля. 15 марта был напечатан в газетах медицинский бюллетень № 3 о состоянии здоровья Ленина: «Затруднение речи, слабость правой руки и правой ноги в том же положении. Общее со-

стояние здоровья лучше. Температура 37,0, пульс 90 в минуту, ровный и хорошего наполнения».

Знакомые и незнакомые люди повторяли друг другу слова и цифры медицинских бюллетеней. Казалось, не медики, а сами эти встревоженные люди, миллионы людей слушают, как бьется сердце Ленина, как легкие его вбирают воздух. Не верили люди, не хотели поверить, что теперешний приступ тяжелой болезни угрожает жизни Владимира Ильича, что Ленин не может ни ходить, ни говорить. И повсюду — в редакциях и библиотеках, в учреждениях и дома — снова читали и перечитывали статьи Ленина, написанные в зимнее время, недавно, совсем недавно.

В марте Маяковский однажды при встрече с Кольцовым сказал: «Сегодня утром у Владимира Ильича пульс 108, дыхание 30», и повторил потом эти цифры медицинского бюллетеня, и Кольцову было видно, как поэт ищет и нащупывает пульс на своей левой руке. Затем Маяковский пошел по лестнице в редакцию «Известий», грузно шагая через ступени и повторяя что-то про себя, то ли эти цифры, то ли слова, которые складывались в строки новых стихов. Рукав пальто был подвернут, и запястье громадной руки обнажено.

Высоко в небе сияло весеннее солнце, таяли сугробы на московских мостовых, и звенели в садах вешние ручьистые воды. Крохотные ребятишки, мокроногие, обмотанные башлыками, пускали кораблики и поражались, что взрослые ни за что не дают газету, чтобы смастерить кораблик, а все говорят и говорят, сбившись вместе, о чем-то очень важном, очень серьезном и невеселом.

Было очень людно во дворе старого дома на Тверской улице, что расположен поблизости от памятника Пушкину. Здесь, в кирпичном многоэтажном флигеле, размещались редакции газет «Правда» и «Известия». Допоздна заходили сюда в марте москвичи и приезжие, в талом снегу посреди длинного двора была протоптана скорыми, тревожными шагами дорожка от незакрываемых ворот до входа в редакции, открытого для каждого человека.

Маяковский будто не слышал, что говорит Кольцов, смотрел на светлое по-весеннему небо и все время крутил в руках коробок спичек. Они встретились подле ру-

лонов бумаги, которые были нагромождены вдоль здания типографии. Курить здесь было нельзя, и пожарный в медной каске озадаченно глядел издали на коробок спичек, вертящийся в руках поэта.

Еще зимой Маяковский обещал для предполагаемого журнала дать свои стихи. Вскоре, когда уже стало достоверно известно, что «Огонек» будет издаваться, он с добродушной насмешливостью рекомендовал молодому редактору «не обзаводиться сотней курьеров, не тревожить самолично ни маму, ни сестер Маяковского, полагаться на слово поэтов». Сказал так потому, что как-то в феврале Кольцов, разыскивая Маяковского по Москве, чтобы узнать, какие именно стихи он даст для «Огонька», нигде не нашел поэта и беседовал доверительно с матерью его, Александрой Алексеевной, и подробно рассказал ей о возникновении нового иллюстрированного еженедельника. И потом, когда-либо позже, заставая Кольцова озабоченным издательскими делами, Маяковский говорил ему: «А почему бы вам, Колèчкин, не посоветоваться сейчас с моей мамой?..»

Люди в типографском дворе переговаривались, тревожно, вопрошающе глядя на тех, кто выходит из подъезда редакций. Маяковский молчал. Кольцову надо было идти в «Правду» на летучку, но он продолжал стоять рядом с поэтом. Вдруг хрустнул спичечный коробок, жестко сдавленный пальцами. Маяковский разжал кулак, и спички посыпались на талую, в солнечных блестках, землю. Нет, лучше не трогать его, не спрашивать ни о чем. Все равно ничего теперь не скажет, когда, казалось, так отчужденно стоит, захваченный мыслями. Пусть думает о своем. Сам скажет со временем все стихами...

— Интересуются, где Шекспир, где Пушкин,— внезапно заговорил Маяковский, словно обрывая мысли, которые накатывались, как волны в прибое.— Великолепно... Скажите, спрашиваю, а вы сами нашли слова? Подходящие слова?.. Знаете, на чем себя теперь ловлю? Прочитал, опять читаю... А вы? Невероятно. Нет...

Маяковский вытащил рывком из кармана газету «Правда», сложенную, как большое солдатское письмо, и, не разворачивая, снова спрятал. Кольцов молчал, волнуясь его волнением.

— Марию Ильиничну не видели? Не появлялась, не

приезжала, не говорили еще с ней? Передайте: «Поэт Маяковский просит записать его на прием, когда Владимир Ильич поправится и будет принимать сограждан». Так вот и скажите. Понятно? Или лучше письмо Марии Ильиничне написать...

— Я скажу все Марии Ильиничне. Скажу, когда увидимся, но когда — не знаю. Ее нет в редакции.

— Я сам знаю, что Мария Ильинична рядом с Лениным. Но вы, пожалуйста, все передайте, когда с ней увидитесь.

— Конечно, я скажу все так, как меня вы просили.

— Хорошо... Как вы думаете, когда Мария Ильинична приедет в редакцию?

— Не знаю...

Кольцов тронул рукой плечо Маяковского, и вовсе не было странным или смешным, что человек маленького роста, в длиннополой шубе, в запотевших очках, вдруг вытянулся, приподнялся на цыпочках, чтобы положить руку на плечо рослого, очень рослого человека. Жест был ободряющий и теплый.

— Не знаю, когда приедет Мария Ильинична... Но верьте, Володя, я все точно скажу Марии Ильиничне,— повторил Кольцов и пошел очень быстро вдоль бумажных рулонов в редакцию на летучку.

ОТВЕТНЫЕ СЛОВА

Маяковский выслушал, а потом сейчас же попросил все снова рассказать. Кольцов повторил все, хотя ясно видел, что так внимательно и напряженно поэт еще никогда его не слушал.

Сызнова повторил он поэту разговор с сестрой Ленина. Мария Ильинична приезжала в Москву из Горок, и он смог тогда передать ей просьбу Маяковского о встрече с Лениным.

Кольцов старался говорить спокойно и, воспроизводя разговор, вдруг замолчал, как тогда в разговоре Мария Ильинична, и потом только после этого мгновенного, казавшегося ему тогда бесконечным молчания произнес ответные ее слова:

«Владимир Ильич нашел бы время, конечно, побеседовать с поэтом Маяковским. Разве сомневаетесь в

этом? Прошу вас, скажите товарищу Маяковскому, передайте, что...— Мария Ильинична замолчала на мгновение и потом произнесла: — Мы надеемся... Скажите — мы надеемся».

МАТЬ ПОЭТА

Когда именно в самом начале двадцатых годов была такая беседа с Александрой Алексеевной — не сказал Маяковский. Он только рассказал Кольцову, что Александра Алексеевна настаивала тогда как на самом неотложном: «Поговорить с Лениным надо тебе, Володя».

Об этой своей беседе с матерью Маяковский рассказал Кольцову впервые только тогда, когда осенью в 1923 году справлялся у Кольцова, нет ли новых вестей лично для него, поэта, от Марии Ильиничны.

Здоровье Ленина осенью стало лучше. Он даже приезжал на автомобиле из Горок в Москву. Тех людей, которым удалось повидать Ленина во время его пребывания в Москве, называли счастливцами, очень им завидовали. Москва радостно шумела, словно громадный улей. Знакомые и незнакомые друг другу люди рассказывали:

— Ленин был в Кремле...

— Здоровался с красноармейцами...

— Улыбался...

— Заходил в свой кабинет...

— Заглянул в зал заседаний Совнаркома...

— Был у себя на квартире...

— Проезжал по сельскохозяйственной выставке. Всматривался во все.

— Вечером на автомобиле вернулся в Горки.

В двадцатых числах октября Маяковский очень поздно вечером позвонил Кольцову домой, в Брюсовский переулок, где в старом флигеле жили правдисты. Голос поэта звучал в телефонной трубке ясно, отчетливо, громко.

— Ленин был в своем кабинете,— подтвердил Маяковский и, отвечая мне, добавил, что ему, Маяковскому, не посчастливилось хоть случайно повидать Ленина на московских улицах.— Скажите Михаилу Ефимовичу, когда придет домой, что я звонил, разыскиваю его,—

говорил Маяковский и потребовал, чтобы я все записала, несмотря на мои уверения, что в нашей настольной книжке есть, конечно, номера телефонов, которые мы прекрасно знаем. Поэт даже рассердился на меня и повторил вразумительно, словно диктуя малограмотной: — Запишите, что если у Кольцова будет срочное — меня вы понимаете, вы не спите? — если есть срочное — понятно? — надо передать об этом в любое время на Красную Пресню сестрам Людмиле и Ольге Владимировнам и маме Александре Алексеевне. Записали? Спасибо... В чем дело? Кольцов знает, в чем дело... Доброй ночи,— произнес Маяковский и положил трубку.

Он даже не дослушал мои заверения, что все записала, что слово «срочное» написала очень большими буквами, понимая, что неспроста потребовал записать его просьбу Маяковский и что Кольцов, наверно, должен сказать ему что-то очень важное и значительное.

Тогда, осенью, Маяковский и рассказал Кольцову, что советовала сыну Александра Алексеевна. Он только не рассказал, о чем хотел говорить с Лениным.

Гораздо позже, спустя несколько лет, поэт снова упомянул о словах своей матери.

В 1929 году январским утром, просматривая дома газеты, Кольцов прочитал в «Комсомольской правде» стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Кольцов стал звонить по телефону Маяковскому, но не застал его. Встретившись в издательстве «Правда», вместо приветствия он сразу обратился к поэту:

— Вот мы все услышали теперь ваш разговор с товарищем Лениным.

Маяковский ничуть не поразился, что Кольцов сказал «услышали». Он даже по-необычному обрадовался, оглядел всех и переспросил:

— Услышали?

И все, кто был на лестнице возле лифта в издательстве «Правда», сказали Маяковскому:

— Да, услышали.

А в декабре 1929 года, занимаясь сбором материала для своей итоговой выставки «20 лет работы», Маяковский в редакции «Огонька» просматривал старые комплекты журналов и газет.

И, перелистывая страницы, Маяковский снова вслух подумал:

— Мне надо было пойти к Ленину. Мама была права как никто на свете.

Сказанное поэтом Кольцов хотел привести в своих воспоминаниях. В тридцатые годы перед отъездом в Испанию он собирался написать литературный портрет Маяковского.

ПИСЬМА

Когда был издан первый номер «Огонька» с портретом Владимира Ильича, снятого в Горках, и стихотворением Маяковского «Мы не верим», в редакцию стали поступать отовсюду письма. Эхо «Мы не верим» раскатывалось по стране.

Молодой редактор журнала показывал поэту все эти письма. Так повелось, что на всем протяжении двадцатых годов Кольцов собирал письма читателей, чтобы знакомить с ними Маяковского. Просматривая почту, которая поступала на его имя в адрес «Правды» или «Огонька», он не забывал отобрать письма для поэта.

Обычай знакомить Маяковского с письмами читателей не нарушался, если Кольцов уезжал из Москвы. Этим занимались тогда заменявшие редактора и совместно с ним работавшие со дня возникновения журнала писатель Ефим Зозуля и журналист Леонид Рябинин.

Заходя в издательство, Маяковский привычно интересовался читательскими письмами, которые поступали в редакцию журналов и газет и массовой библиотеки «Огонька». Причем поэта интересовали вовсе не только те письма, которые касались его произведений, но и те, которые вообще затрагивали какую-либо жизненную тему. Читая их, он иногда что-то записывал, а многие письма, с ведома Кольцова, брал с собой.

В 1930 году читатели статьи Маяковского «Прошу слова», напечатанной в «Огоньке», и редакционного сообщения — в мартовском номере журнала — о выставке поэта «20 лет работы» писали, вспоминая прожитые годы, о первом напечатанном в журнале стихотворении поэта. Один из читателей, родом, по всей вероятности, с Украины, вспоминал, обращаясь к Маяковскому:

«...Не ветер срывал и не дождь смывал со стены

нашего сельсовета наклеенный журнал со снимком Владимира Ильича и с вашими стихами «Мы не верим». Вы знаете, конечно, что снимок был для нас важен как недавний, потому что кулаки с троцкистами измышляли слухи, что в живых нет Ленина и потому нет Ленина на партийном съезде. Я предлагаю сейчас для вашей выставки мой старый журнал «Огонек», самый первый номер, хотя бумага очень плохая. Посмотрите, что вокруг стихов «Мы не верим» есть фамилии. На полях журнала тоже есть имена и фамилии. Это подписались в 1923 году весной мои земляки, которые думали заодно с Маяковским...»

Кольцов занес в свою записную книжку фамилию и адрес украинца и слова «не ветер срывал и не дождь смывал», а письмо отдал Маяковскому.

СОВРЕМЕННИКИ

Никогда Маяковский прямо не говорил Кольцову, что пишет новую поэму,— ни в 1923 году, ни в 1924-м.

А писал он тогда поэму «Владимир Ильич Ленин».

Среди шумного многолюдья — будь то на московской улице или в редакции — поэт писал и переписывал строчки поэмы в записной своей книжке, с которой не расставался, и работал, не оповещая всех, что́ пишет.

Но по некоторым встречам Маяковского с Кольцовым можно было полагать, что поэт рассказал Кольцову, что́ пишет. Беседа все время кружилась вокруг имени героя новой поэмы Маяковского, ни единой строчки которой Кольцов в то время еще не прочитал и не слышал.

Кольцов щедро знакомил Маяковского с материалами, письмами, фактами, рассказами современников, своими впечатлениями, связанными с темой, которая выкристаллизовывалась в душе поэта. Журналист рассказывал поэту то, что должно было, казалось, стать строчками им самим начатой в 1923 году книги «Человек из будущего», посвященной жизни Ленина.

— Написать о Ленине должны мы, современники его,— отозвался однажды поэт на слова журналиста.

Это было зимой 1924 года. Писатели подходили вечером к дому, где помещались редакции «Правды» и «Из-

вестий». Было сугробисто и метельно, и фонари были почти сплошь залеплены снегом, и поэту и журналисту подчас приходилось держаться за руки. Метельный шум не мешал им все же разговаривать, они слушали друг друга и говорили на ходу, несмотря на беспощадный встречный ветер и ледяные наросты на мостовой.

— А знаете что... Вы слышите меня?.. Кто-то сейчас пишет там, на другом краю планеты...

Маяковский остановил Кольцова и, не выпуская его руки из своей огромной, вдруг застучал палкой по твердому насту, будто дружески стучался в дверь дома, который он видел сквозь всю громаду планеты на противоположной ее стороне.

— Человек пишет, потому что, поймите, не писать не может... Не будем мешать ему. Пусть пишет свое. Пока еще нас с вами он не зовет. Пойдемте... Возможно, он будет писать еще десять лет! Я тоже буду писать, поверьте, десять лет о Ленине. Пусть не мешают!.. Почему, однако, десять лет, а не всю жизнь? Нелепая оговорка... Пойдемте.

СВЕТ

Летом 1934 года, перед открытием Первого съезда советских писателей, Кольцов перечитывал поэмы Маяковского, многие строчки стихов которого знал наизусть.

Никто не просил его писать о Маяковском, не было никакого договора с издательством, журналом или газетой. Занят был тогда чрезмерно. Но однажды он взял дома с полки книгу Маяковского с авторской надписью «Милому Колѐчкину» и положил на письменный стол. И это было похоже на подписание сокровенного договора.

Он стал набрасывать черновые записи на разрозненных листках бумаги. На странице, которую дал мне напечатать на машинке, подчеркнул красным карандашом слова:

«Хорошо» и Блок. Солдаты».

«Мобилизация чувств».

«Стендаль и Маяковский (кристаллизация)».

«Поездка в Горки».

«Высокое силовое напряжение».

Поздно вечером, воротясь домой из редакции «Правды», Кольцов однажды продиктовал мне черновую запись маленького рассказа.

Он рассказывал, что Маяковский во время чтения стихов не любил никаких световых эффектов, предпочитая, чтобы в зрительном зале было светло, и очень любил выступать днем перед народом на заводах, на площадях, в парках.

Словно днем, было светло в большом клубном зале, когда Маяковский выступал с чтением поэмы «Владимир Ильич Ленин».

И вдруг кто-то невидимый, затаившийся в углу, выключил свет.

Маяковский продолжал читать.

А в большом зале кричали:

— Свет!.. Свет!..

Маяковский продолжал читать так, что каждое слово было слышно каждому.

Потом в зале стало светло, и снова зашелестела бумага, словно колосья в безграничном поле.

И нежданно послышались просительные голоса:

— Маяковский, повторите!

И снова поэт произнес то, что читал, когда погас свет.

Люди записывали слова и сверяли друг у друга записанное.

Новая поэма еще не была напечатана, а многие жители Москвы уже знали наизусть ее строчки, записанные рукой, ловящей на лету слова поэта с трибуны.

В ПАРКЕ

Маяковский тогда многих спрашивал обо всем, что было связано с темой его поэмы,— не потому, что сам не знал или сам не пережил вместе с современниками все, о чем он писал в поэме «Владимир Ильич Ленин».

Весною и летом 1924 года с каждой встречей с Маяковским все явственнее, все объемнее, чем в 1923 году, проступала перед Кольцовым тема нового произведения поэта. При каждой встрече Кольцов ждал, что скажет

поэт, о чем спросит, и внутренне тревожился: сможет ли помочь? Еще не все из пережитого отстоялось в слове. Минула первая весна в жизни людей, когда Ленина не было в живых.

Еще в конце января Маяковский позвонил домой Кольцову почти на рассвете и сказал, что надо поскорее встретиться, надо лично поговорить. Повторил, что снова прочитал в «Правде» очерк Кольцова «Последний рейс» и решил сразу позвонить, чтобы не откладывать очень важный для него разговор.

Он просит рассказать о прощании всех людей с Лениным в Горках, о проводах умершего вождя.

А зимою 1927 года, в феврале, Маяковский однажды, по обыкновению своему, зашел в редакцию «Огонька». Поэт тогда спросил Кольцова, знает ли он воспоминания Сорина, последние их строчки. Эти воспоминания В. Сорина («Большой дом») о встречах с Владимиром Ильичем в Горках были недавно напечатаны в «Правде».

Кольцов, думая, что Маяковский станет читать воспоминания, протянул немедля газету, но поэт не взял ее. Ни о чем не спрашивая собеседника, он смотрел на фотографию в «Правде». На ней был запечатлен светлый высокий дом в Горках, окруженный лесным парком.

А потом Маяковский произнес:

— «Зимою в парке стоял глубокий снег. А весною, когда снег сошел, на узкой дорожке, ведущей от большого дома в глубь парка, ясно-ясно проступали борозды и колеи, оставшиеся от кресла, в котором возили по парку больного Ильича. И нельзя было без волнения смотреть на эти следы Ильичева кресла».

Это были последние строчки из напечатанных в «Правде» воспоминаний. Поэт произнес их, как свои собственные.

— Вы были тогда, весною, в Горках? — спросил он.

Не дожидаясь ответа, сказал, что сам он поехал тогда, весною, в Горки. Поэт рассказывал, что он долго ходил один по дорожкам, ведущим от большого дома в глубь парка, нашел скамейку, простую низенькую скамейку, добротно слаженную деревенским плотником. На этой скамейке часто сидел Ленин, работал, писал и, чтобы ветер не унес прочь исписанные листки бумаги, клал на бумагу камешки, собранные им самим или ре-

бятишками окрестных деревень для него на берегу реки Пахры.

Поэт еще сказал, что долго ходил по лесным дорожкам и тропам и смотрел на зеленую листву, которая распустилась или распускается из тех самых почек на ветвях, на которые, вероятно, не раз смотрел в зимнее время Владимир Ильич.

Больше ничего не говорил собеседнику поэт о своей поездке в Горки, и Кольцов не спрашивал его ни о чем. Они только договорились поехать вдвоем в Горки.

Много лет спустя, будучи в Испании, Кольцов однажды знойным днем добрался до стоянки интернациональной бригады. Корреспондент «Правды» пробыл здесь допоздна, беседуя с командирами и бойцами. Вокруг, на мадридской равнине, укрытой в горах, было своеобразное спокойствие, какое бывает подчас перед значительным боем.

Луна в облачном небе иногда светила, словно яркая лампа, и тогда хорошо было заметно мигание усталых век того, кто рядом с тобою. Записная книжка в истертом клеенчатом переплете была раскрыта, и металлический карандашик наготове, и нельзя было понять, почему Кольцов ничего не пишет, почему такое чудно́е лицо у него и очки запотели. А спросить было боязно, и жалко мне было нарушать его необычную сосредоточенность.

Кольцов вслушивался, как поют люди на лесной равнине. Хор мужских голосов, негромкий, но слаженный, пел песню о любви и смерти, о свете более сильном, чем тьма, о взаимной верности и борьбе людей за этот теплый свет в мире. Многие люди пели слова этой антифашистской песни на языке своей страны, но все голоса — испанцев и русских, немцев и французов, американцев, поляков, англичан, венгров и чехов, всех, кто был вместе летней ночью на мадридской равнине в горах перед наступлением,— все голоса были слиты вместе, как листья сродны на ветвях дерева, которое вечно зелено.

Наконец Кольцов стал писать в походной своей книжке. При лунном свете было мне видно, что он стал выводить не слова, а чуть заметные линии и штрихи,

понятные только их автору. Затем Кольцов сокрушенно произнес, что он жалеет, почему не родился живописцем, талантливым, как Репин или Серов. Говоря это, он не переставал вслушиваться в слитное разноязыкое пение бойцов интернациональной бригады.

Будь он художником, продолжал Кольцов, он постарался бы изобразить Маяковского на картине таким, каким знал в то время, когда поэт писал поэму «Владимир Ильич Ленин». А если по возвращении из Испании в Москву сбудется давнишнее заветное желание — издать в Журнально-газетном объединении поэму Маяковского с иллюстрациями, Кольцов будет говорить с художниками и попросит их написать портрет Маяковского, изобразив поэта в лесном парке в Горках, вблизи большого дома, на скамейке.

Говоря обо всем этом, Кольцов добавил, что хорошо бы объявить массовый конкурс художников — молодых и маститых, советских и зарубежных. Причем вполне возможно, что на этом портрете, написанном пока еще никому не ведомым художником, Маяковский будет чем-то похож на Пушкина, сочиняющего свои стихи в лиственном бескрайнем лесу.

Кольцов говорил все это, занося в походную истертую книжку металлическим карандашиком какие-то лаконичные записи, которые потом должны были найти свое раскрытие, когда он стал бы писать воспоминания о современниках и литературный портрет Маяковского. Будучи в Испании, еще до открытия Второго международного конгресса писателей в Валенсии, он вспоминал многие встречи с Маяковским и вспоминал встречу с ним февральским полднем 1927 года.

Они договорились тогда поехать вместе в Горки, и Маяковский должен был позвонить Кольцову домой или в редакцию. Кольцов сказал поэту, что надежнее всего позвонить накануне поездки вечером в редакцию «Правды»: ему всегда передадут срочную телефонограмму Маяковского. И невзирая ни на что, даже если будет очень ненастная погода, они поедут в Горки и пройдут вместе в большой дом, окруженный лесным парком.

Борис Веревкин

ВСТРЕЧАЯСЬ С НИМ...

...Зима 1924—1925 года. Общественную жизнь столицы будоражат многочисленные афиши о литературных, театральных и прочих диспутах. Отзвуки горячих дискуссий быстро доходят до нас, ребят, воспитанников школы юных натуралистов. Правда, дачи наших общежитий расположены далеко от центра Москвы — на заснеженных просеках Сокольнической рощи,— однако на уроках литературы у нас идут не менее жаркие споры, чем в Большой аудитории Политехнического музея, залах Московской консерватории или Доме союзов.

Имя Маяковского, его стихи в центре наших споров. Понятен или непонятен, поэтичен или непоэтичен? Почтенная преподавательница литературы Глафира Ивановна «подливает масла в огонь». В ее беседах мы то и дело слышим ссылки на непонятность Маяковского, на отсутствие в его стихах рифм, ритма, на пренебрежение к таблице ямбов и амфибрахиев.

Но нас на это не возьмешь! Наш «лагерь» решительно оспаривает все утверждения преподавательницы. И, опровергая, декламирует на каждом шагу стихи поэта. Споры, начавшиеся на уроках, с новой силой возобновляются по вечерам в столовой. И вот однажды, когда словесное сражение чуть было не перешло врукопашную, мы, защитники поэзии Маяковского, решаемся на крайность:

— Ах так? Ладно, мы позовем самого Маяковского! Посмотрим, кто будет прав!

Легко сказать «позовем»! Пойдет ли он к нам?

Узнав, что Маяковский живет сейчас в одной из дач Оленьего проезда — совсем рядом с нами,— отправляемся вдвоем к нему.

По пути вспоминаю, как год назад я впервые увидел Маяковского, шагающего по Мясницкой в сторону Лубянской площади. «Смотри, смотри, это Маяковский!» — толкнул меня в бок товарищ, когда к нам приблизился огромный человек, в кепке, с папиросой во рту и с тростью в руке. Я жадными глазами смотрел на своего любимого поэта...

...И вот теперь мы с Митей, два пионера 49-го сокольнического отряда, идем к поэту домой, звать к себе на разрешение ребячьих споров. Дух захватывало в ожидании встречи!

Однако встреча была самой простой и дружеской. Маяковский сразу понял, что за нашими спорами скрываются серьезные вещи, что басни о «непонятности» его стихов самим ребятам не выдумать. И вот, оставив дома больного друга, Владимир Маяковский отправляется с нами доказывать свою «понятность». По узкой тропке меж сокольнических сосен идем мы гуськом: два пионера и знаменитый поэт.

...Стоит ли говорить о том, что спор был решен в нашу пользу и что для этого Маяковскому достаточно было прочитать три-четыре своих стихотворения. Все без исключения были в восторге, горячо аплодировали поэту.

Аппетит рос. Мы попросили прочитать что-либо новое. И Маяковский прочитал нам заключительную главу совсем недавно законченной поэмы «Владимир Ильич Ленин».

...По той же тропке, меж заснеженных сосен, провожали мы поэта. Понятно, что нас было уже не двое.

С этого началась дружба поэта с нашей школой и пионерским отрядом. Маяковский подарил отряду горн, звуки которого были слышны во всех концах Сокольников.

— Кто там шагает правой? — спрашивал вожатый.

Левой!
Левой!
Левой! —

дружно отвечал отряд.

Стены украсились стихотворными лозунгами Маяковского. Мы жадно хватались за все, что было связано с его именем.

Да, мы были влюблены в Маяковского, взяты в плен его могучим талантом «агитатора, горлана-главаря».

Роль пассивных «почитателей» поэта нас не удовлетворяла, появилось горячее желание у себя, хотя бы в масштабе своего коллектива, делать то же самое дело, которое в масштабах всей страны делал Маяковский. Мы создали «живую газету», в которой одновременно со стихами Маяковского, Асеева помещали наши собственные стихи.

Помню, как, с молодым задором взявшись за работу в «живой газете», мы частенько обращались за консультацией к Маяковскому. Бывало, во время долгой и упорной репетиции поднимается спор: как произнести то или иное слово в стихах Маяковского, что является главным, где должно быть ударение и т. д. Кончалось это телефонным звонком к поэту:

— Владимир Владимирович! Рассудите нас. Как будет правильнее?..

И всегда мы получали справку, совет, консультацию.

В мае 1926 года мы проводили День леса. На праздник, который торжественно открывался на склоне у реки Яузы, был приглашен Маяковский. Поэт пришел. Он поднялся на трибуну, как всегда, поднял руку и начал читать стихи. Он прочитал нам «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». Ребята, собравшиеся из всех школ Сокольнического района, были очень довольны встречей с поэтом. Аплодисментам не было конца...

Лично для меня первая встреча с Маяковским в Сокольниках была решающей во многих отношениях. И прежде всего она решила мое «призвание». Я начал упорно работать над агитационным стихом, целиком отдаваясь «живой газете» юных натуралистов. И вот здесь появилась необходимость в новой помощи Маяковского — помощи лучшего, талантливейшего мастера стиха.

Сколько раз с волнением брался я за телефонную трубку для того, чтобы позвонить к Маяковскому. И всегда получал совет, поддержку, ободрение:

— Присылайте, товарищ Веревкин, обязательно прочитаю!

Маяковский никогда не говорил нам, молодежи, общих слов о наших стихах. Он никогда не разглагольствовал о «подавании надежд» или о «будущем таланте». Этого не требовалось. Маяковский умел найти в каждых стихах живую строчку, смелый оборот. После этого самому становилось стыдно за остальное — тусклое и «подержанное». Сколько бодрости и желания работать появлялось после каждой беседы с Маяковским!

Наблюдательный глаз замечал, что на вечера Маяковского торопились не только мы, друзья, благодарные слушатели и читатели поэта; выступления литературного великана вызывали появление всевозможных «мосек». Хорошо запомнился большеносый и долгогривый юнец с визгливым голосом, считавший своим долгом появляться по пятам Маяковского для того, чтобы мешать его выступлениям.

...1927 год. Политехнический музей. Маяковский читает замечательную поэму «Хорошо!». Перед началом он объясняет смысл заглавия:

— «Хорошо!» — это резюме по поводу всего происшедшего в октябре 1917 года и за десять лет после Октября.

И сразу же визгливый выкрик:

— Но только не по поводу вашей поэмы!

Ох как трудно в такую минуту удерживать кулаки в кармане!..

Однако крепче кулака бьет ответная реплика Маяковского. Мы и аплодируем и торжествуем.

Мы, комсомольцы, знали политическую чистоту и неподкупность Маяковского. Он писал:

Не тешься,
товарищ,
мирными днями.

Сдавай
добродушие
в брак.
Товарищи,
помните:
между нами
орудует
классовый враг!

И слово у поэта не расходилось с делом. Ближайшие друзья Маяковского рассказывали о том, как однажды к Маяковскому явился посол от иуды Троцкого.

— Вы левые, и мы левые,— иезуитски заявил троцкист.— Давайте соберемтесь, поговорим о литературе...

Кончить ему не удалось: Маяковский указал пришельцу на дверь.

Маяковский был верным солдатом партии, честным беспартийным большевиком. Потому-то троцкистская свора руками своей авербаховской агентуры в литературе так трудилась над тем, чтобы затравить великого поэта.

Маяковский прекрасно сознавал:

Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.

Была у Маяковского аудитория, в которой он неизменно получал зарядку и вдохновение. Это Красный зал Московского Комитета партии, где собирался обычно комсомольский актив столицы для встреч с поэтом.

Помнится вечер перед второй крупной поездкой Маяковского за границу. Комсомольцы внимательно, по-хозяйски вникали в отчет поэта о первой поездке, слушали стихи о загранице, горячо аплодировали едкой и острой отповеди незадачливому критику, которому не понравились стихи Маяковского, потому что, дескать, он, поэт, вместо преклонения перед заграницей пишет о ней не пером, а шваброй...

Как всегда — горячее обсуждение. Ребята хотят знать не только планы, но даже и «смету» своего поэта, которого они провожают в заграничную поездку.

— А в каком классе вы поедете?

— В первом,— твердо отвечает Маяковский.

— Почему не в третьем? — допытывается один из комсомольцев.

— Потому,— отвечает Маяковский,— что раньше у нас ездили в первом классе только буржуи, а за границей и сейчас только им доступен первый класс. Нам надо показать, что поэт советских рабочих может ездить не хуже, чем они.

Октябрь 1929 года. В клубе комсомола Рогожско-Симоновского района Москвы проводится слет художкоров «Комсомольской правды».

После доклада и выступлений художкоров объявили перерыв перед «художественной частью».

Проходит полчаса, час — занавес все еще закрыт. Публика волнуется. Организаторы вечера в панике: никто из объявленных участников «художественной части» не едет.

Берусь помочь. Звоню к Маяковскому. Подходит кто-то из домашних: «Маяковский дома, но у него много народу, и он сильно занят». Все же к телефону обещают позвать. И вот в трубке знакомый голос:

— Здравствуйте, товарищ! Так что у вас случилось?

Объясняю, что собрались ребята, обещали им выступления поэтов, а поэты не явились.

— Ладно, на пятнадцать минут приеду.

Мчимся в такси, то и дело умоляя шофера:

— Скорее, пожалуйста, скорее...

Приехали. Входим в прихожую. Навстречу выходит Маяковский:

— Здравствуйте, товарищ Веревкин. Оказывается, это вы за мной прискакали. Ну что ж, едем.

В дороге Маяковский с живым интересом расспрашивает, что было на вечере, кто из обещавших выступить не приехал, кто делал доклад. Поэту не было безразлично, хороший ли доклад слушали художкоры и долго ли их заставили ждать «художественной части».

...Маяковский. В зале овация. Он вышел на сцену, распек организаторов и неявившихся поэтов, начал читать стихи.

И вдруг после первых же слов Маяковский спрашивает у зала:

— А Веревкин у вас сегодня выступал?

В зале замешательство:

— Какой Веревкин? Что за Веревкин? С чем он может выступать?

— Да нет, у нас никто не выступал,— нерешительно кричат из зала.

— Как так? — с удивлением говорит Маяковский.— Вот у него есть стихи...

И я слышу, как, потрясая своим голосом зал, Маяковский (по памяти) читает мои частушки об охране лесов.

В феврале 1930 года в Клубе писателей на улице Воровского Маяковский организует отчетную выставку «20 лет работы».

Торжественное открытие. Зал переполнен, окна настежь, во дворе люди, не попавшие в здание. Все это молодежь, читатели. Впервые Маяковский читает «Во весь голос». Сила потрясающая. Выражаясь словами самого Маяковского, «от слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек».

Потом будни выставки, торжественное закрытие. Снова гремит «Во весь голос», и снова нет многих писателей, критиков. Маяковский говорит, что ему будто наплевать, но видно, что у него необыкновенно взвинчены нервы, трость дрожит в руке.

Еще бы! Ведь в кулуарах Владимир Владимирович рассказывал нам, что сперва он хотел отчитаться именно перед своими товарищами по перу, поэтому и открыл выставку в Клубе писателей.

...Вечер окончен. Медленно расходится еще не остывшая от впечатлений молодежь. Спускаясь по лестнице, слышу сзади голос Маяковского:

— Ну, Веревкин, домой на Усачевку?

— На Усачевку, Владимир Владимирович!

— Что там у вас: новые дома?

— Да целый городок новых домов.

— Ну пока!

— Всего хорошего, товарищ Маяковский!

Н. М. Потапов

ЧЕТЫРЕ ГОДА С МАЯКОВСКИМ

Мне посчастливилось в течение четырех лет часто видеть и слышать Маяковского. Это были годы тесного содружества Маяковского с «Комсомольской правдой», и я видел, как любил он «черновую» работу в газете.

...1927 год был для нашей страны годом больших трудов и начинаний и вместе с тем годом серьезных испытаний.

По плану партии, по плану Ленина народ приступал к социалистическому переустройству страны, выводя ее на широкую дорогу индустриализации и кооперирования... За рубежом наши враги бряцали оружием, устраивали опасные провокации. Газеты приносили тревожные вести: в Лондоне совершен налет на советское торговое общество «Аркос»; английское консервативное правительство Чемберлена порвало с СССР дипломатические отношения; в Варшаве убит советский посол Войков; продолжаются налеты на советские представительства в Берлине, Пекине.

В редакции в эти дни пульс газетной жизни бился особенно напряженно и взволнованно. Газета вела кампанию за распространение займа под лозунгом «Бей Чемберлена рублем!». По стране проходила «неделя обороны», в которой активно участвовал комсомол.

Как-то утром на летучке редактор Тарас Костров высказал пожелание:

— Хорошо бы нам выступить с боевыми, злободневными стихами.

— Правильно,— поддержал кто-то с места.— А заказать их надо Маяковскому.

— Вы опоздали! — Эти слова неожиданно прозвучали откуда-то из-за двери.

Все оглянулись.

В дверях стоял Маяковский.

— Извините, товарищи, что я врываюсь без стука,— продолжал поэт.— Но стихи уже готовы, и я могу их сейчас прочесть. Они очень короткие.

— Читайте! — воскликнуло сразу несколько голосов.

Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
порохом
от всех границ.

В комнате все замолкло. Поэт продолжал:

Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.

Стихи, единодушно одобренные, были отправлены в срочный набор.

— Вы давненько не были у нас, Владимир Владимирович,— сказал Тарас Костров, дружески здороваясь с поэтом.

— Ездил, снова ездил... Был на юге, затем на севере, в Ярославле, в Ленинграде. Отчитывался стихами.

— Мы, откровенно говоря, позавидовали профсоюзной газете. Там появился ваш «Лучший стих» — о победе рабочих и революционных войск Кантона.

— Так надо было, дорогой Тарас! События в Китае сейчас волнуют не только молодежь — за ними, как знаете, следит весь народ.

— Это верно, пожалуй. А вообще мы считаем вас своим постоянным автором.

— Конечно, я ваш,— улыбаясь, проговорил Маяковский.— Мне бы скинуть годков восемь — десять, я бы и в комсомол записался.

Костров договорился с поэтом о новых стихах на оборонную тему. Маяковский, как всегда, охотно откликнулся. В начале июля стихи появились в газете под названием «Сплошная неделя». Поэт призывал молодежь в ответ на угрозу войны крепить оборону, чтобы встретить врага во всеоружии.

Наша редакция по составу своему была молодежной. Самыми «старыми» считались редактор и заведующий отделом информации, бывший моряк Орловский, высокий и полный тридцатипятилетний мужчина, казалось, никогда не вынимавший изо рта дымящуюся трубку. Он поглядывал на всех покровительственно, говорил громким баском, обильно уснащая свою речь морскими терминами.

Справляясь, например, о том, когда начинается «летучка», он неизменно спрашивал:

— Ну как, свистали уже наверх?

Если тот, к кому он обращался с вопросом, мялся, не мог ответить определенно, Орловский замечал:

— Вы никогда ничего не знаете. Я не взял бы вас на свою посудину даже мичманом. Может быть, для начала юнгой, чтобы вышколить да просолить в морской воде.

Орловского все почтительно называли Капитаном. Он принимал это обращение снисходительно, как должное.

В обычные дни наш редакционный коридор чем-то напоминал узкую оживленную улицу. Бесконечное движение, разговоры, шум. В коридоре узнавали о московских новостях, спорили о качестве заголовков и «шапок», беседовали с поэтами и критиками, успокаивали недовольных подписчиков. Появлялся редактор, коридор временно затихал, но спустя несколько минут все вновь приходило в движение.

Когда становилось особенно многошумно, из комнаты литературного отдела выбегал Иосиф Уткин и умолял:

— Товарищи, нельзя ли потише... В таких условиях просто невозможно работать!..

Владимир Владимирович обычно не задерживался в коридоре. Дружески раскланиваясь с нами, он проходил

энергичной походкой либо прямо к редактору, либо в дальнюю комнату, где размещалось собственно «комсомольское хозяйство» — бытовой отдел, отдел комсомольской жизни, отдел пионеров.

Подойдя к кабинету Кострова, он обычно стучал палкой в дверь и спрашивал:

— Тарас дома?

В наше «хозяйство» он заглядывал без церемоний; в условленное время приносил стихи, зная, что их ждут, что они идут в очередной газетной подборке.

В те годы Маяковский имел рабочую комнату в Лубянском проезде, в пяти минутах ходьбы от редакции. Все знали, что он появлялся там после полудня и обычно работал по нескольку часов. Мы уже привыкли к тому, что в случае срочной надобности можно сбегать в Лубянский проезд и попросить Владимира Владимировича срочно написать новое стихотворение.

На страницах «Комсомольской правды» в те годы поднималось много интересных и серьезных тем — об участии комсомола в восстановлении народного хозяйства, о социалистической индустриализации страны, о культурной революции... Большое внимание уделяла газета темам коммунистического воспитания молодежи, в среду которой в годы нэпа просачивались мелкобуржуазные, обывательские влияния.

Все эти темы глубоко волновали Маяковского.

Помнится, после одного из выступлений газеты на тему о мещанстве и новых традициях в быту мы получили особенно много писем от юнкоров, молодых читателей, педагогов, родителей, откликов с заводов, из вузов, из деревень. Часть писем была опубликована, но мы почувствовали: что-то мы еще недосказали своим читателям. Собрали редакционный актив и стали думать-гадать, что делать с этим ворохом писем, как лучше ответить на них.

— Надо бы написать обзор и дать его подвалом,— предложил кто-то из «бытовиков».

Это предложение немедленно отвергли.

— Может быть, заказать видному педагогу статью, обобщающую все высказывания?

Это предложение тоже не встретило поддержки.

Прозвучал внушительный бас Орловского.

— Все это сухопутные штучки,— сказал он.— У лю-

бого боцмана, черт побери, больше мыслишек, чем у вас... Надо передать все эти письма Владимиру Владимировичу. Пусть почитает их, разберется и, может быть, напишет.

Предложение Орловского было единодушно принято. Мы преисполнились еще большим уважением к Капитану, который, самодовольно улыбаясь, бросил:

— Вот так-то надо выходить из дрейфа.

Письма были аккуратно сложены в огромную папку. Мне предложили отнести ее Маяковскому. Сознавая всю важность своей миссии, я тотчас же отправился к нему.

У дверей комнаты я остановился и постучал.

В ответ на стук раздался знакомый голос:

— Входите, раз пришли...

Я отворил дверь.

— А, комсомолия! — сказал Владимир Владимирович дружески.— Уже с папками ходите, в бюрократы готовитесь... Раненько, раненько...

Я быстро оглядел комнату. Она показалась мне малоуютной: небольшой высокий стол, похожий на конторку, простой диван, полушкаф-полуэтажерка с книгами. На столе гора исписанных бумаг, лежащих в беспорядке.

Владимир Владимирович, как всегда, не расставался с папиросой. На нем был его неизменный джемпер. Пиджак висел на спинке стула. Комната действительно была рабочей. Ничего лишнего. Маяковский, уловив, очевидно, недоуменно-любопытствующий взгляд, брошенный мною на ворох бумаг, заметил:

— Не пугайтесь, молодой человек, это не поэма и не роман в стихах. Это заготовки на всякие случаи жизни. Без заготовок писать нельзя. Явилась мысль, улеглась в стихи — тащи ее на бумагу. Глядишь, когда-нибудь пригодится... Вы сами-то, ненароком, стишки тайно не пописываете?

— Нет, не пишу, давно бросил... В школьные годы немножко баловался...— ответил я смущенно.

— Ну, если баловались, то правильно сделали, что бросили. У нас некоторые пииты балуются до старческого возраста. А не правда ли, смешно, когда этакий благообразный старец пишет стишки про любовь, про

травку, про солнышко. Ну, это все отступление. Вы с папкой пришли? Значит, дело важное.

Я объяснил цель своего прихода.

Владимир Владимирович раскрыл папку и стал на выборку просматривать письма. Его внимание привлекли страницы машинописного текста, сколотые булавкой.

— А это что за штука? Неужели читатели на машинке упражняются?

— Мы собрались печатать обзор... Потом от этой мысли отказались.

— Ну уж от цитат меня увольте! Мне нужны настоящие письма. Может быть, самое важное-то вы и не заметили.

В письмах, которые я принес Маяковскому, шла речь о юношах и девушках, увлекающихся пошлыми заграничными фильмами и бульварными романами. Некоторые молодые рабочие и работницы пытались подражать заграничной «красивой» жизни, увлекались мнимой, показной «культурой» капиталистического мира. В то время, например, на экранах шли такие «боевики», как «Цепи брака», «Горная баллада», «Похождения подкидыша». Они показывали «светский образ жизни», щекотали нервы «кошмарными» преступлениями.

Просмотрев письма, Владимир Владимирович, улыбаясь, сказал:

— Передайте вашему газетному начальству, что я постараюсь как-то ответить. Но быстро сделать не обещаю. Здесь столько поднято «мировых проблем», что сразу не разберешься... Видал я этих любителей «изячной жизни». Пустоголовы, как мадам Курдюкова. Знаете, надеюсь, такую?

Я не без гордости ответил утвердительно, так как совсем недавно читал мятлевские «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже». Поблагодарив Владимира Владимировича, я встал, собираясь уходить.

— Цитаты, цитаты ваши не забудьте,— с усмешкой проговорил он, возвращая мне подборку.— Обменяйте мне это сочинение на письма.

...В редакции с нетерпением ждали отклика поэта на злободневную тему, волновавшую читателей «Комсомольской правды».

Спустя три-четыре дня Владимир Владимирович позвонил по телефону и сказал, что стихи готовы, что он может прийти и прочесть их. Тогда мы еще не знали, что читательские письма и личные наблюдения навели поэта на мысль создать цикл сатирических стихов, бичующих мещанство, низкопоклонство перед заграницей, бюрократизм и другие язвы.

В полдень Маяковский принес новые стихи. Времени в нашем распоряжении было мало, решили не собирать людей для «массового» прослушивания, которое обычно проходило в большой репортерской комнате (ее называли почему-то «боярской»). Пригласили лишь тех, кто был под рукой.

Владимир Владимирович полушутя предупредил:

— Вы, очевидно, ожидаете, что я написал нечто вроде стихотворной энциклопедии, где на каждой страничке дается ответ на любой вопрос. Так не получится, товарищи. Сегодня я взял лишь одну тему. В письмах поднят миллион вопросов. Если на все отвечать, мне хватит по горло работы на всю жизнь до глубокой старости. Стихотворение называется «Маруся отравилась».

Он начал читать:

Он был
          монтером Ваней,
но...
     в духе парижан,
себе
     присвоил званье:
«электротехник Жан».

Всем нам больше всего понравились строки, рисующие «героя» этого сатирического стихотворения Ваню-Жана. Они сразу как-то запомнились, стали крылатыми...

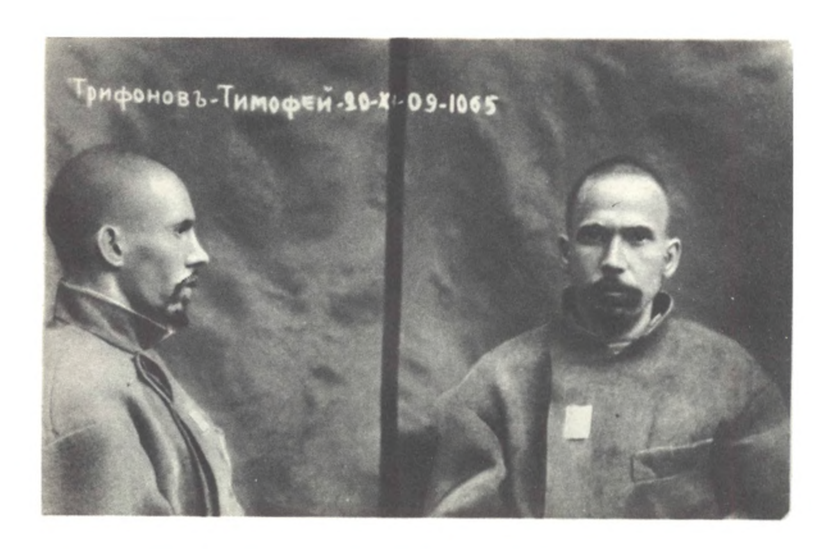
Впрочем, в редакции нашелся человек, которому стихи не понравились. Это была машинистка Аделина Павловна, пожилая дама, работавшая еще в дореволюционном «Русском слове».

— Не понимаю, не понимаю я новой поэзии... Все как-то грубо, утилитарно. То ли дело Бальмонт, Гиппиус... Какие слова, какие эмоции!

Мы уже давно перестали спорить с этой дамой, считая ее живым «пережитком капитализма», персоной, не поддающейся перевоспитанию.



М. Т. Киселев. *1914 г.* Н. И. Хлестов. *1966 г.*



Т. Т. Трифонов. *Фото охранного отделения. 1909 г.*



В. И. Вегер. *1900-е годы.*

Утром газета вышла с новыми стихами Маяковского.

Прошла примерно неделя. Разбирая очередную почту, я обнаружил письмо монтера Вани. Ваня-Жан протестовал: почему его ославили, что он сделал плохого, если «для красоты произношения» стал называть себя Жаном? Пытаясь защитить и оправдать себя, автор письма ссылался даже на... Пьера Безухова.

Это письмо еще более убедило нас в том, что поэт попал в точку. Мы немедленно позвонили Маяковскому. Письмо «живого», «настоящего» Вани заинтересовало поэта.

— Вы поберегите, товарищи, это письмо. Может быть, я сам ему отвечу.

Прошло еще несколько дней. Однажды утром в числе первых посетителей редакции оказался молодой человек, прибывший из Ленинграда. Он не хотел ни с кем разговаривать, заявив, что ему нужен «сам редактор». Как только аудиенция у редактора закончилась, сотрудники бытового отдела стали выяснять, кто же это был.

И оказалось, что это был... еще один Ваня-Жан. Он хотел видеть «самого редактора», чтобы лично пожаловаться ему. Ваня-Жан заявил Кострову, что газета опозорила его, что ему не дают прохода на заводе (кажется, «Электросила»), смеются, суют в нос стихи. Ваня-Жан требовал, чтобы ему показали автора стихов.

Костров созвонился с Маяковским. Владимир Владимирович с удовольствием согласился встретиться с живым героем своего стихотворения.

Позже, со слов Маяковского, мы узнали, что встреча эта закончилась самым дружеским образом. Владимир Владимирович не любил обычно рассказывать о личных беседах и спорах с «опровержцами» и читателями. И на этот раз на наши вопросы ответил довольно лаконично:

— Парень-то, по существу, хороший. Есть солидный налет гнильцы, она от знакомства с нэпмановской и околонэпмановской «золотой молодежью». Но все это накожные прыщи, поддающиеся удалению.

Впоследствии мы убедились, что Владимир Владимирович был прав: монтер внял «отеческим» советам

поэта, порвал связи с обывательской мелкобуржуазной средой, начал учиться, словом, стал, что называется, на правильный путь.

Через несколько лет поэт и Ваня-Жан встретились еще раз. Произошло это в 1929 году в Ленинграде, куда я был послан по заданию «Комсомольской правды» и куда вскоре приехал Маяковский.

Ленинградское отделение нашей газеты устроило вечер встречи читателей с Маяковским. Маяковский, как всегда, много читал, читал, как мне помнится, отрывки из только что написанных им пьес «Клоп» и «Баня».

В конце вечера к Владимиру Владимировичу подошел молодой человек. Поэт поздоровался с ним, как со старым приятелем.

— Вы разрешите, товарищ Семенов, вас, так сказать, «раскрыть» и познакомить с сотрудниками «Комсомолки»?

Молодой человек, явно смущаясь, ответил:

— Конечно, конечно, Владимир Владимирович...

Иван Семенов был тот самый «электротехник Жан», который приезжал в Москву, требуя встречи с «самим редактором».

— Теперь я могу за него поручиться,— продолжал Маяковский.— Всю эту заграничную шелуху он сбросил с себя и живет, как полагается жить молодому человеку в наше время. Не так ли?

Иван Семенов смутился.

— Ничего, не смущайтесь. Мы же с вами друзья. А вы, товарищи, тоже с ним поддерживайте контакт, может, он и писать вам будет.

Так хорошо закончилось это знакомство.

В один из весенних дней 1927 года Владимир Владимирович явился в редакцию в воинственном настроении и потребовал «газетной площади» в очередном номере для ответа на стихотворение Ивана Молчанова.

Накануне литературная страница нашей газеты опубликовала стихотворение «Свидание». Молчанов «скучал» и просился на отдых:

...За боль годов,
За все невзгоды
Глухим сомнениям не быть.

Под этим мирным небосводом
Хочу смеяться
И любить.

— Зачем вы опекаете этих поэтических барашков? — спросил Маяковский.— На третьей странице бичуете мещан, а на литературной отвели уголок «в помощь начинающим мещанам».

По правде говоря, все мы, в том числе, мне кажется, и редактор, чувствовали себя неловко. Ведь, в самом деле, стихи Молчанова «выпадали» из программы газеты. Очевидно, лирический Иосиф Уткин и его помощник Джек Алтаузен поддались первому впечатлению и не увидели в стихах ничего «вредного», уводящего от кипучей стройки, от борьбы в тихую мещанскую заводь.

После длительных совещаний и споров было принято решение: опубликовать ответ Маяковского.

Полемическое стихотворение Маяковского заканчивается, как известно, напоминанием об «угрозе вражьей», о том, что литературные выступления, подобные молчановскому, мешают «мобилизации и маневрам».

Надо сказать, что реакция Маяковского на молчановское «Свидание» была для всех нас поучительной. У поэта за годы совместной с комсомольцами работы установились непринужденные товарищеские отношения с коллективом и отдельными сотрудниками газеты. Эта творческая дружба зиждилась на деловой, принципиальной основе. Маяковский был примерно лет на десять старше каждого из нас, и мы относились к нему, как к «старшему». В отношениях с поэтом, даже в интимных беседах в узком кругу всегда чувствовалось большое и искреннее уважение, к которому примешивалось юношеское восхищение, а порой и робость.

Я хорошо помню и еще один эпизод из жизни редакции. В полдень, когда почти все сотрудники ушли на «летучку», Маяковский зашел в комнату литературного отдела. В ожидании Уткина здесь сидело несколько молодых ребят. Они принесли «на консультацию» свои стихи. Увидев Маяковского, внушительная фигура которого «подавляла» окружающих, заметив известную строгость в его взгляде, они, что называется, оробели. Поэт сам вызвал их на разговор, и вскоре неловкость исчезла.

Молодой рабочий Алексей Кондаков, оказавшийся рядом с Маяковским, держал в руке аккуратно свернутый листок бумаги. Владимир Владимирович молча взял этот свиток и начал шепотом читать. Прочитав, он молча сложил листок и опустил его в новенькую редакционную корзинку. У присутствующих лица вытянулись от недоумения и неожиданности. Маяковский спокойно, как будто ничего не произошло, спросил у Кондакова:

— Слесарь? По какому разряду?

— По четвертому,— ответил автор стихов.

— Очень хорошо! Нажимайте на станок, а это баловство бросьте..

— Как же бросить, он уже печатался,— вставил кто-то.

— Ну и что же?

В этот момент в отдел вернулся Уткин. Маяковский повернулся к нему:

— Негоже, товарищ Уткин, развращать мальцов. Вот он — хороший слесарь, работает по четвертому разряду, нашел для себя хорошее дело, а вы его отвлекаете.

Обратившись затем к Кондакову, Владимир Владимирович по-дружески похлопал его по плечу и на прощание сказал:

— А вы не расстраивайтесь, молодой человек... У вас хорошая профессия и хорошее будущее. Без стихов как-нибудь проживете.

Эта сценка внешне казалась грубоватой, но Маяковский любил говорить прямо и искренне, не искал «сглаживающих» формулировок. Он не терпел фарисейства и всяких утешительных оговорок.

Алексей Кондаков, кстати говоря, стал впоследствии хорошим инженером и с благодарностью вспоминал, что Маяковский подсказал ему правильный путь.

Прямота Маяковского, резкость его суждений, разумеется, не всем приходились по нраву. Очень недолюбливал поэта секретарь нашей редакции Ангаров. Он искал любой повод, чтобы подсунуть где-нибудь ложку дегтя.

Автор длинных, нравоучительно-скучных фельетонов, Ангаров, как нам казалось, не терпел всех, кто пи-

шет лучше его, кто снискал уважение и известность у читателей.

Сдавая в набор очередное стихотворение Маяковского, завизированное редактором, Ангаров не мог удержаться от восклицания:

— Ну, опять ваш любимец ступеней наставил! Этак никакого гонорара не хватит. Пушкина хотят перещеголять.

Секретарю предупредительно поддакивал его помощник Луницкий, франтоватый парень, носивший обычно шелковую рубаху с пояском и мягкие щеголеватые полусапожки.

Маяковский, увидев впервые Луницкого, спросил как-то заместителя редактора Якова Ильина:

— Откуда вы взяли этого трактирного плясуна? Все люди как люди, а он ходит и выкаблучивается.

Эта нелестная характеристика, видимо, дошла до Луницкого. Он обиделся и стал на позиции своего шефа — Ангарова.

От внимания капитана Орловского, человека горячего и прямого, не ускользнули эти «антимаяковские» настроения. Как-то вечером, когда заканчивалась редакционная суета, в «боярской» сошлись несколько сотрудников. Говорили о всякой всячине, спорили о «Днях Турбиных», о фильме «Парижский сапожник», о новых стихах Демьяна Бедного.

— Вы что здесь расшумелись? — спросил неожиданно показавшийся в дверях Ангаров.

— Толкуем, с вашего позволения, об искусстве, о поэзии,— быстро ответил Орловский.— Можем и вас пригласить в качестве докладчика или оппонента. У вас имеются свои сухопутные, но, может быть, оригинальные взгляды?..

Ангарову ответ Капитана был не по душе. Секретарь покраснел и насупился.

— Я знаю... Всю поэзию вы сводите к вашему любимцу — Маяковскому, а прозу...

— К вашим фельетонам,— молниеносно кинул реплику Орловский.

— При чем тут мои фельетоны? — вскипел Ангаров.— Я пишу, как умею. Читатели меня не ругают... Что касается поэзии, то здесь вы перегибаете палку. Нельзя угощать читателя стихами одного автора.

— Почему же одного? — продолжал Орловский.— В литературной странице поэтов хоть пруд пруди... Но они, доложу вам, пригодны только для литературной страницы. Для больших злободневных тем у них голос слишком писклив да и размаху не хватает...

Джек Алтаузен, до сих пор помалкивавший, вмешался в эту стихийную дискуссию. Стремясь примирить стороны, он в обычном для него спокойно-полушутливом тоне сказал:

— Я не понимаю, о чем, собственно, здесь спорят... Наша «страница» предназначена прежде всего для лирики. Прав на лирику у нас никто не отнимал. Владимир Владимирович тяготеет к поэтической агитации, к сатире. Я думаю, все мы сойдемся на том, что его живое участие в газете очень полезно. Не так ли?

— Так-то так,— примирительно промолвил Ангаров.— Но нельзя же увлекаться.

— Всем хорошим надо увлекаться. Маяковский очень хорошо работает в газете. И за это ему спасибо,— заявил Орловский.

Сотрудники «Комсомольской правды» встречались с Маяковским не только в стенах редакции. Мы с удовольствием посещали и заводские клубы, и студенческие аудитории, где часто выступал Маяковский. Он любил выступать перед молодежью и в этом смысле был «безотказным».

Вечера молодежи, встречи с поэтами и писателями, обсуждения новинок литературы часто устраивались на Красной Пресне, в Центральном Доме комсомола. Клуб на Васильевской улице (так многие его называли) пользовался большой популярностью. Владимир Владимирович тоже любил этот Дом, в котором, казалось, никогда не гасли огни, никогда не умолкали голоса.

Когда Маяковскому звонили с просьбой выступить на Пресне, он обычно отвечал:

— Что ж, придется приехать. Красной Пресне нельзя отказывать. Мы старые друзья.

В один из сентябрьских дней 1928 года в районном Доме был устроен творческий вечер поэта. Заранее было условлено, что Маяковский будет читать стихи о комсомоле, о молодежи.

Уже за полчаса до начала уютный зал Дома был переполнен. Кроме комсомольского актива сюда пришли молодые рабочие и работницы с Пресненского завода, «Трехгорной мануфактуры», из трамвайного парка, железнодорожники, строители.

Около восьми часов вечера быстрой походкой вошел в вестибюль Маяковский. Его по-дружески, как старого знакомого, встретили работники райкома ВЛКСМ. Владимир Владимирович сразу же прошел на сцену.

— Недостатка в слушателях, кажется, не будет,— бросил он мимоходом.

— У нас никогда не бывает недостатка,— не без гордости заметил секретарь райкома.

— Небось красноармейцев взяли взаймы у соседней воинской части,— улыбаясь, сказал Маяковский.

— В этом мы сегодня не нуждаемся,— ответил секретарь райкома.— В «пожарных случаях» мы приглашаем их. А вообще, красноармейцы — замечательные слушатели. Вы сами это знаете...

Занавес был поднят заранее. На сцене стоял маленький стол, накрытый зеленым сукном, стул и на трибуне — непременный графин с водой.

Молодежь встретила Маяковского тепло, по-свойски. И сам он, видимо, почувствовал себя в «своей», близкой ему аудитории.

— Привет краснопресненской комсомолии! — зычным голосом проговорил Маяковский.— Дорогие друзья, я думаю, что мы не будем избирать президиу́м и приглашать за стол товарищей с по́ртфелями,— продолжал уже полушутливо Владимир Владимирович, нарочно делая неправильные ударения.— Обойдемся без президиу́ма?

— Обойдемся! — послышались выкрики из зала.

— Ну, значит, по этому вопросу договорились.

После короткой паузы он продолжал:

— Как вы видите, товарищи, я ни по росту, ни по возрасту уже не гожусь в комсомол. Правда, у вас бывают и бородатые комсомольцы, в том числе поэты. Но оставим их в стороне, пускай чешут бороды и воображают себя молодыми. Я хочу вам сегодня прочесть стихи, написанные в последние пять-шесть месяцев для «Комсомольской правды», по ее просьбам и по моему

собственному желанию. Я встречался и встречаюсь часто с молодежью и не могу о ней не писать. Как вы знаете, в моих стихах меньше хвалы, больше критики. Я думаю, для дела, для комсомола это более полезно, чем сладкозвучное журчание насчет любвей и соловьев с подведением «марксической» базы. Первое стихотворение я посвящаю ордену, заслуженно полученному комсомолом нынешней весной:

Рабочая
　　родина родин —
трудом
　　непокорным
　　　　гуди!
Мы здесь,
　　мы на страже,
　　　　и орден
привинчен
　　к мильонной груди.

Владимир Владимирович, помнится, читал в тот раз «Привет, КИМ!», «Марш-оборона», «Товарищи, поспорьте о красном спорте». В зале стояла напряженная тишина. Когда отзвучала последняя строка, зал одобрительно загудел и зааплодировал.

Сняв, по обыкновению, пиджак и повесив его на стул, Владимир Владимирович отпил немного воды и полушутя сказал:

— А теперь руки можете спрятать в карманы — аплодировать не придется. Я прочту вам стихи не очень приятные — о горе-комсомольцах, о служаках, ну и о всем прочем:

Блещут
　　знаки золотые,
гордо
　　выпячены
　　　　груди,
ходят
　　тихо
　　　　молодые
приспособленные люди.

Мой сосед, наклонившись к своему товарищу, полушепотом проговорил:

— Не в бровь, а в глаз про нашего заводского секретаря — «и не видит ничего дальше собственного носа»...

Заметное оживление почувствовалось в зале, когда

поэт объявил название очередного стихотворения «Кто он?». Острие сатиры было направлено против тех комсомольских активистов, которые охотно болтали на диспутах о культурной революции, будучи сами образцом бескультурья. Внешняя нечистоплотность под флагом «занятости», нигилистическое пренебрежение к бритве и зубной щетке, употребление нецензурных слов — все это, к сожалению, характеризовало некоторых «активистов».

И в «Фабрике мертвых душ», и в стихах «Нагрузка по макушку» затрагивались злободневные темы комсомольской жизни:

Комсомолец
                    Петр Кукушкин
прет
      в работе
                    на рожон,—
он от пяток
                    до макушки
в сто нагрузок нагружен.

Когда кто-то из райкомовцев спросил Маяковского, не устал ли он, не сделать ли перерыв, тот ответил:

— Я могу работать на комсомол хоть целые сутки. Голос у меня выдержит. Аудитория, может быть, устала?

— Нет, все в порядке. Слушают хорошо.

Когда Маяковский «отчитал», ему передали несколько записок. Он быстро их просмотрел, часть отложил в сторону, часть положил перед собой.

— Один товарищ меня спрашивает: почему вам не нравятся стихи Уткина и Молчанова? Отвечаю. О вкусах, говорят, не спорят. Но в данном случае, товарищи, дело не во вкусах и не во вкусовщине. Меня иногда обвиняют в резкости, в нетерпимости. Дело не в резкости, а в принципиальности. Дело также не в личных отношениях, а в подходе каждого из нас к поэзии, к творчеству. Уткин хороший человек и иногда пишет хорошие стихи. Он печатает меня в литературной странице — дай бог ему здоровья! Но я считаю, что некоторые его стихи — это не стихи, нужные массам, а гитарные переборы, перепевы давно слышанного и давно надоевшего. Мне говорят иногда: он лиричен. Для кого, я спрашиваю, для себя или для читателей? Поэт и писатель —

пускай они пишут в любом жанре и в любой манере — должны служить каждой своей строкой народу, работать, так сказать, на массы. Специалистов по лирике и в старое время было столько, что хоть пруд пруди. Не можешь писать агитки — пиши лирические стихи, но такие, чтобы они не размагничивали читателя, не настраивали на упадочный лад, а помогали жить, работать, радоваться, бороться. У товарища Уткина бывает иногда наоборот. Вот почему он мне, так сказать, «не нравится». На этот счет я говорил с ним с глазу на глаз, а не только «за глаза». Я не умею прятать свое мнение и приодеколонивать критику.

Маяковский был иногда очень резок. Мы не стали вступать с ним в полемику о поэзии Уткина. Но нам казалось, что в оценке Уткина Владимир Владимирович был не совсем прав.

— Что касается Ивана Молчанова,— продолжал Владимир Владимирович,— то ничего не могу добавить к тому, что написал в «Комсомолке». Он заболел болезнью, известной под названием «телячий восторг». У него все стало хорошо: ему мерещатся мирный небосвод, травка, любвишка. Он видит свою главную задачу в том, чтобы «смеяться и шутить», играть в любовь. А я считал и считаю — и, кстати говоря, всегда об этом писал и пишу: сейчас не время для мещанского самоуспокоения и демобилизации. У нас врагов еще хватит — и внутри страны, и за ее рубежами,— поэтому оружие складывать нельзя! Так ведь, товарищи комсомольцы?

— Правильно! Так! — послышалось из зала.

— Вот еще один каверзный вопросик: «Скажите, пожалуйста, как вы изучаете жизнь, откуда черпаете материалы для своего творчества?» Постараюсь объясниться,— сказал Владимир Владимирович.— Изучать жизнь — это звучит как-то академически. Я не изучаю жизнь, а иду ей навстречу, «вживаюсь» в повседневные факты, события, в быт наших людей. Люблю много ездить. В этом году, к примеру, был на Урале, на Украине, в северных городах и южных, в Ленинграде и, конечно, в Москве. Без поездок, без общения с широкими массами не мыслю себе ни жизни, ни работы, ни поэзии. Материалы черпаю только из жизни, из поездок, из писем читателей, из встреч с вами...

— Люблю Красную Пресню,— сказал он прощаясь.— Это настоящая, сегодняшняя Москва, а не только ее история!

Многочисленные поездки по стране, выступления перед молодежью на фабриках и заводах, на комсомольских активах, повседневное изучение писем юных читателей — все это позволяло Маяковскому глубоко и всесторонне вникнуть в быт молодежи.

Именно в эти годы, мне думается, рождались и выкристаллизовывались в творческом воображении поэта и образы его будущей комедии «Клоп» — Пьера Скрипкина, Эльзевиры Ренессанс и других.

Газетная, в подлинном смысле слова, оперативная работа помогала поэту быть ближе к жизни. Беседуя как-то в редакции, Владимир Владимирович сказал:

— Вы не стесняйтесь, товарищи, загружайте меня... Я, так сказать, чернорабочий от поэзии. Я не боюсь работы.

Не случайно, что одна из первых читок «Клопа» была устроена в зале заседаний ЦК комсомола. На эту читку, назначенную на вечер, собрались работники аппарата ЦК ВЛКСМ, комсомольские журналисты, активные юнкоры. В такой аудитории поэт чувствовал себя обычно очень непринужденно и беседовал дружески и откровенно.

Владимир Владимирович в этот вечер читал удивительно хорошо.

Мы, работники «Комсомолки», слушали его с особым интересом, потому что знали, что идея пьесы, ее образы возникли не вдруг, а после долгой и напряженной будничной работы в нашей газете.

Закончив чтение, Владимир Владимирович сел за стол. Чувствовалось, что он устал. Сделали небольшой перерыв. Обсуждение пьесы, насколько помнится, открылось выступлением юнкора одного из московских заводов.

— Товарищ Маяковский правильно, по-моему, подметил нездоровые черты в быту нашей молодежи. И у нас на заводе есть ребята, подпавшие под чуждые влияния. У таких людей нет никаких других помыслов, кроме одного: заработать всеми правдами и неправдами «длинный рубль», пристроиться к какой-нибудь обес-

печенной семейке, завести уютную квартирку, всякие мещанские удобства. Они теряют свое рабочее лицо и становятся просто обывателями. Новая пьеса, по-моему, поможет разоблачить таких типов. Ведь она вроде как предупреждает молодежь от соблазнов, которые встречаются на ее пути.

Потом слово взял комсомольский активист, студент университета. Он одобрительно отозвался о пьесе, но высказал опасение: «Не слишком ли сгущены краски?»

Было еще несколько выступлений. Ораторы, в общем, сходились на том, что пьеса злободневная, острая, нужно быстрее ее поставить.

Маяковский поблагодарил за советы и обещал «посидеть» еще над пьесой.

После обсуждения группа комсомольцев-журналистов пошла провожать Владимира Владимировича. Дорогой опять разговор шел о пьесе. Говорили, в частности, о том, что пьесу следовало бы идейно еще более заострить. Кто-то высказал мысль, что в комедии неплохо бы «затронуть» поэтов, готовящих годами «варево из любвей и соловьев» и стоящих в стороне от большой дороги нашей жизни.

— Выкладывайте, выкладывайте все, что думаете,— сказал Маяковский.— Сами понимаете, что официальное обсуждение иногда сковывает. С трибуны полагается говорить только умные и бесспорные вещи.

Владимир Владимирович высказал пожелание «пропустить пьесу» еще в нескольких, как он выразился, «низовых аудиториях».

Были устроены новые читки. Маяковский внимательно отнесся к критическим замечаниям слушателей — внес в пьесу ряд изменений и дополнений, которые сделали ее более острой и злободневной.

Нужно сказать, что Маяковский вообще был очень внимателен к замечаниям читателей. Я вспоминаю два интересных факта, когда читатели помогли поэту. В редакции готовилась подборка «Это вам не 18-й год». Владимир Владимирович принес свое новое стихотворение «Перекопский энтузиазм». Оно было своеобразным ответом на письма юных читателей. Стихотворение высмеивало тех, кто в новых, мирных условиях отрицал хорошие традиции гражданской войны. Вместе с тем оно было направлено против «братишек», не желавших

расстаться с партизанщиной и неорганизованностью в жизни и работе. В стихах были, в частности, такие строчки:

Мы живем
дыханьем
Октябрьской бури...

Один из слушателей (кажется, наш капитан Орловский) нерешительно заметил:

— Владимир Владимирович, эта фраза, мне думается, выпадает из вашего стиля, из общего стихотворного текста... Слово «дыхание», на мой взгляд, как-то не вяжется с силой революции, с Октябрьской бурей.

Маяковский после некоторого раздумья отчеканил:

— Верно. Верно подмечено... Это сюсюканье, кисель... Здесь надо сказать ударнее.— И, немного помолчав, продолжал: — Ну, товарищи, у кого есть еще критические замечания? Не стесняйтесь, ведь я еще пока не классик, меня и поправлять и редактировать можно.

Поэт удалился в свободную «тихую» комнату. В течение нескольких минут были слышны его громкие шаги. Именно на ходу, в движении он обдумывал новые образы и рифмы, проверяя на слух слова и строчки. Через несколько минут Владимир Владимирович вернулся.

— Все в порядке! — сказал он и тут же прочитал новый вариант:

Мы живем
приказом
октябрьской воли.

...Второй эпизод связан с «Балладой о бюрократе и рабкоре».

После просмотра очередной домашней почты Владимир Владимирович раньше обычного пришел в редакцию (как правило, он заходил в двенадцать — час дня).

— Товарищи, я пришел не с пустыми руками. Решил ополчиться на бюрократов-зажимщиков и прописал их в стихах. Хотите послушать?

В редакции в этот день собрались на семинар юнкоры. Мы предложили Маяковскому познакомить их с новыми стихами, поскольку тема была близка именно юнкорам и рабкорам.

— Ну что ж, с удовольствием! Послушаем, что скажут юнкоры...

Аудитория была небольшая — человек двадцать — двадцать пять.

Маяковский начал читать:

Балладу
новую
вытрубить рад.
Внимание!
Уши навострите!
В одном
учреждении
был бюрократ
и был
рабкор-самокритик...

В своих стихах Маяковский говорил о некоем бюрократе Васькине, который, невзирая на критику, на «статейные горы», оставался невозмутимым и продолжал «есть» рабкора Петрова.

Закончив чтение, Владимир Владимирович спросил:

— Ну как, товарищи, в точку или нет?

— В точку! — ответило сразу несколько голосов.

Кто-то из сотрудников редакции подал реплику:

— А какие же выводы?

— Правильный вопрос. Спрашивается, какие же выводы? Неужели бюрократ Васькин будет вечно здравствовать и «есть» рабкоров? — произнес, вмешавшись в разговор, Орловский.

После некоторой паузы он продолжал:

— Не кажется ли вам, Владимир Владимирович, что концовка баллады слишком безысходна?

Маяковский ответил:

— Может быть, товарищи и правы. Надо поразмыслить... Я согласен, что тему нельзя заводить в тупик.

К концу семинара Владимир Владимирович вновь появился в отделе юнкоров.

— На меня критика действует больше, чем на Васькина. Вот мораль этой баллады:

Во-первых,
вступив
с бюрократом в бои,
вонзив
справедливую критику,

смотри
и следи —
из заметок твоих
какие
действия
вытекут...

Баллада зазвучала оптимистично, безысходность исчезла.

В этом эпизоде мы снова увидели нашего Маяковского, который умел прислушиваться к голосу критики, чутко относиться к мнениям и советам читателей, рабкоров, газетчиков.

Умение найти контакт с аудиторией, умение терпеливо выслушать суждение простого читателя о своем творчестве, мне кажется, было одной из примечательных черт поэта.

Был конец 1929 года... Дела в редакции шли своим чередом. Многие сотрудники в эти дни находились в командировках — на первых стройках пятилетки, в сельских районах, в крупных промышленных центрах. После известного обращения рабочих «Красного выборжца» в стране начиналось социалистическое соревнование за досрочное выполнение пятилетки. Газете надо было поспевать за быстрым течением жизни.

В разгар рабочего дня в редакции раздался не совсем обычный звонок. Звонили из ВСНХ и просили редактора связаться с Г. К. Орджоникидзе. Исполняющий обязанности редактора Яков Ильин после короткого телефонного разговора поспешно уехал, никому не объяснив, в чем дело.

Как водится, начались догадки, предположения, домыслы...

— Наверное, наврали мы в чем-нибудь,— мрачно произнес Миша Красногорский.— Я всегда говорил, что надо лучше проверять материалы...

— А может, наоборот, нас хотят похвалить,— сказал, вмешавшись в разговор, Орловский.— Хотя я лично не стал бы хвалить вашу команду. Шумите много, а пользы для читателей мало. Будь в моей власти, давно бы многих из вас списал на берег. Другое дело — информация. Мы каждый день преподносим читателю

гостинцы: сегодня — экспедиция «Красина», «военная игра», завтра — воздухоплавательные состязания, «наши летчики в Америке».

Капитану пытались возразить. В ответ он выбросил такой богатый набор морских и неморских терминов, что состязаться с ним у нас не хватило сил. Окинув всех взглядом победителя, он удалился в свой рабочий угол, именовавшийся «капитанским мостиком».

Часа через полтора вернулся запыхавшийся Ильин. В ответ на вопросы кинувшихся навстречу сотрудников он только замахал руками и скороговоркой прокричал:

— Надо немедленно разыскать Маяковского... Два раза я рассказывать не могу... Дело связано с ним... Разыщите — всё узнаете.

Человек пять, словно по команде, кинулись к телефонам. Звонили на квартиру, в «рабочую комнату», в Дом печати, в издательство «Молодая гвардия». Секретарь комсомольского отдела Вася Сырков, с тревогой перелистывавший подшивку газеты в поисках «ошибки», прервал наконец это бесполезное занятие. «Промышленники», нервничавшие больше других, успокоились и вернулись к макетам и гранкам. Ильин уткнулся в записную книжку, где, очевидно, и находилась интересующая всех разгадка.

Через час дверь в кабинет редактора шумно распахнулась.

— Найден! — вскричал, вбегая, Орловский.— Мы, моряки, знаем, как определять координаты любого корабля. Через десять — пятнадцать минут Владимир Владимирович будет здесь.

Редакция вообще никогда не испытывала недостатка в посетителях, но в этот день наплыв их, казалось, был особенно велик.

Наше нетерпение росло, но Ильин был неумолимо молчалив. Минут через двадцать в редакции появился Маяковский.

— Так вот, товарищи, расскажу все по порядку,— начал Ильин.— Я имел беседу с товарищем Орджоникидзе. Он, оказывается, внимательно следит за нашей газетой, в особенности за тем, как мы освещаем темы промышленности. В общем, он доволен... Ему нравится боевой тон газеты, ее стремление охватить все стороны

жизни, острота постановки вопросов. Он не преминул, правда, заметить, что порой мы выступаем излишне крикливо, с оттенком сенсации. Это надо преодолеть. С похвалой отозвался товарищ Орджоникидзе о ваших, Владимир Владимирович, стихах на животрепещущие темы. Но есть у него одно пожелание и к редакции, и к вам лично... Суть дела вот в чем. Мы сейчас много пишем о соревновании, рассказываем об отдельных ударниках, поднимаем их. Все это важно и полезно, но еще важнее с государственной точки зрения другое — бороться за то, чтобы были у нас ударные бригады, пролеты, цехи и целые заводы. При этом Орджоникидзе добавил: «Учить вас нечего, вы сами знаете, как вести эту кампанию в газете, но хорошо было бы, если б и Маяковский помог своим пером. Передайте ему мою просьбу — и не только мою — пусть поможет партии и правительству в этом большом деле...»

Все, что рассказал Ильин, заставило нас над многим призадуматься. Ведь в газетной практике бывает так: все идет, как по конвейеру, все как будто бы налажено, а глядишь — за «текучкой» и не заметили, что жизнь ушла вперед, что надо подниматься на новую ступень, иначе отстанешь.

Владимир Владимирович тоже чувствовал себя в какой-то степени «именинником».

— Значит, не впустую бьем строками! — сказал он.

...Первым откликом Маяковского на пожелание Г. К. Орджоникидзе был «Марш ударных бригад», где поэт обращался с призывом переходить от ударных бригад к ударным цехам, от цехов — к ударным заводам.

Вторая половина года 1929-го вообще была весьма плодотворной в газетной работе Маяковского. Именно в эти месяцы он написал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», заканчивавшийся словами, которые стали крылатыми:

Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,

когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

Патриотической гордостью было проникнуто созданное в это же время стихотворение «Американцы удивляются», в котором он выражал уверенность, что мы догоним и перегоним «быстроногую знаменитую Америку».

«Комсомолка» двадцатых годов была одной из самых молодых советских газет, она переживала период становления. Были у нее и ошибки, и критические «загибы», но молодые журналисты всегда стремились улавливать все новое, поспевать за жизнью. Эта верность чувству времени, очевидно, объединяла и привлекала друг к другу большого поэта и молодежный коллектив редакции.

Совместная творческая работа обычно сближает, позволяет находить общий язык, вырабатывает единство взглядов и оценок. Маяковский пришел в газету как «нештатный» автор, а в конце концов стал ее постоянным сотрудником, выполнявшим — и притом искренне и с большой творческой радостью — самые будничные, «черновые» задания.

В наших глазах, глазах молодежи, Маяковский — и как человек, и как боевой поэт — был идеалом (я не боюсь этого слова), живым примером, заслуживающим подражания. Своим истинно комсомольским задором, прямотой, манерой держаться и говорить он привлекал к себе симпатии комсомольцев, рабочей и студенческой молодежи. Вокруг его выступлений обычно было много споров, шумихи, если хотите, скандалов. Но он никогда не сдавался, не терялся, смело разил литературных противников.

Владимир Владимирович стал «своим человеком» в редакции. Если в первые дни его в какой-то степени побаивались, робели от его жесткого, порой сурового взгляда, то впоследствии, при более близком знакомстве, стали быстрее находить с ним общий язык, смелее спорить и высказывать свое мнение, которое поэт умел уважать. Мы поняли, что за суровостью Маяков-

ского кроется большое и отзывчивое сердце, какая-то внутренняя, не афишируемая скромность.

Молодость тянулась к нему, от души приветствовала каждое его новое выступление. Эти выступления, особенно в больших аудиториях, обычно проходили в приподнятой, праздничной атмосфере именно потому, что молодежь считала Маяковского «своим поэтом», выразителем ее дум и чаяний.

Б. М. Филиппов

МАЯКОВСКИЙ СРЕДИ АКТЕРОВ

На бойком месте столицы, возле площади Маяковского, есть улица, носящая имя известного партизана и разведчика Медведева. Еще недавно она именовалась Старопименовским переулком. С незапамятных времен и до начала тридцатых годов нашего века здесь находилась церковь святого Пимена. Ныне Старопименовский переулок в его первозданном виде запечатлен лишь в творениях замечательного художника Ивана Павлова, автора гравюр, отображающих типичные уголки старой Москвы.

В начале тридцатых годов через церковный двор был выгорожен узкий проход к помещению клуба театральных работников, именуемого в обиходе «Кружком», потому что раньше здесь помещался «Кружок друзей искусства и культуры».

Посетитель-новичок мог лишь с большим трудом разыскать это учреждение, приютившееся за высокой деревянной оградой, в подвале двухэтажного дома, построенного жилищным кооперативом «Труженик искусства» и населенного известными актерами Москвы.

В подвал вела лесенка весьма непривлекательного вида. Но стоило только спуститься в это убежище муз, и впечатление невзрачности сразу же исчезало. «Кружок» напоминал собой барскую квартиру с гостиными и небольшим залом. Ресторан с выгороженными по стенам ложами, бильярдная и небольшая библиотека дополняли клубную обстановку. В бытность «Кружка друзей искусства и культуры», на месте которого воз-

ник театральный клуб, здесь имелись ломберные столики и процветала карточная игра.

Новые хозяева помещения поломали старые, картежные традиции. Первый лозунг, засверкавший в клубе, призывал зычным голосом Маяковского:

Марксизм — оружие,
Огнестрельный метод.
Применяй умеючи
Метод этот!

Владимир Владимирович в последние месяцы своей жизни нередко захаживал в клуб. Иногда в одиночестве. Иногда с поэтом Иосифом Уткиным, своим постоянным партнером по бильярду. А порой с небольшой, преимущественно актерской, компанией.

25 февраля 1930 года состоялось официальное открытие клуба. К 11 часам вечера переулок был запружен извозчичьими санками. Собралась вся артистическая гвардия Москвы: МХАТ был представлен В. И. Качаловым, И. М. Москвиным, Л. М. Леонидовым, О. Л. Книппер-Чеховой; МХАТ-II — И. Н. Берсеневым, С. В. Гиацинтовой, С. Г. Бирман, А. М. Азариным; Большой театр — А. В. Неждановой, Н. А. Обуховой, Л. В. Собиновым, В. В. Барсовой, Е. В. Гельцер; Малый театр — А. А. Яблочкиной, В. Н. Рыжовой, П. М. Садовским, М. М. Климовым, С. Л. Кузнецовым; коршевцы — Н. М. Радиным, М. М. Блюменталь-Тамариной, Е. М. Шатровой, В. О. Топорковым, Б. Я. Петкером; вахтанговцы — Б. В. Щукиным, Ц. Л. Мансуровой, Р. Н. Симоновым, А. И. Горюновым... Всех не перечесть.

В зрительном зале были накрыты столики. На маленькой клубной эстраде молодежь подготовила «капустник», в котором приняли участие С. В. Образцов, Р. В. Зеленая, Б. Тенин, Л. Б. Миров.

Старейший московский конферансье А. А. Менделевич и его собрат по профессии А. Г. Алексеев умело вытаскивали на эстраду исполнителей из числа тех, кто сидел в зале. И вдруг кто-то громогласно начал просить на сцену Маяковского. В зале поднялся невообразимый шум:

— Маяковский! Маяковский! Просим выступить! Просим на эстраду!

Было уже около двух часов ночи. Поэт сидел за столиком в углу зрительного зала с артистами М. М. Ян-

шиным и В. В. Полонской. Выступать ему явно не хотелось. Но возгласы усиливались, и сопротивление Маяковского было сломлено. Он встал и медленной, тяжелой походкой направился к сцене, пожимая по пути руки знакомым и друзьям.

В низком клубном помещении на маленькой эстраде он казался особенно могучим и огромным. В зале мгновенно воцарилась полная тишина.

— Я прочту вступление к своей новой поэме. Ее название — «Во весь голос». Вы слышите ее впервые.

Новый взрыв аплодисментов. Зал насторожился. Маяковский вынул из кармана затрепанный блокнот, и на нас обрушились чеканные стихи «агитатора, горлана-главаря». Трудно передать реакцию слушателей, когда Маяковский окончил чтение. Несколько секунд продолжалась мертвая тишина, нарушенная затем бурной, стихийной овацией. Все вскочили с мест, приветствуя своего поэта.

— А теперь просим выступить Василия Ивановича Качалова! — выкрикнул чей-то голос.

На сцену поднялся Качалов и решительно сказал:

— После Маяковского нельзя выступать!

Концерт закончился...

Позже Владимир Владимирович неоднократно заходил в наш клуб. Его можно было встретить в маленькой гостиной оживленно беседующим в кругу мейерхольдовцев или спорящим по вопросам изобразительного искусства с художниками Д. С. Моором и М. М. Черемных. Но нередко Маяковский приходил просто так, отдохнуть и поразмяться за бильярдным столом. При этом он говорил, что существует старинное отличное правило: «Работаешь стоя — отдыхай сидя, работаешь сидя — отдыхай стоя».

Быть может, именно поэтому он особенно любил бильярд, рассматривая его как один из видов спорта, а тех, кто сомневался в этом, иронически величал «преферансистами».

Маяковский играл весело и, даже проигрывая партию, пересыпал остротами удары по шарам. От него мы узнали забавную эпиграмму и вывесили ее у себя в клубе в «назидание» посетителям:

Запомни истину одну:
Коль в клуб идешь — бери жену!

Не подражай буржую —
Свою, а не чужую!

— Это ваше творчество, Владимир Владимирович? — спросили мы у Маяковского.

— Как вы не понимаете... Это же фольклор! — шутя отвечал поэт.

Впоследствии выяснилось, что автором первых двух строк был Сергей Третьяков, а конец присочинил Маяковский.

Во время бильярдных сражений с Иосифом Уткиным Маяковский иногда в шутку предлагал своему партнеру сыграть «на строчки». Это обозначало, что проигравший должен уступить победителю предстоящий гонорар за свое вновь опубликованное в печати стихотворение. Как партнеры разбирались потом в этой сложной бухгалтерии — сказать трудно.

Одним поздним вечером я был свидетелем бильярдной схватки Маяковского с Луначарским, который также увлекался этим спортом, но порядком нервничал, терпя поражения. Маяковский хладнокровно укладывал в лузы шары, приговаривая при этом, что наркому, мол, неудобно выигрывать у простых смертных.

— Нарком, если даже честно выиграет партию, то все равно его обвинят в том, что он потворствует подхалимажу!

Встретив однажды в клубе некоего самовлюбленного критика, неодобрительно высказывавшегося о «Клопе», Маяковский решил «отыграться» за бильярдным столом и с подчеркнутой любезностью пригласил своего недоброжелателя в качестве партнера.

Критик даже в бильярдной разговаривал со всеми свысока, несмотря на свой низкий рост. Недаром старый клубный маркер Захар Иванович, склонный пофилософствовать, говорил по поводу этого «мастера пера», что он страдает «мантией» величия. Критик считался приличным игроком, но Маяковский дал ему фору при условии, что проигравший должен будет трижды пролезть под бильярдным столом. Партнер вначале не соглашался, но явное преимущество в шарах и соблазн видеть Маяковского в смешном положении поколебали его обычную чопорность.

Кажется, впервые я видел Маяковского за игрой в напряженно-серьезном состоянии.

Слух об этой партии мгновенно разнесся по клубу и собрал в бильярдную массу болельщиков. Все были на стороне Маяковского и подбадривали его сочувственными репликами. Вскоре самоуверенный критик вынужден был лезть под стол, сопровождаемый ревом всех присутствующих.

— Рожденный ползать писать не может! — изрек Маяковский.— Может быть, вы хотите отыграться? — спросил он у своего партнера, но тот потерял всякий аппетит к игре.

В клубе долго хранился личный кий Маяковского, переданный впоследствии в музей его имени.

Последний раз Владимир Владимирович был в нашем клубе незадолго до своей смерти. Ничто не предвещало трагического конца. Он зашел в бильярдную с шутливым возгласом:

— Ищу очередную жертву!

На этот раз «жертвой» оказался конферансье А. А. Менделевич, который обычно острил в свой собственный адрес, что в Москве есть три основных памятника старины: храм Василия Блаженного, Царь-колокол и он, Менделевич.

Посетителей в клубе в этот вечер было мало, и поэт пробыл у нас недолго. Встретив Маяковского в узком коридоре, я затащил его в свой крохотный кабинет.

— Владимир Владимирович, вы у нас часто бываете. По-видимому, вы неплохо к нам относитесь. Мы были бы очень рады, если бы вы вступили в члены нашего клуба.

Маяковский улыбнулся и шутливо сказал:

— Ну что ж! Если это дает право играть на бильярде без очереди... я подумаю. Только вы же это неспроста. Вы же хотите заставить меня что-нибудь делать. А я человек слабый, болезненный.

Видя мое сконфуженное лицо, Маяковский вдруг переменил тон и по-доброму сказал:

— Ладно, ладно. Не огорчайтесь. Я обязательно вступлю в члены вашего клуба. Мне нравится ваш подвал. Потолки у вас низкие, и я здесь кажусь выше. А это, дорогой мой, очень важно, хотя бы казаться выше!.. Что это вы мне даете? — поморщился вдруг Маяковский, рассматривая небольшой анкетный лист, который я ему протянул.— Анкета?.. Еще одна анкета?..

Нет, дорогой мой директор, тогда я подожду. Как только вы ликвидируете анкеты, считайте меня своим активистом!

И поэт направился к выходу. Я видел, как он задержался в фойе у бюста Пушкина, слегка погладил его и пошел в гардероб.

Это была последняя встреча с Маяковским. Вскоре на нас обрушилась весть о непоправимом...

Л. С. Татарийская

В ЛУБЯНСКОМ ПРОЕЗДЕ

С 1923 года я проживаю в квартире, где жил и работал поэт В. В. Маяковский (Лубянский проезд, дом 3, квартира 12; теперь проезд Серова, дом 3/6, квартира 25).

Квартира наша большая, около ста семидесяти квадратных метров. Как войдешь в переднюю, сразу налево комната Маяковского. Рядом с нею комната моих родителей, с которыми я жила. Из передней вход в длинный коридор, и там еще четыре комнаты, ванная и кухня.

Когда Владимир Владимирович бывал дома, наша тихая квартира оживлялась. Раскрывались двери из его комнаты, звонил беспрерывно телефон, раздавался громкий голос поэта. К нему приходили писатели, журналисты, велись оживленные беседы, споры.

Поэт занимал самую маленькую комнату в двенадцать-тринадцать квадратных метров. При входе в комнату сразу же налево камин, направо большая тахта, у окна, напротив двери, бюро, справа на стене портрет Владимира Ильича Ленина, налево книжный шкаф, небольшой стол и чемодан-сундук. Несмотря на строгую мебель, комната казалась уютной, особенно, когда ее ярко заливало солнце.

Если Владимир Владимирович продумывал и сочинял свои произведения, он открывал дверь из комнаты в переднюю, из передней в коридор и шагал туда и обратно.

А когда ему нужно было свои мысли и слова переносить на бумагу, он подходил к бюро, становился одной ногой на стул и записывал.

Как сейчас, вижу его, шагающего большими шагами, занятого раздумьями, отбирающего для своих стихов лучшие слова из «тысячи тонн словесной руды».

Жильцы квартиры знали эту манеру его работы и в такие минуты старались как можно реже выходить в коридор, чтобы не отвлекать его от дела и не мешать ему.

Если Маяковский приходил домой поздно вечером, то, зная, что соседи уже спят, он очень тихо открывал двери, старался бесшумно пройти на цыпочках, но это ему плохо удавалось. При его большом росте и крепком сложении даже осторожное передвижение на цыпочках отзывалось по всей квартире. Но в квартире никто не обижался на это.

Владимир Владимирович со всеми соседями был очень вежлив, внимателен, предупредителен. Держался просто и скромно.

В нашей квартире тогда было двое детей. Они иногда выбегали в переднюю, где находилась комната Владимира Владимировича, и затевали там шумную игру. Если поэт работал и хотел, чтобы дети ему не мешали, он выносил им конфеты или пирожное, угощал. Дети, довольные, уходили в свои комнаты. Но они частенько злоупотребляли добротой «дяди Володи» и нарочно играли у его дверей, чтобы выманить сладости. А получив угощения, стремглав бежали к себе и кричали:

— Мамочка, мамочка! Какой дядя Володя добрый!

Случалось, Владимир Владимирович узнавал, что у кого-либо из соседей по квартире произошла неприятность, слышал, что кто-нибудь плачет; он старался выяснить, в чем дело, и успокоить человека или чем-нибудь помочь ему. В таких случаях лицо его становилось каким-то растерянным, растроганным.

Так как наша комната была рядом с комнатой Маяковского и выходила в общую переднюю, Владимир Владимирович, уходя из дому, часто оставлял нам какое-нибудь поручение — передать кому-нибудь письмо, что-нибудь получить для него или просто сказать, что он будет во столько-то часов дома. Мы всегда охотно выполняли его поручения, а он никогда не забывал поблагодарить.

У Владимира Владимировича часто бывали его мама Александра Алексеевна и сестры Людмила Владими-

ровна и Ольга Владимировна. Для них он также оставлял поручения, записочки, если ему вдруг приходилось отлучаться. Особенно хорошо помню Ольгу Владимировну — у нее было большое сходство с братом и в фигуре и в голосе. Когда мы передавали ей поручение брата, она с доброй улыбкой благодарила и энергичной походкой спешила куда-то.

Когда мы поселились здесь, мне было шестнадцать лет. Я училась в школе. Мои школьные товарищи меня всегда просили рассказать им что-нибудь о Маяковском. С большим вниманием и интересом они слушали рассказы о нем.

Как-то Владимир Владимирович закончил какое-то произведение. Ему, видимо, нужно было его быстро переписать, он зашел к нам и сказал мне:

— Товарищ Люся (так он меня называл), я бы очень хотел, чтобы вы научились писать на машинке. Мне это было бы очень удобно.

Мои родители приобрели машинку, и я стала учиться работать на ней. Через некоторое время Владимир Владимирович стал давать мне переписывать свои произведения. Первое время я, конечно, писала медленно и делала много ошибок. Почерк у Маяковского был далеко не каллиграфический, я часто не разбирала и писала совсем другое.

Помню, с какой терпеливостью он объяснял мне, как нужно вникать в «дебри» его почерка и не пропускать слов. Владимир Владимирович не давал мне почувствовать, что недоволен моей работой, хотя я понимала, что она ему не нравится. Он никогда не возмущался и не делал мне замечаний в резкой форме.

— Люсенька,— говорил он,— возьмите закладочку и водите вот так. Если какие-либо слова не разберете, приходите ко мне сколько вам угодно, спросите, не стесняйтесь, я буду доволен...

Я очень желала научиться писать на машинке так, чтобы Маяковский похвалил меня. И как я была рада, когда он однажды сказал:

— Ну, теперь вы меня хорошо разбираете.— И в шутку заметил: — Скоро я назову вас своим соавтором.

Ему всегда хотелось, чтобы его новое сочинение было переписано на машинке сразу же. Бывало, прине-

сет рукопись, уйдет, а через несколько минут входит и спрашивает:

— Еще не готово?

— Владимир Владимирович,— говорю я,— ведь вы только что дали свои стихи.

— Ах, вот что!

Как-то Владимир Владимирович принес мне рукопись пьесы «Клоп» и попросил как можно быстрее переписать ее. Ночью, часов в двенадцать, я услышала стук в дверь. Открыла и вижу Маяковского. Он извинился, что разбудил меня, и просил закончить переписку пьесы.

— Люсенька, простите, что поднял вас, но мне очень-очень нужно...

Конечно, я встала и начала работать. Я всегда с большой охотой писала для Владимира Владимировича его произведения.

Помню, когда я переписывала пьесу «Клоп», мне какое-то место показалось очень смешным, я громко рассмеялась. Услышав мой смех, Владимир Владимирович тут же вбежал ко мне в комнату и сказал:

— Люсенька, правда, смешно? В каком месте?

Я ему показала. Он был очень доволен, лицо его стало веселым.

Перед просмотром пьесы «Клоп» в театре Вс. Мейерхольда он принес мне пригласительный билет и шутливо-торжественно сказал:

— Это — моему соавтору.

А когда я переписывала «Баню», он часто спрашивал меня:

— Ну, товарищ Люся, нравится вам? Вы понимаете эту пьесу? Вам это интересно?

Мне были приятны его вопросы, и вместе с тем я удивлялась, как это такой большой поэт спрашивает мое мнение о своих произведениях, спрашивает меня, совсем юную и мало разбирающуюся в литературе девушку. Иногда он заходил ко мне, просил кое-что переписать и виновато говорил:

— Люсенька, сейчас у меня денег нет. Сейчас я гол как сокол.

Но зато с каким добрым и веселым лицом, с какой благодарной улыбкой он приносил деньги за работу! Положит на стол и говорит:

— Это вам, довольно?!

Особенно запомнилась мне его поэма «Во весь голос». Когда я переписывала по его просьбе это произведение, Маяковский все время стоял рядом, внимательно следя за работой. Почему-то он был тогда особенно серьезным и озабоченным, задумчивым.

За день или два до смерти Владимир Владимирович постучал к нам в дверь, вошел не так порывисто, как обычно, и спросил меня:

— Товарищ Люся, я вам ничего не должен?

— Нет,— удивленно ответила я.

Постояв немного, он, по-видимому, хотел еще что-то сказать, но ничего больше не сказал и медленно вышел из комнаты.

Как благодарна я судьбе, которая дала мне возможность видеть этого замечательного поэта, доброго, задушевного человека и помогать ему в работе!

Нато Вачнадзе

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Весной 1926 года Владимир Владимирович Маяковский приехал в Тбилиси, где устраивался его вечер. Николай Шенгелая, который был близок с Маяковским, привел его вместе с несколькими грузинскими поэтами ко мне домой.

В комнату вошел огромный человек со строгим, даже несколько угрюмым взглядом и сжатым ртом. Моя небольшая комната заполнилась, казалось, одним Маяковским. Вот он заговорил, и впечатление от его сосредоточенного и на первый взгляд мрачного вида сейчас же рассеялось под влиянием неожиданно мягкой манеры вести разговор, от необычайно простой, ритмичной и тихой его речи. Волнение, которое, естественно, должно было у меня возникнуть при встрече с большим поэтом, едва успев зародиться, исчезло. И не знаю почему, между нами сразу установились простые, дружеские отношения. Я чувствовала себя так естественно и спокойно, как будто мы уже давно знали друг друга.

— Так вот она какая, Нато Вачнадзе! А я думал, она — знаменитая красавица,— сказал Маяковский, обратившись к Н. Шенгелая.

Время в беседе за столом прошло незаметно. Вечер Маяковского начинался в девять часов, и Владимир Владимирович ушел, взяв с нас слово, что мы придем его слушать.

Немного опоздав к началу вечера, я и Н. Шенгелая тихо вошли в переполненный зал. Наши места были в передних рядах. Мы не решились пробираться через

зал во время чтения — Маяковский читал «Левый марш» — и остановились в проходе, невольно обращая на себя внимание публики, тем более что мы только что были помолвлены. Почувствовав мучительную неловкость от любопытных взглядов и перешептывания, я уже готова была уйти с вечера, как вдруг раздался могучий голос Маяковского, который только что кончил читать «Левый марш»:

— Что вы стоите, как столбы, Вачнадзе и Шенгелая? Подойдите ко мне поближе, не стесняйтесь! Вот я вас здесь и обвенчаю всенародно.

Весь зал смеялся, как бы признав после слов Маяковского мои отношения с Н. Шенгелая узаконенными.

Часть старой интеллигенции не принимала Маяковского. Его манера и тон его ответов на записки вызывали у них гримасы неудовольствия и возмущенное перешептывание. Маяковский видел это.

Вечер закончился. Мы опять сошлись вместе. Маяковский был недоволен.

— Для них я никогда ничего не писал, и меня не удивляет, что они ничего не поняли.

Но в голосе его слышалась обида.

Когда мы возвращались домой по безлюдным улицам Тбилиси, Маяковский читал отрывки из своего стихотворения «Дешевая распродажа»:

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,—
а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече.—
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Спустя некоторое время я уехала в Москву, намереваясь остаться там для работы. Мне предстояло жить в большом и тогда еще незнакомом городе, где у меня едва насчитывалось несколько человек друзей и знакомых. В числе прочих семейных и дружеских напутствий





Х. Н. Ставраков. *1908 г.*

Г. Н. Корганов. *1909 г.*


Р. Н. Симонов. *1923 г.*


С. И. Аралов. *1925 г.*

я получила наказ обязательно повидать Маяковского.

В Москве я остановилась у Фатьмы Твалтвадзе, родственницы Н. Шенгелая и впоследствии большого моего друга, в общежитии Горной академии. Комната у нее была маленькая, по форме похожая на рояль, два-три человека помещались там с трудом — не иначе как сидя. Прошло некоторое время, прежде чем я решилась позвонить Владимиру Владимировичу.

— Где вы, откуда вы? Я к вам подъеду сейчас же,— загудел в телефон его сильный, сочный голос, и действительно, не прошло получаса, как Маяковский уже был у нас. Его огромная фигура никак не умещалась в нашей комнате, и мы поспешно его усадили.

— Ну ладно, согласно приличиям, мой официальный визит к вам закончен,— смеялся Маяковский,— а теперь поехали, я покажу вам мою Москву.

Мы ехали по гладкому, ровному Ленинградскому шоссе в такси старого образца, кузов его был тесен для Маяковского. Скрестив руки на груди, Владимир Владимирович говорил со мной.

— Если вы серьезно хотите отдаться своей профессии, то нужно отодвинуть на второй план ваши личные отношения, семью, иначе засосет она вас или постоянно будет вас отвлекать,— говорил Владимир Владимирович. На минуту он сам о чем-то очень серьезно задумался, потом засмеялся и, резко повернувшись ко мне, сказал: — Вы, пожалуйста, не думайте, Наташа, что я собираюсь вас разводить, нет, нет! Но человек ведь очень ценное существо,— продолжал он.— Боюсь я за вас — вы хрупкая женщина. А впрочем, это я так,— оборвал он внезапно,— это все рассуждения. Давайте лучше выйдем мы с вами из машины и походим пешком. Посмотрите, какая золотая наша российская осень. Небось в Грузии у вас такой красоты не увидишь.

Мы вышли из машины. Действительно, золотая стояла осень, и такая же многокрасочная, как стихи Маяковского. Оба мы молчали, думая каждый о своем.

— Вредно так задумываться, лучше давайте я буду дальше показывать вам Москву,— сказал Маяковский, и к вечеру мы поехали в Дом актера, где он играл на бильярде, обязуясь лазить под стол в случае проигрыша, и действительно это проделывал. Затем он пригласил меня танцевать, но скоро сам же отказался, гово-

ря: — Я ведь медведь, все ноги вам отдавлю. Сейчас подыщу вам великосветского кавалера.

Поздно ночью Маяковский привез меня к моему общежитию. Ворота оказались запертыми. Долго ходили мы вокруг дома, погруженного в сон. Наконец Маяковский скинул пальто, влез на ворота и стал звать Фатьму Твалтвадзе:

— Фатьма, а тетя Фатьма! — Через некоторое время она появилась в окне.— Примите же, пожалуйста, Наташу! — кричал Маяковский.— Что скажет общественность? Я обязан водворить Наташу в дом!

Наконец железные ворота открылись, и я попрощалась с Маяковским, обещав, что спустя день приду к нему и мы вместе отправимся на его вечер в Политехнический музей.

В назначенное время я пришла к Владимиру Владимировичу на Лубянку. Здесь он жил отдельно от своих друзей, помещавшихся на Таганке. Комната его, та, в которой он впоследствии застрелился, была невелика и очень просто обставлена: с первого же взгляда становилось ясно, что хозяину ее «краснодеревщики не слали мебель на дом». Но все же в этой комнате был камин, стоял хороший письменный стол, висел ковер на стене. Не было никаких фотографий. На столе, возле тахты, лежал томик Пушкина.

— Вот все на меня сердятся за мои стихи без ямбов, а ведь без Пушкина я не засыпаю — это моя любимая книга,— сказал мне Маяковский.

Я попросила, чтобы он прочитал какое-нибудь раннее свое стихотворение. Он читал отрывки из поэмы «Флейта-позвоночник».

Маяковский был грустен, задумчив, ему не хотелось идти на вечер. Но на трибуне он всегда преображался — становился острословом, поражал своей находчивостью, и все, что он говорил, имело острое политическое значение.

Зал Политехнического музея, в котором происходил вечер, был переполнен. Удивительно читал в тот раз Маяковский! Стихи его звучали, как боевой призыв. Он громил косность, затхлость мещанского быта, обличал буржуазные пережитки. На вопросы он часто отвечал в том стиле, в каком был задан вопрос. Он сразу определял, с кем имеет дело. Так, ему задали вопрос: «Смысл

жизни — это цветение чувств. Вы, конечно, с этим не согласны?»

— Гражданин,— загремел Маяковский, прочитав записку,— вопрос ваш узнаю. Отвечаю: кудреватые мудрейки! Ась? — В зале кто-то неразборчиво что-то промычал.— Кудреватые мудрейки. Да-сь! — язвительно констатировал Маяковский.— Если вас это устраивает, то цветите в чувстве — вот совет!

Весь зал смеялся.

Однажды Маяковский пригласил меня в Пушкино, на дачу к Брикам. Был выходной день. В дом приехало много гостей. Маяковский выбрал несколько человек и не разлучался с ними. Он был расстроен.

— Мне хотелось отдохнуть сегодня, провести с вами день,— жаловался он мне,— а сюда понаехало столько людей — от них и в Москве покоя нет.

На даче была собака — английский бульдог. Маяковский стал с нею играть, дразнил ее, клал руку ей в пасть. Его предупредили, что бульдоги отличаются мертвой хваткой.

— Вот этого мне и надо,— нервно ответил Маяковский.

Запомнилась мне более поздняя встреча с Маяковским, в Берлине, где снималось несколько кадров фильма «Живой труп». Был вечер. Я сидела с несколькими друзьями-актерами у себя в комнате. Вдруг в коридоре раздается чей-то знакомый голос, говорят по-русски:

— Где Ната Вачнадзе, скажите же мне наконец, где она?

В следующий момент дверь моей комнаты распахнулась, на пороге выросла фигура Владимира Владимировича. С прежней своей открытой, дружеской улыбкой он закричал:

— Ну вот, сидите здесь в комнате! Как это можно? Пойдемте в город!

Через несколько минут мы с ним уже шагали по улицам Берлина.

Маяковский был в черном широком пальто нараспашку и широкополой шляпе. Огромный и, я сказала бы, величественный, он был по-своему очень красив.

— Куда мы теперь направимся? — раздумывал Маяковский.— Мюзик-холлы с размалеванными девушка-

ми, ревю с выставкой голых тел, как на пляже,— все до крайности надоело. Противно!

Мы поехали в кино, где демонстрировались старые немые комедии, смотрели Чаплина, Бестера Китона. Маяковский веселился и хохотал, как ребенок. Потом его вдруг потянуло прочь из кино, и он повез меня в баварскую пивную старинного типа, где столами служили бочки, пиво подавалось в больших деревянных, окованных обручами ковшах, а выдержанное красное вино — в кружках. Закусывали невиданными по величине сосисками, шипящими в масле.

— Вы могли бы три года прожить в этом городе, а сюда не попасть,— удовлетворенно говорил Маяковский.— Вот вам — старый Берлин!

Потом он попросил меня помочь ему выбрать подарки — половине Москвы, по его словам, он должен был что-нибудь повезти. В то время в Берлине были специальные магазины подарков, задача могла показаться нетрудной, но Маяковский каждому хотел выбрать что-нибудь соответствующее его характеру.

— Этой надо что-нибудь повеселее,— говорил он,— она девушка. А что касается той вот,— размышлял он,— то надо всерьез обсудить, что ей повезти, она ведь семейная, и не просто семейная, а с Кавказа.

По вещам, которые выбирал Маяковский, я могла создать себе довольно ясное представление о тех, кому они предназначались.

В тот же день вечером Маяковский уезжал в Москву. Прощаясь со мной, он говорил:

— Надоел Париж, надоел Берлин, задыхаюсь я здесь. В Москву, скорее в Москву!

1930 год. Морозные, хмурые московские сумерки. Случайно узнаем, что сегодня по случаю двадцатилетия литературной деятельности Маяковского устраивается его вечер. Удивительно, что нигде нет никаких объявлений. В Клубе писателей четыре комнаты заполнены материалами, представляющими его творчество, и его плакатами. Выставка сделана небрежно, но, несмотря на это, Маяковский достаточно ярко представлен на ней как глашатай революции, как художник и агитатор. Какие только темы наших трудовых будней, нашего строительства не были им затронуты!

На выставке я увидела издавна знакомые мне пла-

каты РОСТА. Я впервые узнала, что и рисунки для этих плакатов были сделаны Маяковским.

Вечер начался вступительным словом очень юного комсомольца, честно старавшегося объяснить значение поэзии Маяковского для народа. И это — все. Больше не было ни докладов, ни выступлений. Потом вышел сам Маяковский. Он сказал:

— Ну что ж, товарищи, как видно, сегодня не такой день, чтоб я мог говорить вам красные слова. Единственное, что я могу сделать, это прочесть свою новую поэму — «Во весь голос».

И он начал читать ее сурово и торжественно. Свои стихи Маяковский всегда читал с огромной и совершенно своеобразной выразительностью, но в этот вечер в чтении его была какая-то непреодолимая сила. Девятнадцать лет прошло с того времени, а в памяти моей, словно выжженные огнем, запечатлены слова:

Я, ассенизатор
                    и водовоз,
революцией
                 мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
                    из барских садоводств
поэзии —
            бабы капризной.

Зал был наполовину пуст. Группами и в одиночку располагалась в нем молодежь, случайные люди.

И мне
        агитпроп
                    в зубах навяз,
и мне бы
            строчить
                        романсы на вас —
доходней оно
                 и прелестней.
Но я
       себя
            смирял,
                      становясь
на горло
            собственной песне.

В зале нет Кирсанова, нет Асеева, нет даже Крученых. Где-то позади сидит один Осип Брик. Маяковский продолжает:

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.

Позже, когда вышло знаменитое постановление партии о литературе и искусстве от 23 апреля 1932 года, все стало ясно, но тогда, в тот вечер, холодно и страшно мне было слушать эти пламенные слова, брошенные в пустой зал:

Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.

Я оглянулась кругом и испугалась собственной мысли. Этот вечер был чем-то похож на тризну, что-то погребальное мне почудилось в нем, и сразу стало трудно слушать, а бессмертная поэма Маяковского гремела в зале:

Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди,—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Кончив читать, Маяковский резко, большими шагами вышел из зала. Я сейчас же пошла за ним. Он сидел в кафе за столиком один и был очень расстроен.

— Да ну их к черту! Сколько бы там РАПП ни старался, а все же я буду жить и буду писать,— говорил он.

Как я потом узнала, РАПП действительно старался сорвать выставку.

По занесенным снегом московским улицам я возвращалась домой, удрученная и рассерженная, а в голове и в сердце у меня звучали слова:

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,

над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

13 апреля я и Шенгелая встретились с Маяковским в садике Дома Герцена, на Тверском бульваре.

Могла ли я думать тогда, что Маяковского на другой день не будет в живых? Маяковский и смерть — разве можно себе это представить?

14 апреля я вышла из дому по делу и, вернувшись, застала у себя в комнате Довженко, Солнцеву и Шенгелая. По их лицам я поняла, что случилось что-то страшное, непоправимое.

Через три часа мы все были на Таганке, куда перевезли тело Маяковского. Мы поднялись по темной лестнице и вошли в переднюю его квартиры. Человек в белом халате вынес из комнаты что-то, накрытое марлей. Это был мозг Маяковского. Страшно было подумать, что так окончилась жизнь лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи, человека необычайной широты и силы, в котором все — поэзия, чувства, поступки — было одинакового огромного масштаба.

Сдерживая дыхание, мы вошли в комнату Маяковского. Он лежал на низкой тахте. Его плечи, обтянутые белой рубахой, покрывали всю ширину тахты, ноги выдвинулись на пол-аршина за ее край. Накрытый одеялом, с подушкой под головой, он казался спящим. В особенности плечи и ноги его казались совершенно живыми. Я смотрела на его лицо, на всю его мощную фигуру и не могла убедить себя, что это — смерть.

Маяковского перевезли в Клуб писателей. Он лежал в гробу посредине того зала, где недавно читал «Во весь голос». Я подошла к дверям. Из гроба, прямо на меня, выставились большие ботинки, подкованные железными пластинками. Пластинки эти, стертые от ходьбы, блестели каким-то неестественным живым блеском. Я смотрела на них и опять напрасно пыталась уяснить себе, как могла смерть одолеть такого могучего человека.

В. Н. Агачева-Нанейшвили

ЖИЗНЬ БЛИЗКАЯ И ДОРОГАЯ

У меня на столе три книги, три дорогих подарка: А. А. Маяковской «Детство и юность Владимира Маяковского» и Л. В. Маяковской «Пережитое» и «О Владимире Маяковском». Первая написана и подарена мне матерью поэта — тетей Сашей, как я привыкла ее называть, вторая — сестрой поэта и моей двоюродной сестрой Людой.

На своей книге тетя Саша надписала: «Дорогой, родной Верочке, которой понятна, близка и дорога наша жизнь. От любящей тети Саши». Такие же сердечные, теплые надписи и на двух других книгах.

Эти надписи очень многое говорят моему сердцу, потому что, действительно, жизнь Владимира Маяковского была близка и дорога всей нашей семье. Перечитывая книги о нем, написанные его матерью и сестрой, я вспоминаю и свою маму.

Она, моя мама, Мария Алексеевна Агачева, была родной сестрой Александры Алексеевны Маяковской — матери поэта. Еще в раннем детстве я слышала от своей мамы много рассказов о ее сестре Саше, которую она так любила, о ее муже Владимире Константиновиче Маяковском и всей их семье. О Владимире Константиновиче мама говорила, что это был человек весьма добрый, ласковый, гостеприимный, общительный, веселый, остроумный, человек неутомимой энергии, жизнь которого проходила в неустанном труде.

В свои юные годы, до замужества, мама большей частью жила у сестры Саши, так как после смерти отца, моего дедушки, в 1878 году бабушка имела очень скром-

ные средства и сама последние годы своей жизни тоже прожила в семье Маяковских. Мой старший брат, Костя, который был младше на три года Володи Маяковского, до поступления в гимназию также два с лишним года, с 1903 по 1905 год, прожил в этой семье в Кутаиси, где тогда учился Володя, а на летние каникулы выезжали в Багдади. С братом моим занималась, готовила его к вступительным экзаменам старшая сестра поэта — Люда, закончившая к тому времени среднее учебное заведение в Тбилиси. Внимание и душевное тепло семьи Маяковских сохранились на всю жизнь, и он вспоминал о них с глубокой любовью и благодарностью.

Мой двоюродный брат Володя Маяковский был старше меня на девять лет, но впервые я с ним встретилась только в 1923 году.

До этого я знала его только по фотографии, подаренной им моей маме с надписью: «Дорогой тете Мане. Любящий Володя». Володя, очевидно, снимался для кино, на фотографии он запечатлен в богатой одежде, с высоким цилиндром на голове. Несмотря на это, он был очень красив, и я много лет любовалась этой фотографией.

Но в 1924 году Володя приехал в Тбилиси, пришел к нам, увидел над письменным столом свою фотографию, снял ее со стены, положил на стол обратной стороной вверх и сказал мне:

— Я очень тебя прошу — не вешай! Эту фотографию я очень не люблю.

Я растерялась, смутилась, ничего не сказала и не спросила почему, но просьбу его выполнила.

А еще до этого, в 1923 году, я с подругой приехала в Москву, в командировку на 1-ю Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Володя, узнав, что мы в Москве впервые, решил показать нам столицу. Он взял такси и долго катал нас по городу, показывая достопримечательности, шутил.

— Сейчас будет Кузнецкий мост,— предупредил нас Володя улыбаясь.

Но мы едем, едем, а моста не видно.

— А где же мост? — спросила я.

Володя, конечно, этого и ждал.

— Когда я приехал в Москву,— сказал он смеясь,— хотел увидеть Воробьевы горы, поехал посмотреть, но

никаких гор не увидел. Есть в Москве много названий, связанных с прошлым,— объяснил он.

Мы подъехали к Большому театру, как помню, он предложил нам послушать «Евгения Онегина». Закурив папироску, неторопливо подошел к кассе и в шутливом тоне сказал:

— Дайте, пожалуйста, два ложных билета.

А затем, получив билеты, спросил:

— А они действительны?

В тот же мой приезд Володя еще раз зашел навестить свою мамочку и сестер, к которым был всегда внимателен. Мне тогда он предложил поехать в Кремль.

— У меня пропуск в Кремль, поедем. Я, что можно будет, тебе покажу. Я знаю, тебе будет интересно.

Он ходил со мной по территории Кремля. Мне было все интересно: и высокие каменные стены, и башни Кремля, и его соборы, и Царь-колокол, и Царь-пушка.

Помню, как мы поднимались по какой-то узкой, тесной, с низкими потолками лестнице в Кремле и Володя сказал:

— Видишь, наши древние строители не подумали о нас, как трудно будет нам подниматься.

Хотя я уже с десятилетнего возраста часто писала письма в Москву тете Саше, но и ее я впервые увидела в 1923 году.

Эту скромную, невысокого роста женщину с зоркими карими, как будто суровыми глазами, с характерной складкой губ у резко очерченного рта, но весьма добрую и приветливую, я полюбила на всю свою жизнь. Я бывала у них потом почти ежегодно и подолгу. И меня покоряло ее сердечное, внимательное, ласковое отношение, заботливая чуткость, доброта и трудолюбие.

Теперь я понимаю, как много Володя воспринял от своих родных, от своей семьи, в которой вырос и воспитывался. Его доброта, нежность, ласковое, чуткое, внимательное отношение к людям — это было присуще всей семье Маяковских.

В 1925 году я снова побывала в Москве у тети Саши и опять виделась с Володей. Это было до его поездки в Америку. Мы с Олей навестили брата в его рабочей комнате в Лубянском проезде. Он усадил нас за небольшой столик, предложил чаю, угощал вареньем, нежно приговаривая:

— Это розовое варенье моя мамочка мне сварила.

Володя очень любил свою маму, говорил о ней с большой нежностью и всегда был к ней внимательным.

В тот день он был весел, много шутил, и мы ушли от него в очень хорошем настроении.

Следующий раз мы встретились с Володей Маяковским в феврале 1926 года в Тбилиси. Он дал мне пропуска на свой вечер в Концертном зале Театра имени Руставели. Выступал он с докладом о своей поездке по Америке и читал новые стихи. Стоя посередине сцены, сняв пиджак и перекинув его на спинку стула, Володя читал вдохновенно, говорил и отвечал на записки, как всегда, метко, остроумно. Зал отвечал ему бурей оваций.

Вспоминается его последний приезд в Тбилиси, в декабре 1927 года. Зашел он к нам ненадолго. Когда уходил, я вышла проводить его за ворота. Он пристально посмотрел на меня, крепко обнял и сказал:

— Ты так похожа и напоминаешь мне мою дорогую мамочку в молодости.

С трудом я вырвалась из его объятий, чувствуя неловкость, так как это было днем и на улице, прохожие обращали на нас внимание, а ведь они не знали, что мы брат и сестра.

Не думала я тогда, что вижу Володю в последний раз. В 1928 и 1929 годах я в Москве не была, а в апреле 1930 года Володи не стало, и я даже не смогла проводить его в последний путь, так как была больна.

У меня сохранилось письмо Оли Маяковской, в котором она делилась своими тяжелыми переживаниями, вызванными смертью любимого брата:

«Нет слов описать пережитое нами горе, которое мы чувствуем ежедневно. Все это так неожиданно и невероятно, что иногда думаешь, что все это неправда и что наш милый, любимый Володя уехал куда-нибудь надолго (а что совсем нигде его нет, это не вмещается в нашем мозгу). Такой большой человек во всех смыслах, с таким огромным голосом, который заставлял умолкать тысячную толпу и находился, что ответить каждому, не задумываясь, вдруг умолк... Ведь Володя так боялся малейших царапин, и казалось, безумно любит жизнь... Москва очень сочувственно пережила такую большую потерю, но для них он был поэт и друг, а для

нас уже незаменимый сын и брат, и нам, конечно, вдвойне тяжелее...

Я была у Володи дня за четыре, поехала к нему со службы, обедала у него, он был ужасно ласковый и внимательный; у него был грипп, и он еще не выходил тогда. Я приехала домой ужасно радостная, рассказывала дома и утешала маму, что Володя совсем здоров и веселый, и не знала, что я его видела тогда в последний раз. 12-го я с ним говорила по телефону, и Володя говорил со мной упавшим голосом: я думала, что просто он еще слаб. Володя мне назначил прийти к нему в понедельник 14-го, и, уходя из дому утром, я сказала, что со службы зайду к Володе. Этот разговор 12-го числа был последним. Как ужасно, что не знаешь мыслей другого человека! И вот 14-го я была у него...

Так не вяжется Володя и его поступок. Должно быть, уж очень ему тяжело. Его, конечно, не осуждаем, что он оставил нас горевать, но больно, что такой, казалось, счастливый человек, у которого была и слава и возможность переменить обстановку, чтобы рассеять свои тяжелые мысли, уехать за границу или на юг, ничего, ничего не сделал, не обратился ни к врачам, ни к близким... Мама очень страдает, что, несмотря на все, Володе так тяжело жилось. Мы с утра до вечера говорим о Володе. Ежедневно у нас бывают друзья. Москва очень любила Володины выступления, ломилась стеной на его вечера, а потому и провожало его невероятное количество народа...»

Позже, 16 апреля 1931 года, Оля писала:

«...Позавчера исполнился уже год, как мы расстались с нашим дорогим Володей. Все пережили с новой тяжестью и болью, как будто это было сейчас. Говорят, что время излечивает, но такую огромную, неожиданную и неразгаданную утрату в жизни трудно излечить временем... Уже вторая весна без Володи...»

В следующем, 1932 году, в годовщину смерти Володи, Оля писала мне:

«...В литературных кругах идет много разговоров и споров о Володе. Это, конечно, говорит за то, что Володя имеет большое значение в современной литературе. Хочется изучить все, что пишут и говорят о нем, чтобы понять как-нибудь этот трагический конец... Не верится и безумно тяжело».

Горе еще больше сблизило нас. Я почти каждый год ездила в Москву навестить тетю Сашу, Люду и Олю. Люда и Оля тоже приезжали к нам в Грузию, в свои родные места, где родился и рос Володя.

В 1932 году в Тбилиси приехала Люда, и мы с ней вместе посетили Кутаиси и Багдади. Когда она возвратилась в Москву, мы получили письма от тети Саши и Оли. Тетя Саша сообщала, что Люда очень довольна поездкой, и мы, писала она, «вспоминаем вас и слушаем со слезами рассказы. Много лет прошло, но все нам близко, и люди, помнящие нас, и места, где мы жили».

Оля писала:

«Вчера приехала Люда, согретая солнцем Грузии и вашим ласковым приемом. Очень рада, что Люда побывала у вас, о многом поговорили, с вами снова теснее сроднились наши души. Жаль, конечно, что между нами такое большое расстояние и мамочке трудно перенести такую большую дорогу, даже если она будет окружена абсолютными заботами. Володя очень любил маму, заботился о ней, говорил всегда мне и Люде, чтобы мы говорили ему всегда, чего у мамы нет, так как «у мамочки должно быть все, что ей нужно». Мы с Людой всегда заботились о маме, а теперь мы еще взяли на себя и Володину заботу. Приехала Люда, так много рассказывала о наших родных местах, и хотелось поехать к Володе и все ему рассказать, знаю, с каким бы вниманием он все это слушал и трогательно и с умилением бы отнесся к разным мелочам...»

Оля писала, что она обязательно приедет в Грузию в будущем году, чтобы побывать в родных местах. И она действительно приехала.

Мы вместе поехали в Багдади. Остановились у Наташи Пурцеладзе, с которой Оля дружила в детстве. Много ходили по столь дорогим, живописным уголкам родного для Оли края. Зашли на мельницу, где любили бывать в детстве Оля и Володя. Там мы встретились с стариками крестьянами, которые помнили Владимира Константиновича — отца поэта. Оля, владея грузинской речью, начала их расспрашивать о жизни. Когда крестьяне узнали, что она младшая дочь Владимира Константиновича, низко ей поклонились и со слезами на глазах говорили о багдадском лесничем, о том, что «Владимере» для них никогда ничего не жалел, всегда при-

ходил на помощь бедным крестьянам, готов был отдать им последнюю рубашку.

В 1935 или в 1936 году Оля снова приехала в Грузию, мы отдыхали вместе в Цагверах. Во время прогулок поднимались на небольшую горку, и там Оля читала мне сильным, красивого тембра голосом свои стихи. Стихи были разные, но больше лирические. Мне они нравились. На мой совет дать в печать Оля ответила:

— Разве после Володиных стихов я могу свои печатать?

Она любила и часто читала мне стихи брата, и читала их очень выразительно, подчеркивая значимость каждого слова.

Мне еще и еще хотелось бы говорить и об Оле и о Люде, которая так много сделала для развития Володи в его юношеские годы, а после его смерти взяла на себя нелегкий, но благородный труд защиты и пропаганды правильного взгляда на творчество Маяковского, и, конечно, о тете Саше — матери великого поэта, и всей этой замечательной семье. Но для этого потребовалось бы много места и времени. Поэтому пока ограничусь этими заметками.

г. Тбилиси. Март 1966 г.

Якуб Колас

ВСЕГДА С НАМИ

Я воспитывался на поэзии Пушкина и Лермонтова. Напевность и лиричность их произведений близки мелодиям белорусского народного стиха. Что же касается Маяковского, то должен признаться, что я не сразу стал ценителем его таланта. Я восхищался Маяковским, как человеком огромного революционного пафоса, как агитатором за новый, социалистический мир, но его стихи долгое время меня мало волновали. Так продолжалось до выхода в свет поэмы «Владимир Ильич Ленин». Эта поэма не только потрясла меня, но и с большой яркостью, по-новому осветила творческий облик поэта.

В 1928 году Маяковский приехал к нам в Минск и выступил во Дворце культуры с чтением своих произведений. Кроме мелких стихотворений он прочитал отрывки из только что написанной поэмы «Хорошо!». Читал он мастерски и покорил не только меня, но и многих других, слушавших его в этот вечер. Поэт огромного темперамента, неутомимый агитатор и певец социалистического общества, яростный враг всякой косности и рутины — таким навсегда запечатлелся Маяковский в моем сознании. В этот вечер я понял, что все, что мне не нравилось раньше (резкая ритмика, гиперболизм и пр.), все это было целесообразно в этом новом таланте, это помогало ему своеобразно отражать мир.

На наших молодых белорусских поэтов Маяковский оказал огромное влияние. При этом надо отметить, что последователей Маяковского можно разбить на две

группы. Первая группа — люди крайне переимчивые — пошли по линии внешнего, чисто формального подражания Маяковскому. Они взяли у великого поэта то, что было им под силу,— ломаную строчку, разорванную строфику и пр. Но если такой соблазнившей их структурой стиха Маяковский подчеркивал глубокую идейную сущность того, о чем писал,— эпигонам Маяковского, преследующим только словесное трюкачество, за отсутствием больших идей, нечего было подчеркивать.

Вторая группа поэтов стала на правильный путь. Эти поэты овладели сущностью творчества Маяковского, его воинствующим духом, большими патриотическими и гражданскими чувствами, ненавистью ко всему отживающему. Особенно благотворным было влияние Маяковского на П. Бровка и А. Кулешова. Они не копировали приемы Маяковского, а, творчески переосмысливая воздействие его поэзии, на этой живой основе создавали оригинальные произведения, близкие по стилю и по тенденциям произведениям великого поэта революции. Такова поэма П. Бровка «1914 год», поэма А. Кулешова «Хлопцы последней войны». Творческая манера Маяковского сказывается на многих стихах поэта П. Панченко, написанных им в последние годы, и в особенности в его лирической поэме «Ночь перед праздником».

Наша молодежь не только изучала, но и с большим творческим подъемом переводила на белорусский язык многие произведения Маяковского. П. Глебка сделал удачный перевод вступления к поэме «Во весь голос». П. Бровка хорошо перевел поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Многие стихотворения Маяковского переводили К. Крапива, А. Кулешов, Э. Огницвет.

Широкие массы белорусских читателей любят произведения Маяковского. Интерес к поэтическому наследию великого русского поэта особенно усилился за последние годы. И это вполне понятно: поэзия Маяковского, насыщенная беспредельной любовью к советской Родине и жгучей ненавистью к ее врагам, была и остается грозным оружием в нашей борьбе.

Е. А. Лавинская

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С МАЯКОВСКИМ

13 апреля 1948 года.

18 лет тому назад в этот час Маяковский был жив. Но вопрос жизни и смерти был решен. В том году великий поэт был окружен врагами, которые давили, сжимали в психологические тиски (многого мы не знаем), и самоубийство 14 апреля — это убийство... Именно так ощущаю я смерть Маяковского.

Начинаю записывать все то, что помню, все то, что знаю, все то, что видела. Хотела идти хронологически — не вышло.

13 апреля — день начала моих записок — диктует дату смерти и прилегающий к ней период. Если успею, хватит жизни, буду идти в воспоминаниях в обратном порядке.

В марте — апреле 1930 года я работала с художницей Наумовой-Жаровой для Дрезденской выставки. Мастерские были устроены в здании музея в Нескучном саду. Главным художником выставки был архитектор Лисицкий. Проектировка и постройка готовых экспонатов проводились на месте, и художники находились там круглые сутки. Мы с Наумовой делали раздел «фабрика-кухня». И поскольку работали мы вдвоем, это давало возможность чередоваться.

Брики были за границей, но с 1928 года мы, Лавинские, с Бриками не встречались. О Маяковском знали: остался один, пошел в РАПП, нервничает (о том, что нервничает и со всеми ссорится — слышали от Кассиля, будучи с художницей Семеновой у Третьяковых),

устраивает свою отчетную выставку. Один, так как около него ни одного старого лефовца не осталось.

Антон Лавинский после последнего тяжелого разговора (поздравил Маяковского с вступлением в РАПП, а Владимир Владимирович его коротко оборвал) звонить ему не решался. И вдруг в конце марта 1930 года прибегает ко мне встревоженная архитектор Рашель Смоленская и кричит: «Встретила Владимира Владимировича, он предложил нам с тобой сделать оформление для новой пьесы «Москва горит» в парке культуры и отдыха!» Она уже договорилась с Маяковским, что завтра вечером или она, или я должна прийти к нему за текстом. Я проклинала свою работу в Нескучном саду и решила в крайнем случае уйти с выставки, лишь бы делать постановку с Маяковским. Это было счастье, которое само шло в руки.

На следующий вечер Рашель принесла мне отпечатанную на машинке с правкой Маяковского «Москва горит». Мы прочли — понравилось. Я в ту же ночь стала делать эскизы площадки с переменными декорациями, типажи — полицейский, дама; это были черновые наброски, но, по существу, они остались без изменения, а только перерабатывались. Наутро позвонила Маяковскому. Он спросил:

— Прочли? Ну как?

Я рассказала о впечатлении.

— Ну вот, а все говорят, что я исписался! — шутливым тоном заметил он.

Не помню, что я ему говорила, но, видимо, он остался доволен, узнав, что эскизы и черновые наброски стала делать сразу по прочтении. Он просил, чтобы я принесла их к нему и на месте все обсудили, обговорили. Но к вечеру получилось что-то экстренное на выставке, и, к великому моему огорчению, к Маяковскому пришлось идти снова Рашели.

Прямо от Владимира Владимировича, уже поздно вечером, Рашель пришла ко мне. Она в этот период переживала трагедию с мужем, которого любила и с которым расходилась, и я подумала, что она уже была дома, оказывается, нет, она прямо от Маяковского. Рашель сказала:

— Знаешь, Лиля, Маяковский был какой-то странный. После того как он посмотрел и мы обговорили

«Москва горит», я собралась уходить, а он меня попросил остаться, рассказать что-нибудь. Я почувствовала, что ему страшно не хочется быть одному, но о чем я могла говорить? Невольно я стала рассказывать о своих трагедиях — он меня слушал не перебивая, а потом сказал: «Эх, Рашель, Рашель, какая же вы старозаветная! И я такой же». Тут же стал спрашивать о тебе, об Антоне. Я ему рассказала, но больше все говорила о твоих рисунках, и он просил тебе передать, что непременно зайдет к тебе посмотреть.

Рашель увидела на столе револьвер, заинтересовалась — зачем? Маяковский ответил, что он просто любит оружие.

— А вообще,— заключила Рашель,— он был необычайно мягок.

Как мне хотелось лучше сделать «Москва горит», оправдать доверие Маяковского, то, что он дал нам, еще молодым художникам, работать с ним. Я была горда, что он расспрашивал о моих рисунках, и все последующие дни меня не покидало чувство, что в моей жизни произошло огромное событие: я буду работать непосредственно с Маяковским! Конечно, все эти чувства я спрятала как можно глубже и, когда последний раз говорила с ним по телефону, была деловито сдержанна, боясь больше всего, что, почуя мою радость, Владимир Владимирович подумает: «Ну и восторженная дура, зря связался!» Такими фразами я сама обрывала все абсолютно естественные порывы — я же была бывшая лефовка и хоть разочаровалась в Брике, но все равно весь тон — эта ирония превосходства, это снисходительное «занятно» — оставил глубокий след и на долгие годы убил всякую непосредственность.

Последний телефонный разговор был, наверное, числа 11 апреля, может, на день раньше или позже. У Маяковского был больной голос, он сказал, что ему нездоровится, поэтому «лучше сегодня не надо, но давайте точно зафиксируем вечер встречи». Остановились на 14 апреля. Встречу эту ждала и волновалась, как девочка перед экзаменом.

14 апреля 1948 года.

Сейчас 9 часов 30 минут. Я уже со вчерашнего дня живу в сегодня. Мое сегодня — 18 лет тому назад.

На выставку, в Нескучный, я поехала очень рано, чтобы прямо оттуда, не заезжая домой, проехать к Маяковскому. Помню солнечное утро, настроение самое радостное, весеннее, даже столь свойственная мне неуверенность исчезла. На выставке, правда, меня ждала маленькая неприятность — застала Лиду Жарову, рыдающую на чьем-то плече. И у нее семейная трагедия, из-за которой она должна уйти раньше, и выходило, что дежурить на выставке должна была я. Но на этот раз я категорически заявила, что встречу с Маяковским не пропущу. На выставке в общем зале стояла телефонная будка, дозвониться было очень трудно, и меня никто не вызывал ни разу. Около одиннадцати кто-то из художников крикнул: «Лавинскую к телефону!» Утомленная и перепуганная — что-то случилось дома! — я кинулась к телефону. Голос Антона:

— Лиля, ты? Лиля, застрелился Володя.

Случилось что-то невозможное, но что это смерть Маяковского — нет, этого быть не могло. Что-то кричала:

— Серьезно ли, в какой больнице?

Помню ответ:

— Застрелился совсем, звонил Асеев, ему сказал Третьяков, он видел Володю, иду туда.

Я просила подождать, что я сейчас, чтобы он не уходил. Антон повесил трубку.

Не помню, в какую переполненную людьми пустоту я вышла, не видела лиц, знаю, подошла к какой-то большой группе. Там был Лисицкий. Я сказала:

— Товарищи, Маяковский застрелился.

Никто не обратил на мои слова внимания. Я крикнула:

— Маяковский застрелился!

И тут же я услышала голос Краковского:

— Перестаньте трепаться, Лилечка, еще вчера я слышал первоапрельскую шутку, а вечером его видел Раскин у Катаева.

Видимо, большинство поверило Краковскому, потому что ничего не изменилось вокруг, но кто-то сказал, что Лисицкого нашли в парке, на земле под деревом,— он рыдал. Я не помню, в каком бреду прошел этот день. Где-то от слов Краковского вспыхивала надежда, но уходила сейчас же. Кому, какому врагу пришла в го-

лову мысль пускать такую первоапрельскую шутку? Лида Жарова удрала, крикнув:

— У меня реальное горе, а ты психуешь из-за выдуманных слухов!

Я осталась и объясняла монтаж большого трехметрового экспоната слесарям. Столкнувшись с Лисицким, мы с ним не обмолвились ни словом. Вечером я вырвалась и поехала прямо на Лубянку, в комнату Маяковского. На дворе кучами стояли люди. Я инстинктивно подошла. Женщина говорила:

— Застрелился. Такой был большой, когда выносили.

Я поняла, что его нет, но зачем-то поднялась в квартиру. Соседка (я ее встречала раньше) страшно охотно обо всем стала рассказывать. Я плохо помню, плохо понимала, но, кажется, она говорила, что, вбежав на выстрел, застала его живым — он еще дышал. Тут же пришли товарищи. Потом его увезли на Гендриков.

Почему-то я не сразу туда поехала, пошла домой. Асеева (он жил в нашем доме) не было, Антона тоже. Мать и девятилетний Никита встретили меня молчаливым вопросом: «Знаешь ли?» По лицу увидели — знаю. Мама сказала, что Антон передал, чтобы я ехала на Гендриков, они там. В комнате ждала меня плачущая Рашель, она не решалась ехать одна. Взяли такси, и начались эти смутные, бесконечные ночи, дни, перерезанные бешеной ездой через город. В моменты езды нелепо наплывала мысль: вот приедешь — и все окажется не так! Но каждый приезд заново ударял: так! так! кончено! И в этот раз, подъезжая к Воронцовской, поняли — его нет. Улица вся была запружена народом, в Гендриков, к дому пробирались среди толпы. И на лестнице стояли люди.

Позвонили. Дверь открыл Сергей Третьяков. Вошла. В квартире тишина. Не знаю, слышала ли когда такую тишину? В столовой, в комнате Брика, у Лили сидели затихшие люди. Дверь в комнату Маяковского была закрыта. Откуда-то тихо, бесшумно вышла Александра Алексеевна, постояла молча в столовой. Вслед за Александрой Алексеевной показалось закаменевшее, как символ застывшего горя, лицо Людмилы Владимировны. Иногда в тишину врывался Олин голос, и снова замолкало все. Антона не было.

Кого-то спросила:

— Где Лавинский?

Кто-то ответил, указывая на комнату Маяковского:

— Там. Он помогает, там люди из Института мозга, поэтому не пускают.

Дверь открылась, вышел Антон, белый.

— Больше не могу. Мозг Маяковского, которым мы жили...

Кто-то из писателей (не лефовских) сказал:

— А ведь недавно он читал «Во весь голос» — это последний творческий отчет, мы слышали и ничего не поняли.

Снова открылась дверь, из кабинета вышел Волошин и еще кто-то, осторожно несли какую-то завернутую посуду. Если можно было стать тишине еще напряженнее — это было сейчас. Выносили из дома мозг Маяковского. Ведь «Облако», «Человек» — это он, и «Хорошее отношение к лошадям», и РОСТА — это он. Все, кто был в этот вечер в Гендриковом, все знали, что умер сегодня величайший поэт эпохи. Знали это друзья, знали это враги.

Почему-то я оказалась в комнате О. М. Брика, там сидела Оля, плакал Шкловский, надтреснутым голосом читал строчки из «Облака» Пастернак. Оля время от времени повторяла:

— Мама, скажите сестрам Люде и Оле, ему уже некуда деться.

Кто-то вышел, кажется Гринкург, сказал:

— Можно войти к Володе.

Он лежал на диване, слегка на боку, лицо было такое спокойное, и это совсем не было похоже на смерть. И контрастом стал этот покой спящего Маяковского со всем пережитым в сегодняшний день. Тихо вошли окаменевшие тени — Александра Алексеевна и сестры поэта.

Мы потеряли «великого», «гениального» — вокруг всех нас образовалась пустота. Но у них другое. Ведь вот это свое, родное, то, что знали маленьким, то, что росло, начинало говорит, звало «мама»! Принесли гроб, сейчас унесут, последние минуты он дома. Оказалась снова в Осиной комнате, и почему-то запечатлелась деталь — Л. Гринкруг, отдающий распоряжения домашней работнице:

— Открыть все форточки, все убрать, все вещи расставить так, как были перед отъездом, чтобы Лиле Юрьевне ничто не могло напомнить.

Тут я впервые вспомнила о Бриках, о том, что их нет. Спросила Гринкруга, когда они вернутся. Он ответил, что послана телеграмма, будут они не позднее 16-го, и еще что-то говорил: как все это ужасно для Лилечки, что он боится за нее, она тоже что-нибудь с собой сделает.

Из столовой раздался голос Агранова. Он стоял с бумагами в руках и читал вслух последнее письмо Владимира Владимировича, то, которое назавтра было опубликовано в газетах. Агранов прочел и оставил письмо у себя.

Антон начал меня торопить:

— Сейчас Володю увозят в Клуб писателей, нас ждет машина, мы должны приехать первыми, чтобы посмотреть, все ли приготовлено к встрече.

На улице, у дома, в темноте стояло много машин и грузовик для гроба. Антон и я, кто-то еще сели в одну из машин. И снова езда по ночному городу, но такой бешеной езды я уж больше никогда не испытывала. Шофер переживал то же, что и мы,— только отчаянье могло дать такую скорость. Но куда мы торопимся? Ведь нет, нет Маяковского! И в этом диком темпе езды после тишины квартиры я все время слышала его голос и почему-то эти строки:

Я буду писать
          и про то
                    и про это,
но нынче
     не время
          любовных ляс.
Я
 всю свою
     звонкую силу поэта
тебе отдаю,
     атакующий класс!

Слово «поэта» плыло, и переживалось особое звучание «э» — один Маяковский так произносил.

Приехали мы опять в тишину. Писатели стояли на лестнице. Они показали, где будет стоять гроб. Почему-то сейчас мне кажется, что это был не зал, куда начали пускать народ, а комната гораздо меньших размеров.

Наверное, это так и было. Пока приготовляли зал, писали лозунг: «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм!» — Маяковскому дали небольшое помещение.

Приехали с гробом. Мы стали уходить, но страшно стало оставаться вдвоем, хотелось держаться ближе к своим, а свои — это бывшие лефовцы, в особенности Асеев. И кажется, в эту ночь, а может быть на следующую (точно не помню, многое запечатлелось с абсолютной четкостью, а многое заплыло туманом), мы с Антоном пошли к Асееву. И вообще в эти ночи до похорон, уйдя из Клуба писателей, мы шли не домой, а к Асееву и Оксане. Оказаться сразу вдвоем было очень страшно.

В одну из таких ночей Асеевы сообщили деталь последних дней жизни Владимира Владимировича, которая врезалась в память. 13 апреля приехала из Ленинграда какая-то женщина (кажется, первая жена Натана Альтмана), ей нужно было видеть Бриков, она не знала, что они за границей. На Гендриковом застала одного Маяковского, с которым, кажется, не была знакома. Она была потрясена его видом — казался совершенно больным. Он ее задержал около себя, прочел предсмертное письмо и, кажется, сказал такую фразу: «Я самый счастливый человек в СССР и должен застрелиться». Уйдя от Маяковского, она хотела сразу же позвонить Асееву, рассказать, предупредить, но потом «застеснялась» — мало ли какие у поэта могут быть настроения! Но утром рано 14 апреля ей все же стало очень неспокойно на душе, она стала звонить Асееву — никто не подошел. Оказывается, в течение ряда дней, также рано утром, Асееву кто-то звонил и заявил, что не то веревка, на которой Асеева повесят, приготовлена, не то иное орудие убийства. Асеев в этот период вообще плохо себя чувствовал, и, чтобы его не нервировать такими хулиганскими выпадами, Оксана перестала подходить к телефону на ранние звонки. Так было и на этот раз, а когда эта женщина дозвонилась, было уже поздно.

Не знаю, почему тогда этот рассказ произвел самое страшное впечатление и фигура Маяковского замкнулась в круг какой-то обреченности. Ведь это был период расцвета РАПП и авербаховщины. Знать мы ничего не могли, но инстинктивно чувствовали неладное. Так про-

сто, от личных неудач не мог застрелиться Маяковский.

На следующее утро в Клубе писателей был уже струнный кавказский оркестр — зурна, какие-то неизвестные инструменты и совершенно необычное звучание. Может, именно такой оркестр и был нужен. Мы тогда плохо знали биографию Маяковского. Только его автобиография «Я сам» и у нас с Антоном одна встреча с Людмилой Владимировной, которая приоткрыла кусочек неизвестной нам жизни. И вот звучал оркестр тоскливо, просто и необычайно, и из этой необычайно плачущей тоски выплывало и детство, и Кавказские горы, и река Риони.

Гроб был мал, кончики ботинок с желтыми набойками выглядывали из него и вызывали щемящую жалость. К горлу подкатывались те слова бесконечной нежности и любви, которые не могли никогда вырваться при его жизни,— такой сейчас он стал затихший и беззащитный.

Александра Алексеевна, Людмила Владимировна и Оля все время были у гроба. Начал приходить народ. Шли и шли. Шли стихийно, очередь стояла все дни. Помню одно — оркестр и тихие шаги людей, и все это, как ни странно, выливалось в огромную тишину. Почему у меня в сознании все время была эта тишина? Возможно, потому, что одна мысль стояла, застывшая и невероятная: «Я больше не услышу его голоса». Из клуба домой мы до ночи не ездили, и дни тянулись, как один длительный, бесконечный окаменелый день. Я ни с кем не разговаривала, иногда в толпе видела Асеева, Антона и другие, казавшиеся такими родными, лица — была в них одна боль: нет Маяковского. Его можно было подолгу не видеть, но одно сознание, что есть Маяковский, давало какую-то внутреннюю уверенность. Это была моральная опора, воплощение мечты о будущем искусстве в действительность. А теперь пусто. И еще момент — стою в почетном карауле (шла в паре с Роммом, режиссером), и момент этот был для меня огромной значимости: я поклялась никогда-никогда не забывать и свою жизнь, и свою работу — все связать с ним, с памятью о нем, я поклялась передать свою любовь Никите, Лиле[1]. Я уже не называла себя сентименталь-

---

[1] Дети Е. А. Лавинской.

ной, не анализировала свои чувства и не боялась иронии Брика. И знаю, не я одна, а все пусть ненадолго, но сбросили с себя футуролефовские фиглярства.

16-го утром Агранов сказал, что Маяковского будут хоронить на лафете, а в середине дня стало известно: дадут простой грузовик — все-таки самоубийца. В этот день, проходя по одной из зал, увидела Агранова, окруженного кучкой лефовцев. Он что-то показывал. Я подошла, и он мне передал какую-то фотографию, предупредив, чтобы смотрела быстро и чтоб никто из посторонних не видел. Это была фотография Маяковского, распростертого, как распятого, на полу, с раскинутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом. Я оцепенела в ужасе, ничего общего не было в позе, лице фотографии с тем спокойным, спящим Маяковским, которого я впервые увидела на Гендриковом. Мне объяснили: «Засняли сразу, когда вошли в комнату, Агранов, Третьяков и Кольцов». Больше эту фотографию я никогда не видела. В этот же день Агранов попросил меня от имени комиссии по похоронам оформить вместе с художниками Татлиным и Весниным грузовик, на котором повезут Маяковского в крематорий. Дал бумажку во ВХУТЕМАС к ректору Новицкому.

На следующий день, 17 апреля, с утра стояли мы с Татлиным в кабинете Новицкого. Татлин торговался и требовал выдать как можно больше листов железа, доказывая, что для такого поэта нельзя жалеть ничего, а ведь мы просили только железо и гвоздей.

— Ведь Маяковского хороним, Маяковского!

Не знаю, дошло ли это до ректора, но получили мы столько, сколько просили, хватило на то, чтобы обить весь грузовик, а также и возвышение, на котором стоял гроб.

И вот снова езда на этой железной машине-трибуне. Ехали с Татлиным по весенним московским улицам в Клуб писателей. Железо лязгало, грохотало, а Татлин все повторял:

— Ведь Маяковского хороним, Маяковского! А ведь он же моложе меня, как же это могло получиться, а?

И кого он спрашивал, себя ли, народ ли, которого становилось все больше и больше по мере приближения к Клубу писателей?

Подступы к клубу были запружены совершенно, машина с трудом пробивала себе путь через этот человеческий поток. Когда-то также пробивались в Политехничку вместе с живым Маяковским. На его собственный вечер.

Утром 17-го приехали Брики. Я их не видела. Смутно помню фигуру Лили уже на дворе. Антон был среди несущих гроб, я хотела к нему рвануться через толпу, но кто-то меня подхватил, и мы очутились в машине. Как будто со мной вместе ехали Ольга Третьякова, Хохлова, а может быть, Семенова — ничего не помню, а только толпы, толпы. В крематорий приехали мы одни из первых, народу было еще мало, мы всех перегнали. Но постепенно поток начал пробиваться все больше, больше — заполнили все, залезли на ограду, на соседние крыши, металась милиция (у нас были пропуска). Выстроились в цепь, и опять ясно помню крепкую руку Хохловой в моей.

В крематории была одна мысль: запечатлеть, не забыть — вот твое лицо, вот ты еще здесь. И помню, страшный крик Оли, когда гроб начал опускаться:

— Володя!

Вызвал меня Лавинский:

— Идем, идем же скорее!

И мы пошли пешком через весь город. Было уже темно, чувствовали себя потерянными и очень одинокими. Обернулись — над крематорием повис тяжелый дым. Говорить было не о чем, ждать нечего, похоронили, и казалось, последняя связь с живым осталась позади, завтра наступит день без Маяковского.

Но этот наступивший день мы вынести не могли. Приехали Брики, я их совсем не видела, тянуло на Гендриков, как будто там был еще он; во всяком случае, там была Лиля, которая, несмотря на прошлое, а возможно, в силу этого прошлого, должна была страдать больше всех. Уже одно то, что она его бросила одного, увезя с собой Брика, в такой тяжелый момент, когда он остался один, окруженный насмешливой фразой «Маяковский исписался», когда он поссорился со всеми лефовцами, а РАПП во главе с Авербахом его, поэта революции, называли «попутчиком»,— все это, вместе взятое, должно было заставить ее страдать больше всех.

Мы не были у Бриков с 1928 или 1929 года. Но сегодня мы не могли не пойти. Позвонили. Все — как прежде, только в прихожей шепнул Ося:

— Поменьше разговоров о Володе.

В столовой, разливая чай, как обычно, сидела Лиля. Был Лев Гринкург, кто-то еще. Лиля предложила нам чай. На столе, как всегда, закуски. Все тихо, спокойно, уютно. Брик продолжал прерванный нашим приходом рассказ о загранице,— как всегда, интонация голоса слегка ироническая, не знаешь, шутит или всерьез, или выбирает нужный тон в зависимости от реакции слушателей. Я сидела истуканом. Все, что угодно, но такого спокойствия я не ожидала. Как не похож их дом на асеевский, на наш! Как не похожи их лица на лица Асеева, Шкловского, Родченко, Лавинского, Пастернака, Ромма и многих, многих, и товарищей и посторонних людей. Нет, это невозможно! Это игра, маскировка, прятанье боли, и стоит только произнести слово «Володя» — и эта боль прорвется наружу.

Никто не решался произнести первым имя Маяковского. Лиля Юрьевна, обращаясь ко мне, заговорила сама, сказав, что поскольку мы еще не виделись, то мне, наверное, интересно услышать, как она узнала о смерти Володи.

— Это было совершенно неожиданно. Незадолго было письмо, он ни о чем не писал. Мы преспокойно жили, и вдруг застрелился! Он не понимал абсолютно, что он делал, не представлял, что смерть — это гроб, похороны. Если бы реально себе представил, ему стало бы противно, и он бы ни за что не застрелился.

Далее Лиля Юрьевна перевела разговор на семейные дела Давида Штеренберга. Я отозвала Осипа Максимовича в сторону и рассказала о моих оставшихся незаконченными рисунках к «Москва горит».

— Ну что ж, очень хорошо,— ответил Ося.— Постановки, конечно, теперь не будет, но рисунки нужно отнести к Брюханенко. В том издательстве, где она сейчас работает, это можно провернуть. Это особенно важно, ибо было задумано еще при жизни Володи, но нужно торопиться, торопиться, пока народ не остыл.

Я сказала, что сейчас мне трудно довести до конца все — все связано с ним, с его последними днями. Ося

улыбнулся: «Ерунда, ничего не изменилось, это просто ваши нервы, Лилечка, ну Володя, а мы вот живы, нужно работать, не рисковать». И т. д. и т. д. Дал мне совет быть веселее. Когда мы уходили, Лиля Юрьевна вдруг вспомнила:

— Лилечка, вы могли бы мне очень помочь. На мне лежит неприятное дело — нужно разобраться во всех Володиных бумагах на Лубянке. Комната была запечатана, на днях я должна туда пойти, там, наверное, все перевернуто и одной ужасно тоскливо заниматься этим делом, придется просидеть несколько дней, давайте и пойдем вместе.

Я ответила, что ничего не знаю, так как буду заканчивать рисунки к «Москва горит».

Нас звали приходить, не забывать, были очень любезны. Когда двери за нами закрылись, мы с Лавинским сказали одновременно:

— Больше у Бриков мы никогда не будем.

Сейчас я жалею, что не была с Лилей Юрьевной в комнате на Лубянке. Я могла бы увидеть все, что осталось, то есть все, что было оставлено...

По существу, потрясаться нам с Лавинским было нечего. Реакция Бриков была абсолютно нормальна для их отношения к Маяковскому. Совсем недавно мне рассказала А. В. Грановская, как, вспоминая смерть Осипа Максимовича, Лиля Юрьевна ей сказала: «Это первое настоящее горе: когда умер Володя, когда умер Примаков — это умерли они, а со смертью Оси умерла я...» И только наивные люди могли предполагать, что Лиля Юрьевна, потеряв Маяковского, будет страдать по-настоящему. Она не страдала и, нужно отдать ей справедливость, в то время не разыгрывала из себя «вдову». Через короткий промежуток времени мы узнали, что Лиля Юрьевна Брик вышла замуж за Примакова и куда-то уехала. А Осип Максимович? Он, конечно, уехал с Лилей Юрьевной — в быту ничего не изменилось.

А страна почувствовала, что ушел величайший поэт. И на страницах газет, в зале Политехнического музея да и просто на улицах Москвы стало пусто. Пусто без Маяковского.

20 апреля 1948 года.

Начала я свои воспоминания с конца. Так и буду продолжать в обратном порядке — так удобнее. Клубок распутывается с конца.

Примерно с 1927 года Леф начал видоизменяться. Правда, по-прежнему происходили собрания. Помимо обычных лефовских «вторников», на которые приходили все старые лефовцы, собиралась иногда группа молодых архитекторов. Созывать их поручалось нам с Семеновой. Это были (насколько я помню) Буров, Соболев, Кожин, Красильников, Рашель Смоленская и другие. На этих собраниях бывал А. А. Веснин, который уже явно начал отдаляться от Лефа, вернее, от Брика. Обсуждались последние проекты, шла борьба против Жолтовского и Щусева. Брик проводил идеи «функциональной архитектуры». Но острота первых собраний 1923—1924 годов прошла. «Искусство в производство» — этот «лозунг» и раньше был не настолько актуален для архитекторов, как для художников, бросивших во имя его «чистое» искусство. Утопия, «инженерия», город в воздухе, город из стекла и железобетона, с вращающимися прозрачными домами — вся эта архитектура, «аэлита» самой жизнью была снята. Архитекторам приходилось строить дома, клубы, рабочие поселки, выполняя конкретные задания. Ввиду этого размах бриковских идей значительно сократился, завязалась просто группировочная борьба направлений: Корбюзье (Франция), наши Веснины — представители Корбюзье в СССР. Брик хотя и считал Весниных консервативными, но на словах поддерживал их (других не было) против школы Жолтовского, Щусева и других...

Маяковский в этих собраниях не принимал участия. Если же он оказывался дома, по окончании деловой части его просили прочесть новые стихи.

На лефовских «вторниках» стали появляться все новые люди — Агранов с женой, Валович, еще несколько элегантных юношей непонятных профессий. На собраниях они молчали, но понимающе слушали, умели подходить к ручкам дам и вести с ними светскую беседу. Понятно было одно: выкопала их Лиля Юрьевна. Мне, по наивности, они казались «лишними людьми» нэповского типа. Агранов и его жена стали постоянными посетителями бриковского дома...

Обычно часа в четыре утра, после лефовских собраний, мы возвращались домой пешком с Гендрикова на Кировскую. На рассвете из теперешнего тихого домика-музея с шумом, с нескончаемыми спорами, с оставшимися неразрешенными проблемами, выкидывалась на улицу масса лефовского народа, потом рассасывалась, расходилась в разные стороны. Только Асеевы, мы и Родченки (если Родченко не был обижен Антоном — Родченко периодически обижался) шли вместе до конца.

У Агранова была машина, и он почему-то предложил Антону и мне довозить нас до дома. Мы согласились. В дороге разговаривали всегда о Маяковском, о его новых вещах. Тут я и узнала отношение Агранова к Маяковскому. Владимир Владимирович также, видимо, хорошо относился к Агранову, во всяком случае, как к своему, как к лефовскому товарищу, называл его ласкательно «Аграныч».

В этот период, как я помню, Лиля Юрьевна почему-то очень нервничала. То ей хотелось ставить картину, и она требовала, чтобы ей такую картину немедленно дали, то она с азартом принималась за свои мемуары и зачитывала нам их. В конце концов она заявила, что, поскольку ей на лефовских собраниях делать нечего, она хочет «председательствовать». Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливыми улыбками, некоторыми явно неприязненно — докатилась! Но вообще все молчали: «неудобно пойти против желания — хозяйка все же!»

Итак, Леф перешел к новому этапу. Председательствовала Лиля Юрьевна Брик. Осип Максимович бросал по этому поводу, как всегда, несколько иронические, но в то же время игриво-поощрительные замечания — одним словом, всем было понятно: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству. Возможно, все обошлось бы без всяких инцидентов, вплоть до самоликвидации Лефа, если бы не скандал с Пастернаком и Шкловским. Как будто все дело состояло в том, что Пастернак отдал в другой журнал свое стихотворение, которое должно было быть, по предусмотренному плану редакции, напечатано в «Лефе». Начал его отчитывать Брик. Пастернак имел

весьма жалкий вид, страшно волнуясь, оправдывался совершенно по-детски, неубедительно и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский мягко, с теплотой, которую должны помнить его товарищи и которую не представляют себе люди, видевшие его только на боевых выступлениях, просил Пастернака не нервничать, успокоиться: «Ну, нехорошо получилось, ну, не подумал, у каждого ошибки бывают...» И т. д. и т. д. И вдруг раздался резкий голос Лили Юрьевны. Перебив Маяковского, она начала просто орать на Пастернака. Все растерянно молчали, только Шкловский не выдержал и крикнул ей то, что, по всей вероятности, думали многие:

— Замолчи! Знай свое место. Помни, что здесь ты только домашняя хозяйка!

Немедленно последовал вопль Лили:

— Володя! Выведи Шкловского!

Что сделалось с Маяковским! Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнес:

— Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду.

Шкловский ушел, а Маяковский все так же молчал. Лиля Юрьевна продолжала ругаться. Брик ее успокаивал. Мы все стали расходиться. Было чувство боли, обиды за Маяковского и стыд за то, что Леф, которым жили, в который безумно и слепо верили, из-за которого сломали жизни, бросая искусство, Леф выродился в светский «салончик».

Никогда так наглядно не доходила до моего сознания стена, стоявшая между Маяковским и Бриками. Вспомнилась ходовая Осина фраза: «Самое лучшее, что написал Володя,— это «Нигде кроме, как в Моссельпроме!». А фанатический долбеж Сергея Третьякова, что нужно бросить писать стихи и поэмы, нужно фиксировать факты, нужны и важны только эти всесильные факты и хроника! А разговорчики Брика о том, что ранние вещи Маяковского были острее (Крученых до сих пор держится этой точки зрения), а сейчас жизнь выдвигает иные требования: если уж стихи, то пусть будут агиткой они, а лирика — боль, сатира — все то, что написано кровью,— все это было для Брика просто



Картина художника М. Джанашвили, на которой запечатлены деятели литературы и искусства Грузии: Паоло Яшвили, Алио Мерцхулава, Тициан Табидзе, Нато Вачнадзе, Симон Чиковани, Ираклий Гамеркели, Георгий Леонидзе, Шура Тоидзе, Колия Шенгелая.



Скульптура
В. В. Маяковского
работы Г. И. Кевхишви
1966 г.

«занятно». Но в 1928 году теоретики Лефа чего-то испугались, стало уже не «занятно», Маяковского нужно было осадить, и на него наседали.

Я, собственно, не помню разницы между точкой зрения Третьякова и Брика, состоявшей в том, что поэмы Маяковского «устарели» и эпохе нужно другое, и пущенной в 1930 году фразой, что «Маяковский исписался». Пожалуй, самое страшное было в том, что и Брик и Третьяков — это свои, это дома, это там, где предполагались самые близкие, потому что вовне недоброжелателей и врагов было достаточно. И все же Брик продолжал пользоваться именем Маяковского, разговаривая с художниками, молодежью, студентами — он говорил «мы лефы». За этим подразумевалось «мы с Маяковским» — кто бы пошел за одним Бриком?

Это было последнее лефовское собрание, на котором мы с Лавинским присутствовали. Уходила я с невероятной тяжестью, и в памяти запечатлелась фигура великого поэта, его беспомощно опущенные руки. Рядом визгливый крик Лили Юрьевны, ироническая улыбка Осипа Максимовича и мрачная тень фанатичного догматика с лицом иезуита — Сергея Третьякова.

С Осипом Максимовичем Бриком при жизни Маяковского у меня была еще одна встреча, которая навсегда запечатлелась в памяти. С момента ухода Шкловского мы с Лавинским на Гендриковом больше не бывали. Было очень тяжело: у меня другой среды не было, все разбрелись, архитектурная группа распалась, Семенова перестала бывать в Лефе, Александр Веснин отошел совершенно. В своего «идейного вождя» Брика у меня пропала всякая вера. С момента ухода из Лефа я впервые начала читать по-настоящему марксистскую литературу, и окончательно спала пелена лефовских бредов, весь «функционализм», «фактография», «искусство — опиум для народа» — все это стало во всей своей уродливости, и становилось страшно от мысли, у кого на поводу я шла. Да если бы я! А сколько талантливой молодежи бросило искусство, ограничив себя оформительством. А Лавинский, бросивший скульптуру более чем на десять лет! Родченко, оставивший живопись и лет через пятнадцать вернувшийся к ней, как

к какому-то тайному греху. Ведь уходили от искусства не потому, что не любили, а из-за фанатичной веры в то, что искусство должно умереть, что пролетариату оно не нужно, искусство — буржуазный пережиток, вытравляли из себя эту любовь. А вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность — «буржуазный предрассудок». «Жены, дружите с возлюбленными своих мужей». «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей». Нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность. Все это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича.

Влияние Брика на нас было настолько сильно, что весь трагизм поэмы «Про это», вся глубина поставленных в ней вопросов в тот период мной не были осознаны. И то, что Маяковский заперся у себя на Лубянке, и крик «ты, может, к ихней примазался касте», и слова «вороны-гости» — ведь все изобличало этот страшный быт.

Лилей Юрьевной это осваивалось несколько иначе — «он сам из себя вытравляет пережитки старого быта, вот ему и тяжело».

— Вы себе представляете,— говорила она: — Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности.

Вообще, Лиля Юрьевна была не особенно высокого мнения о Маяковском.

— Разве можно,— говорила она,— сравнивать Володю с Осей? Осин ум оценят будущие поколения. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбирают другие. Усидчивая, кропотливая работа не Осин стиль, ему становится скучно. По существу, Осе нужна стенографистка, которая записывала бы все его слова.

О Маяковском она отзывалась так: «Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой». И т. д. Такие заключения я слышала от Лили Юрьевны сама, так же как и ее вывод: «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

И вот в период, когда мне стало ясно, что ничего общего нет между великим поэтом и его так называе-

мым «идеологом» Бриком, для которого жизнь — эксперимент, жонглирование идеями, для которого основа жизни — «занятно», и чтоб поменьше труда и побольше комфорта,— в этот период переоценки всех ценностей, когда я сидела у разбитого корыта, осенью 1929 года Брик пришел ко мне.

Я сидела в маленькой комнате и рисовала. По лефовским законам это был уже грех, можно было заниматься фотомонтажом, а уж если рисовать, то рекламные плакаты, а из меня после такого долголетнего воздержания полезли сугубо психологические рисунки. Столь неожиданный приход Брика заставил меня растеряться, и я ничего не успела спрятать. Он увидел, приподнял брови.

— Покажите, покажите, Лилечка! Вот вы теперь чем занимаетесь, что ж, занятно!

Сказал, что он пришел ко мне, как к старой лефовке, рассказать, как обстоят дела с Лефом и как нужно работать в дальнейшем. Леф, Реф самоликвидировались, такая организация в настоящий момент несвоевременна, не потому, что Леф в чем-либо ошибается, нет, все идеи Лефа правильны, но дело в том (я дословно помню его слова), «автомобиль лучше телеги, но есть такие плохие дороги, по которым автомобилю проехать нельзя — ломается, приходится пересесть временно на телегу. Официальных собраний больше не будет, но неофициально (можно ведь просто прийти в гости), и каждый будет рассказывать, что делается в художественной организации, в которой он состоит».

Я его слушала с ужасом, он, видимо, переоценил свое прошлое влияние на меня. Брик попросил, чтоб я передала Антону о новой форме Лефа. Я спросила, как на все это смотрит Маяковский. Ося пожал плечами:

— Володю не поймешь. Перед каждым выступлением его накачиваешь, кажется, ясно все, а когда он выступает, у меня такое чувство — голова-то у него на месте, а ноги неизвестно куда несут. Кажется, начал хорошо, а вдруг неизвестно куда завернул, пошла сплошная отсебятина!

Да, для Брика Маяковский неизвестно куда заворачивал. И то, что для Брика было заворотом,— это был голос великого поэта советской эпохи, это то, о чем он с гордостью сказал в своей последней поэме:

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Разговаривать с Бриком было больше не о чем. Я увидела его уже 18 апреля 1930 года, на следующий день после похорон Маяковского.

Июнь 1948 года.

Лето 1927 года. Брики снова жили в Пушкине. Постоянными дачниками были: Лиля, Кулешов, Осип Максимович, Хохлова с сыном Сережей. Хохлова ходила с пустыми глазами. В те годы с ней я была очень близка и чувствовала, насколько ей тяжело «выкорчевывать» из себя корни «буржуазных» пережитков и пойти в ногу с новым бриковским бытом. Поэтому и переехала с Сережей на дачу к Кулешову с Лилей. Безусловно, та ломка давалась ей нелегко, на надрыве.

Маяковский заканчивал поэму «Хорошо!» и, как всегда, был в Москве и в Пушкине. Мне он казался каким-то новым, радостным, помолодевшим, но, может, это просто случайное совпадение, а может, природа действовала.

Лефовские «жены» говорили:

— Володя хочет жениться на Наташе Брюханенко, это ужасно для Лилечки.

И на самом деле, Лиля ходила расстроенная, злая. Ко мне в то время она заходила довольно часто, и тема для разговора была одна: Маяковский — Брюханенко...

Она говорила, что он, по существу, ей не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает стихи.

— Но я не могу допустить, чтоб Володя ушел в какой-то другой дом, да ему самому это не нужно...

Безусловно, уход Маяковского был неприемлем не только для Лили Юрьевны, но в такой же мере для

Осипа Максимовича. Из дома ушла бы слава и все то, что за ней следует.

В одну из наших поездок в Пушкино летом 1927 года я впервые встретила Людмилу Владимировну Маяковскую. Встреча эта сыграла в моей жизни большую роль. Помню, приезжаем. Маяковский на балконе во что-то играет с Наташей Брюханенко и Осипом Максимовичем. Откуда-то голос Лили Юрьевны сверху:

— Лилечка, идите сюда.

Я поднялась. Лиля Юрьевна принимала на крыше солнечные ванны и одновременно гостей. Был Кулешов (этот не гость), мадам Кушнер, еще чьи-то жены и я. Не знаю почему, но я почувствовала тогда себя невыносимо скверно. Слезы Лили Юрьевны, ее злое лицо, дергающиеся губы, когда она говорит о возможном уходе Володи «из дома», из которого она не желает его отпускать. От этого нового, бриковского быта несло патологией.

Я изнывала от недовольства собой, от неловкости, от неумения вести светские разговоры. Наконец позвали на террасу обедать. Я оказалась рядом с Людмилой Владимировной, с которой, как это ни странно, раньше не встречалась. А странного, по существу, тут ничего не было. Лиля Юрьевна создала вокруг Маяковских такую атмосферу, что из лефовцев и тех людей, которые были вокруг Лефа, той семьей никто не интересовался. Лиля Юрьевна с полушутливым вздохом говорила: «Ой, товарищи, завтра, пожалуйста, никто не приходите: будет адская скука — будут Володины родственники».

И вот этой невероятной «адской скукой» накрепко обвивались Александра Алексеевна, Людмила Владимировна и Оля. Лиля Юрьевна в тот период их никогда не ругала, а говорила: «Они все очень и очень милые, но такие неинтересные, и разговаривать с ними абсолютно не о чем».

Брик своим авторитетным молчанием поддерживал эту характеристику, а его ироническая улыбочка, приподнятые брови как бы говорили: «Что ж делать, хоть и неприятно, но, раз мама и сестры имеются, ради Володи придется отдать дань «пережиткам», принеся себя в жертву скуке». Возможно, Ося и высказывал такие суждения, потому что нечто подобное мы выслушивали

из уст лефовских «жен», которые сочувствовали Лиле Юрьевне, раз ей придется день отскучать.

Сам Маяковский о своей семье ничего не рассказывал, как не рассказывал о себе, о своем детстве, Кавказе, юности, партии, подполье и тюрьмах. И существовало в нашем сознании это «громкоголосое чудо Маяковский» как представитель иной планеты, выходец из будущего.

«Откуда такие берутся?» — много лет спустя писал Асеев. А за спиной Маяковского, среди людей, особо близких Лиле Юрьевне, плелось и сплеталось «общественное мнение». Примерно выражалось оно в следующем: семья Маяковских — это добродушные, ничем не интересные обыватели, Володя же талантливый самородок, открытый Бурлюком и выращенный Бриками. Одним словом, Ося и Лиля подобрали беспризорного мальчика, не знавшего ни что с собой делать, ни куда деть свой талант... Колоссального труда стоило Брику взять в руки и направить эту необузданную, но талантливую натуру. Думаю, отсюда и возникли легенды о «люмпене», пущенные некоторыми биографами и столь легко усвоенные литературными обывателями.

В своих высказываниях о Маяковском Лиля Юрьевна любила говорить, что она и Ося — это единственные люди, знающие Маяковского и имеющие на него влияние. Бросала она и такие мысли: «Володя сам терпеть не может читать, а поскольку Ося читает все, Володя пользуется Осиной головой, то есть Ося из прочитанного выбирает главное и в готовеньком виде преподносит Володе». (Возможно, Маяковский давал задания Брику подобрать нужный поэту из таких-то источников материал.) «Темы для поэмы и стихов также дает Володе Ося». Одним словом, выходило так: не будь такого руководителя и духовного наставника, как Брик, неизвестно, что бы получилось из Маяковского. Безусловно, те, кто имел голову на плечах, не верили этому. И даже фанатичные лефовцы задавали себе вопрос, как Асеев: «Откуда такие берутся?» Но в Лилиных словах чувствовали — нет, не может быть, что-то не так! К тому же вышла автобиография «Я сам». К сожалению, в ней самые серьезные, дорогие Маяковскому воспоминания облеклись в полусерьезную, полуироническую форму. Да иначе и быть не могло. Напиши он иначе, с

пафосом, открой он всю полноту чувств, как в поэме, Брик и Лиля окрасили бы насмешкой все то, что было для него священно. И все же благодаря автобиографии многое из жизни Маяковского осветилось заново.

И вот, впервые в Пушкине, за обеденным столом я столкнулась с Людмилой Владимировной. Я уже писала, что чувствовала себя в этот день отвратительно, слова прилипали к глотке, и в первую очередь я ненавидела себя за свой неестественный вид, за то, что не могу вести дамских разговоров, и в то же время глубоко ненавидела всю эту обстановку. С первых слов, сказанных Людмилой Владимировной, стало легко дышать, напряженность прошла, я почувствовала: я не одна. Обед прошел незаметно, и мы вдвоем пошли в лес.

Людмила Владимировна говорила о себе, о своей работе, об Оле. Я была глубоко внутренне потрясена. Не оттого, что она рассказала мне что-то особенное, необычайное, нет, но вся она, весь ее облик, форма выражения, та любовь, с которой она говорила о своей работе,— все шло вразрез с высказываниями Лили Юрьевны. Кроме того, от Людмилы Владимировны веяло каким-то внутренним, физическим здоровьем (это ведь был двадцать седьмой год!). С ней так легко было дышать после этого балкона с возлежавшей голой Лилей, исходящей злостью и слезами из-за страха упустить Маяковского...

Мне в этот день было и страшно и радостно. Вдруг показалось, что я очень приблизилась к Маяковскому, именно к тому, что он держал скрытым от Бриков и от окружающей среды.

Из Пушкино мы ехали вечером вместе — Людмила Владимировна, Антон и я. В поезде она рассказала о детстве Маяковского, о Кавказе, о романтике Багдади и революционных годах в Кутаиси. Я только слушала, а Антон с жадностью выспрашивал. Странно, случайно в поезде узнавали мы биографию человека, с которым в течение десятка лет непрерывно встречались, которого больше всех любили. И казалось: так вот откуда эта его внутренняя сила, его непохожесть на окружающую среду.

«Откуда такие берутся?» Завеса чуть-чуть приподнялась, и мелькнули из-за нее иные лица, и услышали мы гул иных голосов.

Произошел распад Лефа. Связанное с этим чувство одиночества: все сидели в своей скорлупе.

Зимой 1930 года мы слышали или прочли в газете: Маяковский подал заявление в РАПП. Меня как обухом по голове ударило. Мы выписывали «На литературном посту», на писательских собраниях бывали. Авербаха и прочих видели и слышали. Не знаю, какое шестое чувство мной руководило, но Авербаха с его прихвостнями ненавидела всеми силами своей души, главным образом за их «пролетарское» чванство. Антон в то время не мог жить без коллектива, и ему необходимо было после Лефа куда-то идейно примкнуть. «Бьют, пусть бьют» они, пролетарские, им и карты в руки, а мало мы во главе с Оськой начудили!» Я могла признать, что пусть нас во главе с Оськой бьют, но только не Авербах, и не понимала тогда, так же как и теперь, как смеют они называть Маяковского попутчиком?! И вот, узнав, что Маяковский поступил в РАПП, Антон заявил торжествующе:

— Вот, видишь, и Володя пошел в РАПП, сейчас позвоню, поздравлю.

Антон взял трубку — я замерла в ожидании. Разговор был примерно такой: «Володечка, ты?» — «Да, Антон».— «Да вот все сижу, пересматриваю позиции, вот прочел сегодня, страшно рад, поздравляю тебя». На этих словах радость на лице Антона мгновенно потухает, кричит в трубку: «Володя, Володя!» Потом задумчиво: «Рассердился на что-то».

Что говорил Маяковский Антону, я так и не узнала. Назвал ли он его «восторженным дураком», просто ли послал к черту или сухо сказал, что ему некогда...

Знаю я еще один случай, относящийся примерно к этому периоду. Рассказал мне о нем Родченко много лет спустя. Брик в это время, оказывается, завел «дружбу» с Авербахом. Последний у него часто бывал. «И вот условились,— говорит Родченко,— с Бриками незадолго до их поездки, что я приду с фотоаппаратом и всех сниму. Приезжаю. В переднюю выскакивает Володька: «Прячь фотоаппарат,— говорит,— у Оськи Авербах, захотят сниматься все вместе, а я с этим мерзавцем фотографироваться не буду, выйдет снова скандал, прячь аппарат, как будто забыл».

В это время пошли разговоры о том, что Владимир

Владимирович со всеми поссорился, всех лефовцев выгнал из дома, делает отчетную выставку с совершенно чужими ребятами. А тут вдруг неожиданно сваливается на меня счастье в конце марта 1930 года с «Москва горит», телефонные разговоры с ласковым Маяковским, мечты о работе с ним!

С Людмилой Владимировной за весь этот период я ни разу не встречалась. Увидела всю семью 14 апреля 1930 года.

В 1930—1931 годы начались работы в Гослитмузее по первой выставке Маяковского. Возглавлял это дело Бромберг. С ним мы подчас спорили, не крупно ссорились, и все же работали дружно, потому что и Бромберг, и создавшаяся после смерти Владимира Владимировича «бригада Маяковского» — все любили его. А для того времени встретить людей, которые бы искренне любили Маяковского, была большая радость. Враги расправлялись с мертвым гигантом, додумались даже до изъятия его книг из детских библиотек. Мы писали куда-то ходатайства. Семашко, Бонч-Бруевич поддержали, так что этот варварский поступок был приостановлен. Много было такого, что кажется теперь невероятным. Помню, в этом же году на одном из родительских собраний у Никиты в школе комсорг жаловался на упадочное настроение среди ребят:

— Сидят и потихоньку на уроках переписывают стихи Есенина.

Я спросила, как они борются с распространившейся есенинщиной.

— Отнимаю переписанные стихи,— бойко ответил комсорг.

Такой примитивный метод воздействия меня глубоко возмутил, и я предложила организовать в школе вечер Маяковского, чтобы проветрить затхлый воздух. Сказала, что приглашу от имени школы сестру поэта и «бригаду Маяковского». Комсорг явно смутился.

— Это, конечно, очень интересно, но, если я такое предложение выдвину в роно, меня и школу ждут крупные неприятности ввиду отрицательного отношения к Маяковскому вообще, и вот приходится отказываться от столь интересного предприятия.

Вот в этот-то период и началась моя дружба с Людмилой Владимировной. Она принимала самое активное

участие в организации выставки. Вся ее боль по брату вылилась в работу для него, для сохранения памяти о нем. Через некоторое время я узнала Ольгу Владимировну, которая сразу потрясла меня сходством с Владимиром Владимировичем. Позже всех я узнала маму, замечательную, тихую Александру Алексеевну, эту маленькую женщину, от которой сын унаследовал огромное сердце.

«Узнать» Александру Алексеевну было далеко не просто. Мне нужно было бывать длительный период у Маяковских, чтобы понять всю глубину этой замкнутой натуры, ее волевую направленность, сочетающуюся с большой женской мягкостью, ее колоссальный интерес ко всему: к международным вопросам, литературе, искусству. Диапазон ее интересов огромен, и такое великое горе, как потеря сына, не снизило этого интереса.

В восемьдесят лет эта женщина молода. В тот период, когда я стала бывать у них в доме, она жила интересами выставки и той борьбой, которая вокруг нашей работы разгоралась. Помню, с какой горечью она говорила:

— Неужели пройдет несколько лет и Володю забудут?

Но тут же сама отвечала, что нет, этого не может быть, что он писал для страны, для народа, а если забудут сейчас, то когда-нибудь поймут.

В его стихах и поэмах видела она продолжение жизни Маяковского, его бессмертие. В него и в силу его творчества она всегда верила. Верила и в его моральную силу: если Володя просит — значит, так нужно. К ней пришел он, будучи в пятом классе, и сказал, что его нужно взять из гимназии, потому что, если не возьмут, хуже будет. Безусловно, ей хотелось, чтобы Володя учился, но она знала, что сын ее никогда без серьезного повода не просит, а ведь он был еще мальчиком. А эта молчаливая поддержка, когда сын вступил на путь революционной борьбы и тюрем? Мать и сестры шили платья для устройства побега политкаторжанок. Политическую литературу носила ему Людмила Владимировна, так же когда-то она привозила первые революционные листовки из Москвы в Кутаис в 1905 году, а листовки эти сыграли большую роль в жизни младших — Володи и Оли. Детские письма того и другой к

Людмиле Владимировне говорят сами за себя. И не было тайн от матери, отца, старшей сестры. В период «желтой кофты» Маяковский пришел домой, к матери, и попросил Александру Алексеевну сшить ее. А когда после первых выступлений поэта знакомые начали жалеть ее и выражать сочувствие, Александра Алексеевна моментально пресекла эти разговоры, хоть ей самой было тяжело. Но раз Володя это делает — значит, для чего-то ему нужно, а вера в Володю в этой семье была настолько велика, что делалось то, что нужно, без лишних вопросов, без требований объяснений. У Маяковских никто не заглядывал другому в душу, оберегая личную жизнь другого. Свобода и любовь — основа взаимоотношений в семье Маяковских.

Слушая рассказы Александры Алексеевны о детстве и юности ее детей, мне становилось понятным то «уважительное» отношение к ребенку Маяковскому. То, что было в детстве и юности, сохранилось и в дальнейшем. Никогда не забуду этот коротенький рассказ Александры Алексеевны:

— Приходит Володя, я вижу, что он расстроен, молчит. Я не выдержала, спросила: «У тебя опять неприятности с Лилей Юрьевной?» Он сказал мне только: «Мамочка, я вас очень прошу никогда не спрашивать меня об этом». И с тех пор, что б я ни узнавала, что б я ни видела, я молчала, никогда не спрашивала его о Бриках. Мне хотелось ему сохранить дом, куда бы он мог, усталый, замученный, прийти просто отдохнуть, где он знал, что его всегда ждут, никто никогда не расспрашивает.

Слушала я Александру Алексеевну и думала, до чего же мелки и неумны людишки, говорившие: «Только, товарищи, не приходите: будут Володины родственники». А об Александре Алексеевне: «Ну, ничего, она просто милая старушка». Эта старушка видела Лилю Юрьевну насквозь, но из любви к сыну подавляла в себе проявление каких-либо личных отношений.

Во время войны, когда Маяковские вернулись из Чистополя, я часто к ним приходила и всегда заставала одну картину: Александра Алексеевна за столом, обложенная газетами, картами. Как она переживала каждое продвижение наших войск, страдала из-за каждой задержки, но тут же говорила, что это временно.

Оптимизм и вера в победу не покидали ее. Мне рассказывали, что даже в Чистополе, после того как в Москве их почти засыпало в бомбоубежище, после тяжелой езды на пароходе, очутившись в непривычной обстановке, физически слабая 75-летняя женщина, когда большинство писателей растерялось и готово было говорить, что Москву сдадут, она не допускала этой мысли, спорила и утверждала, что Москву отстоят. Каждого убитого она готова оплакать, каждого бойца по-матерински обласкать.

Ольга Владимировна поразила меня впервые 14 апреля 1930 года на Гендриковом. Безудержное ли горе придало ее голосу потрясающее сходство с голосом Маяковского, и в тот страшный вечер, когда он лежал мертвый, казалось, что ее голосом говорит он.

Помню, как этим же сходством, но уже в другой обстановке, был потрясен Александр Николаевич Андреевский (один из руководителей стереокино). Он хорошо знал Владимира Владимировича и очень любил его. С семьей он знаком не был и, кажется в 1934 году, у меня дома впервые встретился с Олей (был еще народ, справляли день рождения дочки). Андреевский вдруг куда-то вышел, я пошла его разыскивать. Он мне сказал, что нарочно исчез, так как не мог прийти в себя, настолько для него неожиданным было это потрясающее сходство. Он смотрел на Олю и видел Маяковского.

Безусловно, тут главное не в сходстве черт лица — чертами Маяковский — он больше всего похож на Александру Алексеевну,— тут другое. Я не встречала, кроме Маяковского и Оли, людей, кто бы мог так празднично войти, заполнить сразу собой, широким приветливым жестом, плывущим и переливчатым голосом все помещение... Свободный разворот плеч и одинаковая посадка головы еще усиливают сходство. А ее остроумие, неожиданно быстрые ответы, изумительное умение рассказывать, в нескольких сжатых словах дать яркую характеристику человеку, событию! И в то же время в Олином характере сочетаются широкая, с большим диапазоном натура с колоссальной внутренней заторможенностью. (Не будь этой заторможенности, она была бы или поэтом — я слышала ее стихи,— или художником — видела ее рисунки.) Она талантлива во всем, за

что ни возьмется, но одновременно с этим она сама себя пресекает, начинает критиковать себя, предъявляя к себе особые требования. Возможно, я слишком много беру на себя, так говоря об Оле, но это мое представление о ней, которое я изменить не могу.

О Людмиле Владимировне мне писать трудно — уж очень крепко с ней сплелась моя жизнь после смерти Владимира Владимировича, да и не только моя, а всех тех, кому дорога его память. Все тянутся к семье Маяковского, и в первую очередь к Людмиле Владимировне. Работа по Маяковскому не ослабляет ее любви и энергии к основной профессии художника-педагога. «Откуда такие берутся?» Три человека: мама, сестры — такие разные и в то же время похожие уже тем, что эти люди всегда живут своей внутренней жизнью, далеко уходящей за пределы личного.

Летом мы несколько раз ездили в Пушкино. Даты я обычно путаю. Знаю, это было, когда Маяковский заканчивал «Хорошо!». Официальных собраний не было, ездили мы потому, что тянуло к «своим», к Маяковскому, и, как все остальные, ездили просто «в гости».

Поэму «Хорошо!» Маяковский прочел в Пушкине, на балконе. Я была на этой читке. Впечатление было настолько сильное, что, кроме поэмы и звучания голоса Маяковского, ничего в памяти не осталось. А говорят, что высказывались мнения, причем очень разноречивые: кому нравилось, а кому не очень.

А я и сейчас не понимаю, как можно после такой эмоциональной встряски тут же спокойно обсуждать достоинства и недостатки и даже давать советы. Всего ведь несколько минут назад вот такой доброжелательный или недоброжелательный критик, безразлично, был всецело во власти необъятного голоса. Этот плывущий голос останавливал время, опрокидывал пространство, заставлял вслед за строчками пролететь весь необъятный СССР, Европу, Америку, вырывал из сердца слезы радости, боли и гордости. Разрывая все критические преграды, весь этот огромный комплекс чувств поэт обрушивал на слушателя, а слушатель (пусть самый критически настроенный), захваченный врасплох, терял себя и, потрясенный, сливался с этой лавиной.

Я всегда после таких читок немела, застывала и даже не могла высказать свое отношение, слов не было таких, которые были бы равноценны пережитому, а так что-то пролепетать бессмысленно-восхищенно, казалось, противным себе, а главное, стыдно Маяковского — вдруг усмехнется и подумает: «Даже в Лефе восторженная поклонница нашлась!» Конечно, это отсутствие прямоты, насильственное вытравливание всякого непосредственного проявления себя — это продукт воспитания Брика, его разъедающей иронии. Сам же Брик, Третьяков, Левидов, Шкловский (Перцов тогда разговаривал мало, тоже слушал старших) не только могли быстро все переварить, но и начать тут же диспут по поводу кровью написанных строк.

Молчала не только я, по возрасту самая молодая лефовка,— художники вообще молчали! Родченко и Лавинский просто любили и считали себя слишком глупыми, чтобы вмешиваться в литературоведческие споры. Исключение представляла Варвара Степанова. Она была абсолютно флегматична: «Долой, так долой!», «Громим искусство!», «Подавай факт!». Ее господом богом был Сергей Третьяков, и в него она верила без колебаний, быстро усваивала стиль и также быстро безапелляционно повторяла третьяковские лозунги. Почему она пошла за Третьяковым? Потому, что Сергей был левее Лефа, своих собственных продуманных мнений у нее быть не могло, все подвергалось апробации Сергея. Она и Маяковского и Брика готова была обвинить в «сдаче позиций» (так под конец и было)...

Перцов, насколько я его помню, вел себя несколько иначе, но тоже смотрел в рот Третьякову, будучи его идеологическим последователем. Он был гораздо осторожнее в своих суждениях и мог на какой-то период увлечься другим вождем и незаметно свернуть в сторону. Но Третьяков был последователен, у него идеи Лефа доходили до полного отрицания искусства и литературы. Перцову, всегда ищущему опору в ком-то сильном, такой вождь был самым удобным. Пусть не обижается на меня Виктор Осипович. Глядя в прошлое, наталкиваешься не только на свою глупость. Но Сергей Третьяков — это был как бы филиал Лефа, основной вождь Брик был гораздо интереснее, его изобретательный мозг экспериментатора шел на невероятные трюки,

наталкиваясь на неожиданные монтажи идей, иногда блестящих и оригинальных, а он сам (так как такая комбинация была для него самого неожиданна) удивленно поднимал бровь и констатировал: «Занятно!» Правда, когда Брик садился трудиться, работать по-настоящему, это уже на самом деле было весьма занятно.

Политически неграмотные, теоретически малоразвитые художники — Родченко, Лавинский, Веснин, Семенова и приведенный нами в Леф художественный молодняк принимали бриковское жонглерство мыслью и блестки остроумия всерьез. Пока я, например, вдохновенно бегала-агитировала среди ВХУТЕМАСа — советского студенчества,— Брика вдруг посещало новое наитие, и снова блеск, и снова «занятно»,— так, чтоб за ним поспевать, нужна была известная тренировка. Были ли те идеи всецело бриковские, или он их брал из заграничных новинок — это мне неизвестно. Журналов у него была масса — и английских, и французских, и немецких, языками он владел в совершенстве. Мне кажется, для него самого и не ставился вопрос: его ли это или чужое? Ему нравилось — он брал. Он был «великим комбинатором», но комбинатором беспринципным. Кроме того, он был тонким дипломатом, и если Третьяков гипнотизировал своим догматизмом средневекового ксендза, то Брик, жонглируя, заговаривал, увлекал, заставлял забывать, с чего он начал и к чему пришел. Причем для Брика такой ход был преднамеренный.

Однажды, это было в 1924 году, проблеск критического отношения к Брику у меня появился, развития, правда, он не получил, скорее наоборот: Брик учел одну черточку моего характера и с легкостью управлял мной. А я была ему нужна как пропагандист лефовских идей среди студенчества ВХУТЕМАСа.

Начну немного издали. В 1923 году Родченко, Лавинский официально отказались от преподавания, один живописи, другой скульптуры, в ВХУТЕМАСе и стали деканами металлообрабатывающего и деревообделочного факультетов. Лавинский во имя идей Лефа разбил всю имевшуюся у него скульптуру (в том числе и фигуру Маяковского, сделанную с натуры), Родченко запрятал свою живопись и через много лет тайком от Варвары показывал ее Антону и мне. Я заканчивала основное отделение скульптурного факультета и должна

была идти на специальное к мастеру. Но это ни в коей мере не совпадало с идеями Лефа — пришлось все бросить и идти в архитектурную мастерскую, не чувствуя к этому никакого призвания. Вместе со мной ушла еще одна новая лефовка — Семенова, а вообще разбрелись со скульптурного факультета распропагандированные мной человек двенадцать — пятнадцать, по правде сказать, самые талантливые. С живописного ушло на производственные факультеты не меньше, если не больше народу. Мы с Семеновой выбрали самую левую архитектурную мастерскую — Ладовского, Кринского и Докучаева. Подводя итоги, могу точно сказать: это была самая страшная ошибка в моей жизни. Если опросить остальных — половина ответит так же. Скульптуру я любила, так же как остальные, жила искусством, но для нас занятие искусством стало просто-напросто *не советским делом*. Искусство стало равноценно религии, так как же мы, советская молодежь, можем служить этому культу? Бриковские теории преспокойно укладывались в голове, как идеи Маяковского, и никто из нас — ни из младшего, ни из старшего поколения — не задумывался над тем, чем же в конце концов занимается Маяковский да и тот же Асеев, когда пишут поэмы и революционные стихи!

В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам — Антону и мне:

— Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не свое.

Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил и живопись и скульптуру, воспевая фотомонтаж.

И вот попали мы с Семеновой в самую левую мастерскую Ладовского, но оказалось, что мастерская стоит не на лефовских позициях функциональной инженерии, а занимается сплошным левым эстетизмом. Лично мне это даже нравилось, легко и просто я частично склеила, частично пришила (нитками куски железа) декоративный макет какого-то странного сооружения на тоненькой ножке, с огромными крыльями. Задание было на пространство. Макет имел огромный успех у профессуры.

Разгромив в достаточной мере живописные и скульптурные мастерские, Брик перекинулся на архитектуру. Самой удобной оказалась мастерская Ладовского — студенты «левят», легче всего будет привести в Леф, а кроме того, в мастерской были свои люди — мы с Семеновой, а мой фанатизм плюс въедливость Елены чего-то стоили. Брик не ошибся: через некоторое время в Леф было приведено девятнадцать студентов-архитекторов. Среди них Красильников и Сибирцев. А в одном из номеров «Лефа» была напечатана маленькая заметка, озаглавленная «Монекулярная архитектура» за подписью «Вхутемаска». Статейку написала Лена Семенова. И в конце концов, за пропаганду лефовских идей в стенах высшего учебного заведения, за заметку, за полное лефовское разложение нас, Семенову и меня, из ВХУТЕМАСа выгнали. Правда, после дискуссий, общих собраний, по настоянию ячейки нас восстановили. А состояние, помню, было далеко не радостное, проходить мимо скульптурной мастерской, завидовать тем, кто там лепит, не сознаваться себе в этой зависти! А если тоска становилась невыносимой, хлестала через край, если не могла ее от себя спрятать, то считала себя гнилым существом, находившимся в тисках буржуазного прошлого.

А в личном быту тоже было далеко не все благополучно: «ревность — буржуазный предрассудок» — для меня это было не фраза. И постоянно мне в назидание, как пример идейных настроений нового быта, Антон указывал на Лилю и Осю Брик. И не задумываясь над тем, с какого бока этот новый быт подошел к Брикам, я с невероятным надломом «выкорчевывала» из себя позорные пережитки гнилого прошлого и заставляла себя дружить с Антоновыми возлюбленными. Я была далеко не одна. Варвара Степанова юродствовала: сама выбирала Родченко возлюбленных, а потом впадала в истерики. Хохлова уродовала сына во имя нового быта. А сколько изуродованной молодежи! Еще бы, оторвать от себя искусство, осквернить и испоганить понятие самой любви! Целое поколение изломанных людей!

Я не знаю человека, который бы больше Лавинского, отрезвев от Лефа и вернувшись к скульптуре, возненавидел бы так бывшего «вождя», свою дурость и все извращения! И у меня так: из-за Лефа, из-за Брика вся

жизнь на слом; каким огромным трудом далось даже переключение на графику. Ведь Лавинский, Родченко и остальные хоть в прошлом прошли какую-то школу, а наше поколение митинговало, отрицало и научилось в конце концов на практике одному оформительству. Но и в эти горькие минуты сознание того, что благодаря Лефу я знала, я так часто слышала, я была большой отрезок времени около Маяковского, как-то зачеркивает бесцельные угрызения: «могло быть иначе». Да, безусловно, могло бы быть иначе, если в 1923—1924 годах я умела бы немного самостоятельно мыслить...

Не знаю, почему этот случай так взволновал меня, ведь он, безусловно, был не единственный. Это было первое собрание на Водопьяном организованной при Лефе архитектурной группы. Из взрослых архитекторов был один Александр Веснин, у которого мастерской не было, а преподавал он на декоративном. Студенты, сагитированные мной и Семеновой, были преимущественно из мастерской Ладовского, было несколько и из других мастерских. Кажется, пришли все девятнадцать человек, преимущественно студенты первого и второго курса. У всех была масса энтузиазма, комсомольская путаница в голове в области функциональной инженерии архитектуры — «левого» и «правого», но все были переполнены творческим дерзновением и, безусловно, архитектурным гонором.

Ося Брик взял слово; это была почти академическая речь, он не отрицал существующей архитектуры, а либерально исправлял ее, все было солидно, увесисто, положительно. У архитекторов, кроме гонора, было больше здравого смысла и некоторой «консервативности», чем у художников, и такая «академичность» импонировала. Ушли тихо, как из храма, покоренные, но несколько разочарованные, ждали — веселее будет. Но не было уже ни гонора, ни спеси, ушли, очарованные серьезностью «вождя».

Когда все вновь обращенные лефовцы разошлись, Брик ласково подсел ко мне и сказал:

— У Лилечки страдающее лицо, а ведь победа на нашей стороне.

Я не выдержала и, чуть не плача, заорала:

— Так вы, Ося, весь вечер врали!

Брик ужасно развеселился:

— Занятно! Наша лефовская совесть хочет, чтобы я сразу открыл карты?

И тут он начал посвящать меня во все тайны пропаганды: как нужно слушателей постепенно приучать, иногда совсем затуманивать сознание и запутывать, а то иначе они могут испугаться и разбежаться. Так, с тех пор в особо острые моменты Брик смотрел на меня и говорил только два слова — «лефовская совесть», и я уже понимала, что впадаю в какое-то упрощенчество. Но все же у меня на долгий срок остался тяжелый осадок, было далеко «не занятно», казалось, что принимаю участие в каком-то обмане, помогала поймать «на удочку» своих же товарищей и т. д. Потом, конечно, я успокоила себя тем, что высшая цель — идеи Лефа — оправдывает всякое средство. Еще хорошо, что за всем этим талмудом у меня в одном оставалась ясная голова — правильная оценка Маяковского. Я знала всегда, что это поэт, которому уготовлено бессмертие в веках!

Помню один момент, было это уже в Гендриковом, наверное в году двадцать шестом. Народу мало, не лефовский день, пили чай в столовой. Кто-то из присутствующих попросил Маяковского прочитать что-нибудь из старых стихов. Он встал у края стола, взялся руками за спинку стула. Я пересела на табуретку около кабинета. И в короткое мгновение, которое предшествовало чтению, у меня, как когда-то в детстве, при иных обстоятельствах, мелькнула мысль: «Вот запомни, смотри, запечатлей в памяти этот момент, это больше никогда не повторится, но вот сейчас это есть, так донеси же это «сейчас» до смерти!» И я помню, как он стоит без пиджака, в джемпере, голова немного откинута назад, я вижу профиль, одна рука застывает в воздухе. В сознании мелькает и этот момент, и этот вечер — все это история литературы. Гениальный поэт читает:

Били копыта.
Пели будто...

В такие моменты чувствовалось дыхание эпохи.

В то лето, когда Маяковский читал «Хорошо!», мы иногда брали Никиту с собой, которому было пять лет. Несколько раз он ездил с отцом, а потом бывал со мной.

Притягательной для Никиты силой были городки и, конечно, Маяковский, который встречал всегда своим особенным приветливым жестом. И для Никиты находил несколько только ему предназначенных слов. Он разговаривал с ребенком, как с равным, очень серьезно, внимательно выслушивал его, и в этом не было никакой нарочитости, «приспособляемости», он скорей походил не на дядю Володю, а на старшего товарища, хотя бы младшему было всего три года.

Недавно Никита мне напомнил, как Маяковский совсем по-особенному стучал в дверь нашей квартиры: «Больше никто так не стучал». У меня звонка не было, как двадцать три года назад, так нет и сейчас, поэтому ко мне стучат три раза, кто кулаком, кто деликатно костяшками пальцев, кто неистово бьет ногой,— все зависит от темперамента.

Маяковский же всегда ходил с палкой, и ею он выстукивал отчетливо и раздельно три раза. Никита с четырех лет знал этот стук, бежал на него — идет Маяковский! А Маяковский приходил очень часто, так как надо мной жил Асеев. Встречаясь с Никитой, он всегда с ним разговаривал, мало сказать — серьезно, пожалуй, почтительно, подчеркивая свое глубокое уважение к столь юному возрасту.

В 1925 году Никите минуло четыре года, он был очень вдумчив, и большой проблемой в его сознании был рост Маяковского. Иногда Владимир Владимирович разрешал Никите использовать свой рост утилитарно, то есть Никита брался за руки и раскачивался так, чтобы пролететь в ворота широко расставленных ног. Никита с двухлетнего возраста, когда я его взяла из детдома после моих туберкулезных санаториев, сразу попал из женского общества преимущественно в мужское, но не растерялся и первое время всех звал «мамами». Потом он подрос и, когда ему было пять-шесть лет, ко всем имел уже свое «личное» отношение. Александра Веснина любил, но относился к нему покровительственно. Крученых недолюбливал. Брика, Асеева признавал за старших, но они ему не импонировали. Маяковский же был «особенный». Конечно, Никита чувствовал, что отношение к Маяковскому у всех у нас тоже особенное. И входил Маяковский не как все. И кто мог так своей фигурой, голосом, широким жестом внести в ком-

нату праздник и радость! И естественно, казалось, что такой самый умный, самый главный, «особенный» выше всех ростом,— одним словом, рост ассоциировался с «большущим человеком», «человеком-героем».

И вдруг у нас с Лавинским, примерно в конце двадцать пятого года, появился помощник, студент архитектурного факультета Александр Филимонович Добров. Он был огромного роста, но какой-то уж слишком стройный, слишком женственно красивый, с тонким, довольно неприятным голосом. Работал он у меня в квартире, мы с Антоном делали эскизы, и он помогал их вычерчивать. Когда Никита увидел Доброва, он был потрясен до онемения, ему показалось, что пришел человек, который выше Маяковского. Но как же это могло быть? Раз выше, значит, еще более великий, чем Маяковский. Но почему же он работает по моим и отцовским эскизам, постоянно спрашивает меня: так или не так? Одним словом, какая-то путаница. Временный выход был найден. Никита решил, что ему просто показалось, что «юноша» выше, потому что он такой тонкий, но одинаковый рост также был недопустим. Вопрос о «юноше» и Маяковском повергал Никиту в периодические приступы задумчивости. «Юношей» прозвал Доброва Никита, мы очень смеялись, но нашли, что прозвище очень подходит к такому девически красивому мужчине. Так оно за ним и осталось.

Вот как-то вскоре после появления у нас Доброва сидели мы втроем. Мы с «юношей» работали, а «вдумчивый» Никита созерцал, видимо разрешая психологические вопросы о единстве роста и гениальности. Раздался знакомый стук, и вошел Владимир Владимирович. «Юноша» проводил какую-то ответственную линию тушью, сидел согнувшись и даже не повернулся, а Владимир Владимирович удивленно уставился на него. Потом, не снимая пальто, с палкой в руках подошел и властным голосом произнес:

— А ну-ка, встаньте!

«Юноша», не понимая, в чем дело, вскочил, как по команде, вытянулся, не решаясь поздороваться, застыл солдатом, обмерив поэта взглядом с головы до пят.

— Подойдите! — приказал Маяковский.

Робкий «юноша», стесняясь, подошел (а я и позабыла, что их нужно познакомить).

— Повернитесь спиной! — продолжал Владимир Владимирович.

И они начали мериться. Мерились долго, с азартом, и спиной, и просто у стенки. Я была судьей, а трепещущий Никита экстазовал, вдруг бросаясь «юноше» под ноги, чтобы проверить, нет ли у него дамских каблуков. Но, несмотря ни на что, несмотря на искреннее желание «юноши» сократиться вдвое, такой у него был виноватый вид, несмотря на умоляющие взгляды Никиты, факт был налицо — на несколько сантиметров застенчивый «юноша» оказался выше. Владимир Владимирович был также несколько смущен, как будто не оправдал надежды.

— Странно, но выше,— сказал он.— Давайте знакомиться.

И только тут они протянули друг другу руки.

Никита страдал ужасно, какая-то мировая гармония была нарушена. Вскоре этот вопрос был снят сам собой. «Юноша» все чаще и чаще стал запивать, опаздывать на работу, а была спешка, мы с Антоном на него злились, стыдили, ругали, и его рост утерял даже налет романтической окраски. Слитность формы и содержания в пятилетнем Никитином сознании распалась, но Маяковский стал от этого еще более исключительным, еще более особенным, в нем эта слитность была сохранена, да это не только для Никиты, а для всех нас, имевших счастье какой-то отрезок пути пройти рядом с Маяковским.

Сложно обстояло дело у Никиты с проблемой — Пушкин и Маяковский. Я была занята всецело работой, лефовскими делами, «выкорчевыванием» из себя таких пережитков прошлого, как «чистое искусство», скульптура, живопись. Никита был на руках у няньки (она и сейчас у нас и также помнит Маяковского), а интеллектуально его воспитывала бабушка, моя мать. Они, я помню, без конца читали сказку Пушкина «Руслан и Людмила». Никита с упоением, с дрожью в голосе декламировал. Помню, как я обалдела, когда он мне однажды с пафосом заявил: «Пушкин это такой Евгений!» Евгений Онегин и гений у него слились в Пушкине. Я выразила суждение по поводу того, что в каждой эпохе есть свои «евгении» и если раньше таковым был Пушкин, то сейчас у нас есть свой гений — Маяковский.

Никита хоть и слышал стихи Маяковского, но Пушкину отдавал явное предпочтение, хотя бы уж потому, что казалось просто невозможно увидеть живого гения. «Гении живые не бывают»,— заявила безапелляционно двухлетняя Лилька, но в то время Маяковский уже умер.

Помню, как в Пушкине, на балконе, Маяковский читал стихи. Народу было много, и, прежде чем начать, Маяковский обратился к Никите:

— Пока я читаю, не перебивать, ни о чем не спрашивать, не делать никаких замечаний, а после читки получишь право голоса, выскажешь замечания, что понравилось, что нет.

Никита молча выразил свое согласие. Он не только молчал, он боялся пошевелиться. Когда Владимир Владимирович кончил, после громких и обильных лефовских разговоров, он наклонился через стол и сказал Никите, что настала очередь высказаться ему. Никита напыжился, покраснел, вид был такой, как будто он ныряет, и тихо сказал ему:

— Хорошо, но Пушкин писал лучше.

Помню, я готова была избить паршивого мальчишку, так мне было стыдно, что породила такое консервативное существо. Но ничего, Владимир Владимирович принял к сведению, но не обиделся.

Смерть Маяковского девятилетний Никита пережил очень тяжело. Мы его звали проститься с поэтом, но он категорически отказался:

— Не хочу видеть мертвого.

Мать моя рассказывала потом, что он все эти дни угрюмо молчал, а в день похорон на несколько часов куда-то исчез из дому. Соседка моя его видела в хвосте какой-то похоронной процессии: он не выдержал, побежал искать Маяковского и пристал к чьим-то похоронам.

Возможно, многое, о чем сейчас Никита рассказывает, является в некотором отношении домыслом. Он говорит, что помнит прекрасно Маяковского, а вернее, то, что отпечаталось в памяти и наши разговоры о нем слились в одно представление, и хотелось, чтобы не было простым бахвальством его постоянное утверждение, что если отцу не удастся, то образ Маяковского в скульптуре создаст он.

Я знаю еще случай большой детской любви к Маяковскому, донесенной до совершенно зрелого возраста. У архитектора Рашели Смоленской есть дочь Лита. Когда ей было лет десять-одиннадцать, она стала писать стихи. Девочка была талантливая и своеобразная. Она, кажется, подстерегла Владимира Владимировича на дворе и передала ему свои стихи. Он ей дал свой телефон, сказал, что прочтет, а она пусть позвонит. Девочка была решительная, позвонила. Маяковский с ней долго разговаривал, хвалил, сказал, что, как напишет еще, пусть обязательно ему передаст. С тех пор Лита завязала с Владимиром Владимировичем совершенно независимые отношения. Она его абсолютно не стеснялась, приносила свои произведения, заходила, когда ей было нужно, но всегда по делу.

Кажется, Лилей Юрьевной была пущена версия, что Володя терпеть не может детей, и многие из бездетных лефовцев эту версию поддерживали. Я никогда с Владимиром Владимировичем на тему о «любви» к детям не разговаривала, но глубоко уверена, что Лиля Юрьевна давала свое субъективное умозаключение. То немногое, что пришлось видеть мне, говорит об обратном.

Пишешь о Маяковском и детях, и невольно лезут воспоминания об отношении Маяковского к молодым поэтам, его радость, когда он находил что-то хорошее, новое, и, найдя, с какой жадностью он вцеплялся в человека!

Как-то прихожу, народу мало, а Маяковский расхаживает и декламирует:

Гренада, Гренада, Гренада моя...

— Нет, вы послушайте, вот это поэт!

Он прочел все стихотворение сначала, повторял много раз. Каждого вновь пришедшего спрашивал, читал ли он светловскую «Гренаду». Маяковский переливал голосом, упивался стихом.

Помню также появление мальчика Кирсанова на Гендриковом. Приехал он прямо из Одессы, выглядел юношей лет семнадцати-восемнадцати, да так оно, наверное, и было. Худенький, черноглазый, задорный, темперамент из него так и лез. Читал блестяще свои стихи и восторженно смотрел на Маяковского. Веяло от него молодым фанатизмом лефовца и непривычной для

москвичей непосредственностью. Жить ему было абсолютно негде, и он с месяц спал у нас на столе. Маяковский с большой теплотой относился к нему и радовался его стихам. По-моему, Кирсанов не в достаточной мере оценил и понял это отношение великого поэта к поэту начинающему. Да это получилось не только с Кирсановым, но и вообще со многими, очень быстро теряющими чувство дистанции: несколько раз их напечатали — и они уже на равной ноге, они уже критикуют и т. д. С Кирсановым это особенно быстро произошло. Обласканный Лилей Юрьевной, он, конечно, попал в число ее любимчиков, потерял всякое чувство меры. И когда в 1929—1930 годах Маяковский, разогнав Леф, пошел в РАПП, Кирсанов, с высоты своих теоретических позиций, перестал подавать Маяковскому руку. Так, по крайней мере, тогда говорили, а много лет спустя об этом же мне рассказывала Люба Фейгельман...

Кассиля я почти не знала, он пришел тогда, когда наша трагедия с Лефом (иначе не знаю, как назвать) была закончена. Я его встретила в тридцатом году, примерно в феврале, у Оли Третьяковой (у нее в это время жила Семенова, с которой мы работали). Он прибегал туда расстроенный, растерянный, не понимая, что с Маяковским делается. Помню, он рассказывал, что Владимир Владимирович взял и за что-то его выгнал. Но Кассиль не только не осуждал, он глубоко переживал все то непонятное, что происходит с человеком, которого он любит, ставит на огромную высоту и ничем не может помочь.

А Асеев? Уж кого, как не Николая Николаевича, ценил Маяковский и как поэта, и как лефовского товарища. Но разве когда-нибудь и в тот период и после, при любых личных отношениях, Асеев забывал, что это поэт, имя которого останется в веках? В период 1925—1928 годов я очень дружила с Асеевым и часто с ним встречалась помимо Лефа. И тогда, говоря о Маяковском, он высказал одну мысль:

— Сейчас мы еще не можем осмыслить, но время покажет — время за Маяковского!

Крученых, тот записывал за Владимиром Владимировичем фразы, как за всякими другими поэтами, в расчете, что когда-нибудь пригодятся. Время на него не наложило печать. Он, так же как и сейчас, постоянно

куда-то торопился, входил бочком, разговаривал загадками и преображался только в момент, когда играл в карты. Вот уж кто поистине не знал цены Маяковскому, так это Крученых! (Это не помешало ему, конечно, выпустить сразу же после смерти поэта книжонку «Живой Маяковский», так же как после смерти Есенина — «Черную тайну».). Человек, для которого нет ничего святого. Кто-то в Лефе прозвал его Смердяковым. После смерти Маяковского Крученых цинично пророчествовал:

— Не пройдет и пяти лет — Володю забудут. Да это и естественно, Володя больше актер — брал голосом и игрой на эстраде, а сам стих? Да сколько поэтов (не говоря о Хлебникове) куда сильнее Володи! «Облако» было пределом Володиных возможностей.

Увидя мою перекошенную от злости физиономию, он мне предложил пари на пять лет, взмахнул плечиком и пошел.

К солидному Родченко Маяковский всегда был особенно внимателен. Зная, что Родченко любит всякие новинки, привозил ему из-за границы много разных занятных подарков. Называл Маяковский Родченко «стариком». «Старик» был страшно обидчив, иногда и сам не знал, на что он обиделся, а удивленно констатировал факт:

— Вот пришел домой и почувствовал, что я обижен. Стараюсь припомнить, кто обидел,— не могу, когда-нибудь вспомню.

Маяковский умел обращаться и с такой «хрупкой» натурой и, кажется, ни разу его не обидел.

Родченко, конечно, цену Маяковскому знал, любил его больше Брика, больше Третьякова, восхищался им всегда, но был он такой молчаливый и важный, всегда лысый и очень красивый, вид имел американца, видимо, из-за особой одежды, так как штаны и блузу шила ему Варвара по собственному покрою. Теперь Родченко говорит, что важность его была от застенчивости, он стеснялся, когда было много народу. У Варвары бытовая сторона жизни, то есть чай, игра в маджонг, карты, одним словом, кусочек быта, стерла всякую внутреннюю дистанцию; кроме того, себя и Родченко она считала вождями в производственном искусстве. Для Варвары Маяковский был просто талантливым «Володько»,

а великим человеком был, как я уже говорила, Сергей Третьяков. Но, возможно, любила «Володьку» она больше Сергея и после его смерти перенесла эту любовь на «Оську».

Антон Лавинский Маяковского обожал, и, когда он говорит (а он не любит говорить об этом), что за всю его жизнь это была самая большая любовь, самый большой авторитет, это не просто слова.

Маяковский подчинял себе не только огромным, одному ему присущим обаянием, у него была черта — он мог так повернуть вещь, что заставлял видеть ее заново. Не забуду — нам спешно нужно было сделать плакат для Политпросвета или Гослитиздата. Утром Маяковский позвонил, Антон побежал к нему на Лубянку (место рабочих встреч). Вернулся со стихами Маяковского, что-то насчет учебников. Плакат нужно сделать послезавтра утром. День прошел над эскизами. Наконец Антон изобрел рекламно новое: в центре — знак Госиздата, а из центра, как два поезда или лучи, ползут на зрителя учебники; заканчивались два поезда-луча двумя большими учебниками. Все это было черным на желто-оранжевом фоне, выглядело эффектно, и нам нравилось. Наутро посмотрели «свежими глазами», и, обычно всегда недовольный собой, Антон заявил:

— А знаешь, что-то совсем-совсем новенькое, интересное. Что скажет Володя?

Захватил плакат и отправился к Маяковскому, к точно назначенному часу (Владимир Владимирович любил точность во времени). Я с трепетом осталась ждать возвращения Антона. Ведь так бывало приятно, когда Маяковский доволен! Чувствовалась какая-то окрыленность, вера в свои силы, и в какую-нибудь папиросную обертку буквально вкладываешь душу, сознавая, что делаешь нужное дело. «Халтура» — это было абсолютно неприемлемо для лефовского художника.

Антона пришлось ждать недолго. Вернулся мрачный, с плакатом под мышкой. На мой немой вопрос заявил:

— Володя сказал: «Штаны». Нужно к завтра переделать.

Я просто заорала:

— Какие штаны? Где штаны?

Антон злобно ответил:

— Оранжевые.— И развернул плакат.— Как ты раньше не заметила? Прихожу к Володе. Он доволен, что вовремя, а у меня вид восторженного идиота — вот сейчас покажу шедевр. Володя уже предвкушает удовольствие, а посмотрев, сказал: «Штаны». Тут и я сразу увидел эти проклятые клоунские штаны.

Конечно, тут и я сразу прозрела. Сон как рукой сняло. Моментом взялась за работу. Наутро сдали новый плакат, заслуживший полное одобрение Маяковского.

Но Владимир Владимирович не всегда бывал безапелляционным в своих суждениях. В 1919 году Антон вместе с Краковским и Киселевым делал оформление спектакля «Мистерия-буфф» в театре Мейерхольда. В действии «Ад» все три художника переругались окончательно. Антон унес макет домой и в злости стал все снова переделывать. Ночью раздался стук, вошел Маяковский (я его тогда еще очень мало знала). Он извинился, сказал, что на минутку, посмотреть, как дела. У Антона к моменту прихода Владимира Владимировича начало уже что-то налаживаться, и в такой момент напряженного состояния художнику обычно всегда тяжело показывать незавершенную работу. Маяковский не сбил Антона и держал себя не как критикующий хозяин постановки, а как мастер, пришедший посоветоваться к равному мастеру другой специальности. Видимо, Маяковский зашел сначала в мастерскую, где работали художники втроем, узнал о творческой перепалке и о том, что Лавинский пошел «добивать» макет один (времени было в обрез), учел состояние Антона и не только не вступил с ним в спор, но сразу внес полную разрядку, бодрость и веру в то, что будет сделано как надо. Я не помню ни слов Владимира Владимировича, ни выражений, он пришел настолько неожиданно (я спала, проснулась, когда он входил). Я смотрела на него и удивлялась: какой он тихий и мягкий! Тогда это не соответствовало моему представлению о Маяковском.

С этим же макетом связан еще один эпизод, о котором я знаю со слов Лавинского. Где это было, в театре ли Мейерхольда или еще где (я могу перепутать), по-

этому расскажу только суть. Маяковский подошел к макету, взял в руки наклонную лестницу, выпрямил, посмотрел и сказал, что так лучше. Оказывается, именно над тем, чтобы найти этот нужный наклон, Антон и бился так упорно и долго. Обозленный Антон завопил:

— Как отнесся бы ты, если бы я стал лезть и коверкать твои стихи?

Вместо того чтобы рассердиться или настаивать, Владимир Владимирович сразу поставил лестницу на прежнее место и сказал примиряющим тоном:

— Ну Лавиночка, Лавиночка, успокойся, не буду.

Антон, конечно, сразу успокоился и стих.

Помню еще случай (было это уже на Гендриковом), когда Маяковский не оборвал расходившегося Антона и не изменил к нему отношения. Когда я себя спрашиваю, почему Маяковский проявлял такую мягкость, то ответ может быть двоякий: или за всей невоспитанностью Лавинского, за его бестактностью он не мог не почувствовать огромную любовь к нему, или же сам внутренне соглашался с тем, что в такой грубой форме было преподнесено Антоном Брику.

Кажется, это был несостоявшийся архитектурный вечер, народу мало было, все разошлись. Лиля Юрьевна отсутствовала. Маяковский шагал в своем кабинете, а в столовой были Брик, Лавинский, я и Андрюша Буров. Был ли кто в кабинете еще, я не знаю. Тема была об эксперименте и велась в очень повышенных тонах. Брик наскакивал на художников, обвиняя Родченко и Лавинского в том, что они мало экспериментируют.

— Родченко хоть фотоаппарат завел, а ты и этого не сделал. Нужны фотоопыты, различные способы фотомонтажа. Фотомонтажом нужно наглядно доказать, что живопись отжила, за границей это художники делают, а вы...

Брик говорил долго. Антон все время молчал и вдруг неожиданно заорал:

— Хватит, Ося! — Антон побелел — признак, что сейчас никакого удержу не будет.— Молчал бы лучше! Хорошо тебе, только тем и занимаешься, что «сеешь идеи». Да тебе и делать больше нечего, живешь себе, как барин, на всем готовом.

Ося приподнял брови, задергал галстук.

— Что ты этим хочешь сказать?

Маяковский тихо остановился в дверях столовой.

— А то хочу сказать, что деньги приносит в дом Володя. Кто содержит тебя, Лилю Юрьевну и всю орду гостей? Володя! Ты, Ося, барин и можешь от нечего делать сорить идеями, а нам с Родченко приходится кроме экспериментов зарабатывать еще деньги, чтоб каждый день жрать...

Антонову истерику я помню дословно, могу ошибиться только в расстановке слов. Ося очень вежливо и корректно заявил, что в таком тоне он разговаривать не привык. Антон уже успокоился, так как высказал все, что накопилось. Андрюша Буров незаметно исчез. Маяковский, не сказав ни слова, ушел в кабинет. Ося простился со мной, как всегда, любезно и безразлично с Антоном. Вид имел такой: стоит ли на дурака обижаться! Я была во всем согласна с Антоном, но такое непрошеное врывание в чужую жизнь считала просто неприличным, и потому меня очень удивило то, что Маяковский не одернул Антона. Мало того, он в дальнейшем не изменил к нему отношения.

Есть у меня еще один очень личный эпизод с Маяковским, который на всю жизнь запечатлелся в памяти. Кажется, это было в 1925 году. Был у меня бурный период лефовских сомнений и таких же бурных страданий из-за разрыва с Антоном. Ждали возвращения Маяковского из какой-то поездки. Я не могла с собой справиться, тосковала, ревновала, ненавидела. И в таком жалком состоянии отсиживалась, зареванная, дома. Я не слышала стука в дверь. Помню только, как вошел Маяковский, такой праздничный.

— Лилечка, обхожу друзей, пришел к вам, к Асееву.

Посмотрел внимательно, увидел в полумраке зареванную рожу, не спросил, что случилось, а сказал только:

— Может, могу помочь?

Тут я кинулась к нему и буквально завыла, произнося одно слово:

— Антон!

Маяковский, конечно, знал, в чем дело, но заговорил тихим голосом что-то совсем невнятное, запомнила только одно:

— Тут я совсем беспомощен, Лилечка, мне и самому тяжело.

Он еще что-то говорил, но я не понимала его слов, не оставили они в памяти следа, потому что ревела, уткнувшись ему в пальто, а он поглаживал меня по голове...

Может создаться впечатление, что я вижу Маяковского каким-то уж очень добрым, даже с налетом сентиментальности. Не так это! Я помню его, когда он огрызался и беспощадно бил своих врагов,— иронического, испепеляющего своих врагов, которые хорохорились и пытались с ним разговаривать сверху вниз. Тут он прекрасно устанавливал дистанцию любыми средствами. «От великого до смешного — один шаг» — и шагнул в сторону своего брызжущего слюной противника.

Но такого Маяковского, Маяковского-трибуна знают все. И крови он попортил многим пошлякам и мерзавцам, вытягивая их из маскировки на свет. Помнят это зазнавшиеся поэты и эстетствующие беспринципные критики: как ни кололи они его, как ни окружали, он знал, что «стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо».

В лефовской среде он выслушивал критику Шкловского (Шкловский обычно поучал). Вряд ли тогда Шкловский отдавал дань Маяковскому, чувствовал дистанцию. Это пришло после смерти поэта. Да и Маяковскому это было не нужно. Должен же он был чувствовать себя хоть в каком-то коллективе, и к критике товарищей он прислушивался очень внимательно, да и к враждебной также. Иногда мне кажется, что он романтизировал своих товарищей, чтоб только иметь возможность сказать «мы», хотя в Лефе были люди, с которыми он бывал вежлив, когда здоровался, а то просто не замечал.

Помню, как на Гендриковом появился Катанян с пышной, красивой женой Галиной. Контраст был поразительный. У Галины Катанян был к тому же красивый голос, но она сейчас же попала в переработку бриковской «душегубки», то есть ей было внушено, что пение — это буржуазный предрассудок и пережиток, и она сразу начала «выкорчевывание». Катанян же был скромен... Почему-то запомнились слова Маяковского, ска-

занные не помню по какому поводу: «Пусть Лилечка пошлет Катаньянчика»,— что-то нужно было купить.

К Бескину он относился иначе. Бескин был идеологическим противником, правда, противником бесхарактерным, который в любой момент мог переменить позиции. Маяковский хватал Бескина корректной иронией...

Хочется мне рассказать о том, как Маяковский с огромным трудом пробирался на свой собственный вечер. В каком году это было, я точно не помню, но так логически в 1926—1927. Мы, как все лефовцы, не пропускали вечеров в Политехничке. Каждый вечер был для нас событием огромного духовного значения. Мы, теоретически отрицавшие искусство, присутствовали при рождении гениальных художественных произведений. Слушали и наблюдали, какое они приобретают значение для публики. И для нас, художников, в особенности закрывшим себе вход в изобразительное искусство, оскопившим себя, в выступлениях Маяковского было все то, что мы утеряли. Настолько сильно было переживание, что казалось, мы, слушая его, являлись участниками творческого процесса, а кроме того, это ведь был бесценный отчет наблюдений, выводов, блестящий бой с противниками; хоть мы заранее и знали, что они будут побиты, но делалось это всегда настолько неожиданно, что мы терялись от восхищения. Тогда не думалось, какого колоссального нервного напряжения стоят Маяковскому все эти вечера, которые он сам так любил. Ослабь хоть немного внимание и не успей он отбросить направленный на него удар блестящей остротой, вся эта восторженная толпа, эмоциями которой он, как дирижер, управлял, стала бы сразу отчужденной, насмешливой и враждебной.

Обычно на вечер билетов мы не покупали, Маяковский выписывал нам пропуска, но, видимо, администрации надоело это множество пропусков, и она решила их аннулировать, билеты же все давно распроданы. Одним словом, Владимир Владимирович велел нам незадолго до начала прийти к нему на Лубянку. Когда мы к нему пришли, у него было несколько лефовцев. Маяковский проверил свои карманы: все ли взял, тут

ли записная книжка, какие-то листы. Закончив это дело, он весело пошел.

Приблизившись к Политехничке, мы увидели огромную толпу при входе. Маяковский бодро заявил, чтобы мы от него не отставали, так как придется пробиваться. Маяковский очень вежливо просил его пропустить, но его не пропускали. Тогда он крикнул:

— Товарищи! Вечер отменяется: я не могу пройти.

В одно мгновение проход очистился. Маяковский скомандовал:

— Товарищи, за мной!

Мы благополучно прорвались, и тут же следом хлынула толпа. Как было бесконечно радостно плыть в этой толпе людей, знать, что тебе посчастливилось видеть его, разговаривать с ним, слушать его! И только одно нельзя было сделать: показать, как сильно его любишь.

И еще на один вечер ходили мы вместе. Это был вечер в воинской части ГПУ, в небольшом клубе, устроенном в подвальном помещении, в одном из переулков, идущих от Лубянки. Маяковский только что закончил поэму «Ленин». Она еще не была напечатана, мы ее слушали у него дома. И вот он позвонил и сказал, чтобы мы за ним зашли, если хотим послушать еще поэму.

Мы пришли. Маленький зал, аудитория только военная. Я несколько раз слышала поэму «Ленин» в читке Маяковского, и всегда он потрясал. Но в этой суровой обстановке веяло от нее абсолютной правдой и скорбящим величием. Мертвая тишина, застывшие лица, и на маленькой трибуне огромный Маяковский. Время, место стали понятиями весьма относительными, величие пережитых годов, дыхание эпохи раздвинуло стены аудитории. Помню, когда Маяковский читал:

Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз...—

напряженные нервы не выдержали, я стала плохо видеть от застилавших глаза слез, а вытереть было стыдно, и создавалась иллюзия: Маяковский в тумане; воображение превратило туман этот в падающий снег.

Когда я, наконец, обернулась на окружающих, то увидела лица, по которым поняла, что годы пройдут, а не забудут они этого чтения и поэта, сумевшего найти такие за сердце берущие слова о Ленине. И эти слова останутся для них дорогими и священными. Многие военные, не стесняясь, вытирали слезы.

Маяковский, конечно, чувствовал эти протянутые к нему нити любви, и голос плыл и растворялся в скорби, в гордости и в величайшем оптимизме. Когда чтение окончилось, наступила огромная тишина и только через долгий срок прорвалась оглушительным грохотом. Не знаю, были ли это аплодисменты, вернее, общий шум и крик благодарности. Но никто не расходился.

Маяковский прошел в маленькую комнату, его окружили. Кто-то робко задал вопрос, и Маяковский стал говорить. Я была далеко от него, не слышала ни вопросов, ни ответов Владимира Владимировича. Но я видела лица, обращенные к нему, видела Маяковского и улавливала интонации его голоса. Как не похож он был на блистающего остроумием и едкой сатирой Маяковского Политехнички! Когда я сейчас хочу мысленно представить его отношение к слушателям в тот вечер, я бы сказала, что основной чертой его было глубокое товарищество и уважение. Вышли мы вместе. Маяковский был радостный, взволнованный, но говорил мало.

И вот я думаю часто: каким же был одиноким Маяковский в своей среде! Это вывод, основанный и на моих личных наблюдениях, и на разговорах с товарищами. Он один нес ношу свою и никогда не мог ее, хотя бы частично, переложить на плечи друзей. Мог ли он рассказать Брикам (они же считают себя ближайшими) о своей юности, о Кавказе, о цели, поставленной им, мальчиком, в тюрьме: «хочу делать социалистическое искусство», рассказать об этом людям, которые все подвергали светской иронии, для которых «Ленин» и «Хорошо!» были снижением по отношению к первым вещам, а весь Маяковский будто произошел от Бурлюка и Брика. Так «социалистическое искусство» задолго до знакомства с Бриком было им невыгодно, и они бы обсмеяли то, что было для него священно.

Маяковский в своей среде — это были узколефовские дела, это была любовь к Лиле, у которой, как и у

Оси, был вкус на все новое: на стих, на ритм, на голос, на славу больше всего, и не было ни малейшего понимания того, что стихи его действительно кровью писаны. «Вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — и окровавленную дам, как знамя». И вот на этой-то кровоточащей душе отплясывали частенько «вороны-гости», а ее «невыносимый голос» играл на нервах: «Володе полезно помучиться, пострадать — хорошие стихи напишет». А Ося, усмехаясь, заявлял: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — это лучшее, что сделал Володя».

Это самые близкие друзья и биографы, в число их попал и Катанян, претендующий на имя друга и на понимание Маяковского.

Мне стыдно писать об этом. Как будто копаешься в грязном чужом белье, но если бы это касалось одной Лили Юрьевны, то кому какое дело! Но через нее, через Брика раньше шло искажение не только биографии (биографию в конце концов можно восстановить), но и всего образа поэта. И футуристический Маяковский, сделанный Бриками и их последователями, настолько въелся в представление огромной части молодежи, что настоящий, живой Маяковский не воспринимается. Кроме того, он всегда чаще преподносится до такой степени скучно, что соглашаешься с теми, кто говорит: «Причесали Маяковского».

Асеев, Шкловский дали то, что могли. И хотя Маяковские обижались на Асеева за то, что он переврал биографию, но, во-первых, он поэт, во-вторых, можно ему простить, что он не собрал материал, как это обязан был сделать Перцов. Но спасибо Асееву, что в некоторых главах он дал настоящего, живого Маяковского. Я верю в то, что образ поэта создадут люди, которые не знали его лично, не так называемые «друзья», у которых память о бытовых встречах затемняет моральный облик и творческий диапазон гениального человека (я говорю не о фетишизации и не о приобщении его к лику святых).

И еще о «друзьях». Асеев, возможно, самый близкий, поскольку мне приходилось видеть, что ни к кому с такой нежностью, как к Николаю Николаевичу, не относился Маяковский. Асеев много говорил об огромном одиночестве Маяковского и о том, что друзей у него

не было. В течение ряда лет я Николая Николаевича не видела, и вот случайно в 1938 году я с ним повстречалась на Сретенском бульваре. Столкнулись — и вдруг заговорили о нем. Это было как в поезде — неожиданно раскрываются заторможенные клапаны. Возможно, встреть я его в другой обстановке, все было бы иначе, сказал бы: «Здравствуйте, а вы не стареете!» И все. Но, возможно, именно неожиданная встреча вызвала у меня такой порыв к Асееву. Мы сели на скамейку и проговорили часа два-три... О многом говорил Асеев (это могло быть темой целой тетради), но сейчас я хочу рассказать о том, как Маяковский сидел замурованный собственным молчанием, как в тюрьме.

Асеев говорил:

— В страшный период 1923 года, когда Володя заперся на Лубянке и писал «Про это» и письмо на тридцати шести страницах к Лиле Юрьевне, он мне звонил: «Коля, приходите немедленно». Я бежал к нему, заставал: распухший от слез, растерзанный, ходит по комнате, спросит: «Ну что там?» Это о Водопьяном. Расскажу все, что знаю, жду — может, начнет говорить. Молчит, чувствую: не может. Потом скажет: «Спасибо, что пришел, теперь уйди». Я прихожу домой. Опять звонок. Я у него снова, и опять повторялось то же самое, и так иногда по нескольку раз в день.

Так закован был в себя, что не мог переложить даже на дружеские плечи часть своего груза, который нес в своем сердце,— любовь не только к сегодняшнему, но и к завтрашнему дню, и ради этого будущего не гнушавшийся никакой черновой работы. У такого человека не было места, где бы ласковые руки жены или близкого друга освободили его хоть немного от него самого. Потому что, когда нервы напряжены, когда человек окружен врагами, когда он годами не отдыхает от самого себя, становятся ему нужны и тепло, и простая человеческая ласка! (Возможно, развожу здесь женскую субъективную отсебятину, но я дала себе слово написать все, не подвергая анализу и критике, иначе я бы ничего не написала.)

В этом году я долго разговаривала о Маяковском с Михаилом Михайловичем Пришвиным, человеком другого поколения, шагнувшим в наши дни из иной эпохи.

Он не знал Маяковского и не хотел его знать. Вот что он мне говорил:

— Как-то так получилось, что я его прозевал. Я его не читал, думал: футурист, вроде Крученых, Бурлюка и остальных, я их терпеть не мог, считал и считаю фиглярами, спекулянтами, ничего общего с искусством не имеющими. И как-то просто случайно, через много лет после смерти Маяковского, попалась мне его книга, однотомник. Я начал просматривать, прочел с начала до конца и ужаснулся на себя: как это не заметил, прозевал такого поэта, такого человека! И находился-то он совсем рядом! Поразило меня, прямо-таки потрясло одиночество этого человека. Почувствовал я это одиночество, прочтя однотомник, никто мне ничего не говорил. Далек я был от писательской среды. Наверное, никогда у него не было ни жены, ни друга, и, знаете, очень мне стыдно стало. И еще думаю я, что, может, если бы у него был старший товарищ, которому он мог бы все рассказать о себе, он бы не застрелился. У меня настолько сильно ощущение одиночества Маяковского, что, когда вхожу с площади в метро, меня охватывает чувство тоски и своей глубокой вины перед ним.

Пришвин прав в одном: виноваты перед Маяковским многие и мы все, которые любили, знали его. Виноваты в первую очередь, думая, что этот гигант вынесет. Пришвина мучает абстрактная совесть, а Асеева? Как ни ищи себе оправданий, все равно будешь виноват. Я буквально годами терзалась, что могла ведь сколько раз в марте, в апреле пойти к нему, а вместо себя посылала Рашель, почти чужую, и он даже ее просил остаться, не уходить! Совершенно посторонней женщине 13 апреля прочел свое письмо. Это больная совесть всех нас мучила. А по существу, виноваты в том, что стеснялись ему показать, насколько его любили, может, ему просто стало бы теплее. Но ведь, с другой стороны, не мог же Маяковский ограничиться лефовской средой! А те, для кого он писал? Молодежь? Те встречали его, как не был встречен ни один советский поэт. Если бы он мог видеть свои похороны — это прорвавшееся море горя и любви! Но знал же он по своим выступлениям и в Политехничке, и по городам Союза, и в вузах,— он знал, что все молодое, здоровое устремляется к нему!..

Записала то, что осталось у меня в памяти. В датах у меня, безусловно, путаница. Наверное, есть большие неточности в описаниях. Например, не помню, из-за чего произошел скандал с Пастернаком, мне кажется, из-за стихотворения, которое он дал напечатать вместо «Лефа» в другой журнал. Но, возможно, я путаю с каким-нибудь иным случаем. Знаю одно: ссора была именно такова, как я ее описываю. Совершенно точно знаю, что после этой ссоры Л. Ю. Брик со Шкловским на лефовских собраниях в Гендриковом мы ни разу не были. Впервые очутились там 14 апреля 1930 года. Но не могу ручаться, что в Пушкино летом мы еще продолжали ездить. Трудно было сразу порвать с привычной средой, поэтому у меня происходит неувязка. Пушкино 1928 или 1927 года? В описаниях употребляю часто разговорную речь. Почему? Ведь не могла же я точно запомнить слова, их расстановку, сказанные двадцать лет назад! Но когда вспоминаю, ярко встают картины прошлого и с такой же яркостью звучит интонация голоса. Поэтому так писать мне легче.

Еще несколько слов о Бриках. Лично у меня за все годы знакомства не было ни одной ссоры с ними, не могу припомнить ни одного поступка со стороны Лили Юрьевны или Осипа Максимовича, который был бы направлен против меня или Лавинского. Больше того, знаю, что Лиля Юрьевна всегда ко мне очень не плохо относилась. Когда я начинала писать, я думала, что сумею как-то обойти Бриков,— мне вдруг показалось, что так будет «благороднее». Но я не смогла — получилась бы ложь, обман. И так уж много мест, которые характеризовали быт, я во время переписки вычеркнула.

25 июля 1948 г.

В. И. и В. Ф. Шухаевы

ТРИ ВРЕМЕНИ

На протяжении двенадцати лет нам довелось встречаться с В. В. Маяковским в три различных периода, можно сказать, в три очень разные по обстановке эпохи.

Первая встреча и, следовательно, знакомство состоялось в первые дни после Февральской революции 1917 года в Петрограде, в квартире А. М. Горького на Кронверкском проспекте.

За несколько лет до этого я (В. И. Шухаев) окончил Академию художеств в Петербурге и был послан на два года в Италию в качестве пансионера Общества молодых художников. В 1914 году вернулся в Россию, продолжал заниматься живописью и одновременно преподавал в художественном училище Штиглица в Петербурге. В 1916 году, в дни первой мировой войны, мне предложили поехать на фронт в один из полков, чтобы написать картину из военной жизни. Я пробыл там около двух месяцев, сделал много рисунков. Вернувшись в Петроград, я писал батальную картину «Полк на позиции». Сейчас эта незаконченная работа находится в Русском музее в Ленинграде.

Уже в это время я был знаком с А. М. Горьким. Мне было поручено сделать иллюстрации к его рассказам. Меня особенно увлек его рассказ «Дружки». Так как в «Дружках» повествование ведется от первого лица, я спросил Алексея Максимовича, могу ли я придать в иллюстрации соответствующему персонажу портретное сходство. Он согласился, что это можно сделать,

так как он описал в рассказе то, что действительно было с ним.

— Но, конечно, события не кончились на том, на чем заканчивается рассказ,— сказал Алексей Максимович в то время, когда я рисовал его портрет.

Он очень интересно, увлеченно, живо стал излагать продолжение истории «Дружков». Рассказчик он был изумительный: умел не только в двух-трех словах нарисовать то или иное лицо, но также изобразить обстановку, атмосферу, в которой происходило действие. Мы ощущали знойный полдень, нестерпимую жару и как бы воочию видели лежащую, разморенную зноем собаку, которой лень даже пошевелиться, чтобы согнать севшую на нос и беспокоящую ее муху. Изумительно рассказывал! Кстати, Федор Иванович Шаляпин, который, как известно, дружил с Горьким, мне кажется, именно от него усвоил умение мастерского рассказа.

И вот в первые дни Февральской революции 1917 года Алексей Максимович созвал у себя на квартире совещание. Были приглашены Ф. И. Шаляпин, художники А. Н. Бенуа, К. С. Петров-Водкин, А. Е. Яковлев, В. И. Шухаев и некоторые представители других областей искусства, в том числе молодой тогда поэт В. В. Маяковский. Маяковский нравился Горькому, он привлекал его как поэт нового направления. Кто-то был в красной рубашке, но не могу вспомнить, кто именно: то ли Петров-Водкин, то ли Маяковский.

Алексей Максимович, как и все мы, восторженно приветствовал свержение царя. Он горячо говорил о революции, но оказался плохим оратором, изъяснялся все больше междометиями: ох да ах. И я не понял, зачем он созвал это совещание, какую ставил перед ним цель. Вероятно, он хотел создать нечто вроде комитета по делам искусства.

После А. М. Горького выступил редактор журнала «Аполлон» С. К. Маковский, сын известного художника. Он был одет изысканно, в визитке и в серых перчатках, которые никогда не снимал, может, потому, что считал это верхом элегантности. Маковский говорил выспренно. И Владимир Маяковский все время перебивал его, делал какие-то замечания. Обиженный Маковский прервал свою высокопарную речь и обратился к Маяковскому:

— Я вижу, вам тоже не терпится высказаться?

Маяковский ответил:

— Конечно! Ведь нам до сих пор не давали возможности говорить!

После Маковского взял слово Петров-Водкин. Он тоже был неважный оратор, говорил общие фразы о революции. Шаляпину, так же как и Маяковскому, надоели общие разговоры, и он все время порывался спеть.

— Бросьте эти разговоры. Давайте лучше споем что-нибудь.

Из речей и всего собрания, конечно, ничего не получилось. Вероятно, слишком разные были люди и все устроено второпях.

Даже Маяковский, перебивавший Маковского, не стал говорить, и Шаляпин, порывавшийся петь, так и не спел ничего.

Разошлись все неудовлетворенные и недоуменные: зачем, для чего было это собрание? Наверное, и сам добрый Алексей Максимович тогда не смог бы ответить на этот вопрос.

После этого неудавшегося собрания я несколько раз видел Маяковского в артистическом кафе «Привал комедиантов» в Петрограде. Но это было уже в другое время, по существу, в другую эпоху — после Октябрьской революции.

В «Привал» приходили художники, писатели, артисты. Бывал там и Маяковский. Бывал и А. В. Луначарский, народный комиссар просвещения.

Маяковский чувствовал себя уже по-другому. Нам казалось, что он находится в близких отношениях с наркомом, свой для него человек.

Академия художеств, где я был тогда профессором, естественно, переживала большие трудности. Не было дров, в мастерских было холодно, работать невозможно. Мы, группа художников, решили использовать посещение Луначарским «Привала комедиантов» и обратиться к нему. Так и так говорим. Луначарский развел руками и сказал:

— Посмотрите, везде фронт.— И посоветовал: — Поезжайте-ка вы, кто может, за границу. Поживите

пока там, а когда вы нам понадобитесь, мы вас позовем.

Так мы и решили — податься за границу. Перешли по льду Финского залива с проводником в Финляндию, в Куоккола. Затем пробыли две недели карантин в Териоках и, наконец, очутились в Мустомяках. Прожили в Финляндии год, потом переехали в Париж. Там находился наш друг А. Е. Яковлев. Он помог нам перебраться в Париж.

Александр Евгеньевич был дядей Татьяны Яковлевой, с которой впоследствии познакомился Маяковский. Это был талантливый художник и добрейший человек. Он окончил Петербургскую академию художеств позже, чем я, тоже был в Италии, посетил Китай и Японию и еще до Октябрьской революции поселился в Париже. У него мы и познакомились с Таней, а через нее потом встречались с Маяковским.

Как попала Татьяна Яковлева в Париж? Нам известно следующее. Ее отец, Алексей Евгеньевич, был офицером инженерных войск, потом архитектором, кажется в Пензе. Он, как мы слышали, будто бы изобрел состав искусственного каучука, не мог реализовать его в царской России и уехал в Америку, где и продал патент. Александр Евгеньевич о нем нам никогда ничего не говорил. И мы его не знали, так как он в Париже не жил.

Татьяна приехала из Советской России в Париж с согласия ее матери, так как в Советском Союзе жилось очень трудно, а у нее как будто было предрасположение к туберкулезу.

Татьяна жила с бабушкой, матерью Александра Евгеньевича, а так как мы дружили с семьей Яковлевых, часто бывала у нас. Очень общительная, живая, красивая, она быстро со всеми перезнакомилась и была принята в обществе, в котором вращался дядя. Но ей хотелось быть самостоятельной, и она, поучившись у модистки, начала делать шляпы, придумывая новые модели.

Татьяна имела большой успех, ее везде хорошо принимали. Она имела много поклонников, в числе которых был внук знаменитого русского биолога И. И. Мечникова. Его, кажется, звали, по деду, Ильей. Он особенно часто бывал с Таней, и его даже считали ее женихом.

В 1928 году, в один из приездов в Париж В. В. Маяковского, на вечере у какого-то художника на Монпарнасе Маяковский и Татьяна Яковлева познакомились.

Маяковский сразу влюбился в Татьяну. Как-то Таня привела его к нашим знакомым, где были и мы. Радостная и сияющая, она подошла к нам и сказала:

— Я хочу познакомить вас с Маяковским. Он будет читать стихи.

Мы, разумеется, были рады этой встрече, так как уже раньше знали Маяковского. Но он теперь выглядел по-другому, чем в 1917 году. Да и Таня во многом изменилась после приезда к дяде, который был очень щедр к ней, любил показываться с нею в обществе.

— Володя, прочти «Необычайное приключение»!

— Володя, прочти «Юбилейное»! — просила Таня.

И он охотно исполнял ее желание, читал своим изумительным, мягким басом все, что она просила. Читал он нам и свою новую, только что написанную пьесу «Клоп».

Когда Маяковский бывал в Париже, мы всегда видели их вместе. Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица — высокая, стройная, под стать ему. Маяковский производил впечатление тихого, влюбленного. Она восхищалась и явно любовалась им, гордилась его талантом.

Как-то Таня вбежала к нам и, смеясь, рассказала, что она с Маяковским была в Довиле (курорт на берегу моря) и там они проиграли в рулетку все деньги. Даже на обратный путь ничего не осталось, пришлось им на дорогах поднимать руки и просить подвезти до Парижа.

Весной 1929 года мы опять видели Маяковского в Париже, и всегда с Таней. Когда он уехал в Россию (кажется, в самом конце апреля), Таня сказала нам, что она любит Маяковского и выходит за него замуж, но он поехал сейчас на родину и к осени возвратится за нею.

Она знала, что там, в Москве, есть какая-то Лиля Брик, которую он любил. И хотя, как она говорила, эта любовь его давно прошла, мы видели, что Таню беспокоит, как там все будет улажено, как скоро «ее Володя» сможет приехать за нею.

Нам была понятна ее тревога, так как в Париже находилась сестра Л. Брик — Эльза Триоле, и она очень

недружелюбно относилась к Тане. Больше того, говорила о ней всякие нелепости, и Таня знала об этом.

Нет необходимости доказывать, что дурные отзывы и наговоры на Таню были чудовищно неверными. Мы хорошо знали Таню: она была очень хорошая девушка, искренняя, честная.

Уезжая из Парижа, Маяковский оставил деньги в цветочном магазине, и Тане каждую неделю приносили цветы «от него». Она говорила нам, что чуть ли не каждый день получает от Маяковского письма и телеграммы.

Вот почему, когда мы слышим, будто строки стихов Маяковского, найденные после его смерти в записной книжке:

Уже второй,
должно быть, ты легла.
А может быть,
и у тебя такое.
Я не спешу,
и молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить,—

будто эти строки адресованы Л. Брик,— мы не верим этому. В этих строчках Маяковский, несомненно, обращался к Тане, и только к ней.

То же самое следует сказать о строчках:

Как говорят, инцендент исперчен,
любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете, и не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.

Для нас нет никакого сомнения, что эти строки относятся к Татьяне, говорят о разрыве с нею, который так болезненно переживали они оба.

Нам было известно от Тани и от ее родных, что Маяковский взял в Москву из Пензы Танину младшую сестру, Людмилу. Он был очень внимателен к ней, обласкал ее, одел, заботился о ней, как о сестре. Выхлопотал для нее визу и отправил Людмилу в Париж, к сестре и дяде, которые этого желали. Таня была очень растрогана и благодарна Маяковскому.

Таня ожидала Маяковского. Но потом она как-то пришла к нам и с грустью сообщила, что он не получил

разрешения на приезд в Париж. Мы видели, что Таня очень переживала это, ей было очень тяжело.

Спустя немного времени Таня зашла к нам и сказала, что выходит замуж за виконта дю Плесси. Мы были поражены: как, почему? Она что-то говорила, что не может поехать в Россию и т. п.

Таня не была религиозной. А он был католик и в православной церкви не мог венчаться. Поэтому венчание произошло в армянской церкви.

Жених и сопровождавшие его долго ожидали невесту у входа в церковь. Ее все не было. Наконец она приехала, и не вошла, а буквально вбежала в церковь.

За несколько дней до свадьбы мы спросили Таню:

— А ты сообщила Маяковскому, что выходишь замуж?

Она ответила:

— Нет, я напишу ему только в день свадьбы.

После свадьбы Таня с мужем уехали в Польшу. Вскоре она вернулась с ребенком — красивой девочкой. С дю Плесси Таня разошлась.

У нас сложилось впечатление, что дю Плесси Таня не любила. А с Маяковским у нее была настоящая любовь, и нам казалось, что они созданы друг для друга.

Когда мы узнали о трагической смерти Владимира Владимировича, мы с сожалением и горечью подумали, что, будь они вместе, этого бы не случилось.

с. Николина Гора
Звенигородского района
Московской области
30 июня 1967 г.

«ПОМНЮ МАЯКОВСКОГО...»

Владимир Маяковский... По-своему, по-разному представляют себе облик поэта люди, полюбившие его стихи, но никогда не видевшие поэта. О Маяковском уже много писалось, и еще немало будет написано, потому что нам хочется знать как можно больше о жизни, работе этого великого поэта и удивительного человека. Григорию Филипповичу Котлярову посчастливилось знать Маяковского в жизни. По профессии художник, он в свое время поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, где в те годы учился и юноша Маяковский. Есть что вспомнить и рассказать Григорию Филипповичу о той незабываемой поре.

Магазин «Осип», так называли небольшую лавку с художественными принадлежностями, торговал в которой добродушный полноватый продавец Осип. Его считали хорошим парнем, поскольку он позволял делать покупки в кредит. А это бывало очень кстати.

Магазин был местом, где собирались «избранные», обычно ребята старших курсов. Как-то в перемену и Гриша заглянул сюда. Тут уже было много народу. Над всеми возвышался худощавый, широкоплечий юноша с карими очами и густой шевелюрой. Одет он был скромнее многих, но держался независимо и с большим достоинством.

Попыхивая короткой черной трубкой, он что-то безапелляционно доказывал громовым голосом сво-

ему собеседнику — маленькому, щуплому пареньку. Окружающие с интересом прислушивались к разговору.

— Кто это? — тихо спросил Гриша.

На него оглянулись удивленно.

— Ты что, не знаешь Володю? Это ж Маяковский!

И снисходительно разъяснили, что идет спор о новых направлениях в искусстве и что тот маленький, белобрысый рядом с Маяковским — Вася Чекрыгин — его «страшно большой друг».

Фигурный и натурный классы были смежными. И когда в училище готовились к очередному вечеру, легкая переборка, разделявшая комнаты, убиралась, и получался довольно приличный зал. Здесь устраивались выставки работ. Здесь выступали со своими стихами учащиеся и гости — маститые поэты и писатели, которых приглашали специально. Как правило, это были приверженцы новых направлений в искусстве.

— А направлений было много,— вспоминает Григорий Филиппович.— В пику художникам-классицистам, объединившимся в Союзе русских художников и «В мире искусств», новые (футуристы) создали десятки группировок. Запомнились по названиям «Мишени», «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Голубая роза». Наше училище занимало самостоятельную позицию, не примыкая ни к одному из этих течений.

Был, правда, в училище и свой «будетлянин» — Давид Бурлюк. Он к тому времени считался профессиональным живописцем и... законченным футуристом. Ему разрешалось свободное посещение лекций, чему беспредельно завидовали первокурсники. Его выступления на вечерах пользовались успехом, пока... в училище не пришел Маяковский. Тогда Володя всерьез еще не увлекался поэзией. Но даже первые его стихи были очень своеобразны. В них сказывался Маяковский-живописец. Словно он хотел перевести на язык стиха то, что видит художник. Бывало, заберется Володя в дальний угол мастерской, устроится на табурете, обняв руками голову, и, раскачиваясь, что-то бормочет под нос, рифмует.

А вечером, спустившись к магазину «Осип», он читал друзьям свои стихотворные наброски.

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана...

Выступления Маяковского стали гвоздем программы каждого вечера. И ждали их всякий раз с огромным нетерпением. Бурлюку же оставалось довольствоваться второй ролью. Особенно после возвращения из их совместной поездки летом по городам, где они выступали на вечерах футуристов.

— Увидели мы Володю после каникул и ахнули. Пальто на нем новое, английского покроя, красный шелковый пиджак, под которым виднелась полосатая черно-желтая кофта. А на голове вместо привычного кепи — цилиндр! Ну мы так и покатились от хохота, до того непривычно было видеть Володю в таком наряде,— рассказывает Григорий Филиппович.

На вечерах бывало народу, что называется, битком. Приходили не только все учащиеся, но и совершенно посторонние люди.

— Когда выступал Маяковский,— вспоминает Котляров,— каждого из нас буквально осаждали с просьбой провести на вечер. И вот — выступления. Володя выходил со стороны наших мастерских (там обычно располагались «артисты»).

«Я вам прочту стихотворение «Любовь» из альманаха «Дохлая луна»...»

По залу — хохоток. Маяковский посмотрел исподлобья в зал. Стало тихо, и он начал читать. Нет, не из сплошных доброжелателей состояла аудитория. Но уж если читал Маяковский, даже самые рьяные недруги не решались прервать его репликой или шуточкой.

Он окончил. Зал взорвался аплодисментами, свистом, гулом. Но вот снова рокочет его могучий и спокойный голос. Такой, что мурашки по коже. И снова — ни шепоточка.

Трудно передать все обаяние Маяковского как поэта и чтеца. Это надо было видеть и слышать самому. Тут играло все: и удивительно глубокий красивый баритон, и великолепнейшая дикция, и волевая, сдержанная жестикуляция, и, конечно, сама фигура чтеца, огромная, монументальная.

— Что удивительно,— говорит Григорий Филиппович,— не могу вспомнить, чтобы Маяковский улыбался перед аудиторией. Лицо его запомнилось мне не то чтобы только серьезным, но всегда спокойным. Даже парируя реплики в свой адрес, он не изменял этому своему поразительному спокойствию.

Это было одно из первых публичных выступлений Маяковского, тогда уже полностью примкнувшего к тройке «будетлян» (Бурлюк, Хлебников, Каменский).

На выступления футуристов, пользовавшихся огромной популярностью, публика буквально ломилась. Билеты достать было нелегко. Кроме того, они продавались по ужасно высоким ценам. Но ребята кое-как все-таки раздобыли билеты: надо ж было «поболеть» за Володю.

И вот мы в Политехническом музее. Над входной дверью — аршинные буквы: «Сегодня футуристы!» Над кассой объявление: «Присутствие корреспондентов не важно, а потому они особыми правами не пользуются».

В зале — не повернуться. Люди — вплотную к эстраде. И вот входят футуристы.

Сразу узнаю Маяковского. Володя — в уже знакомой желтой кофте с черными полосами и без пояса. По залу катятся аплодисменты. Кто-то рядом весело фыркает.

Как потом писали «Русские ведомости», «не желая отодвигать события в будущее, хотя и близкое, молодой футурист «в полоску» прямо начал с дела:

— Мы разрушаем ваш старый мир... Вы нас ненавидите...

Кто-то отпустил реплику, что футуризм не нов.

Маяковский, стоя вполоборота к залу и, по привычке, широко расставив ноги, словно отрубая фразу за фразой, кидал в примолкший зал:

— И у других могли бы быть проблески «истинной» поэзии. Египтяне, которые гладили черных, сухих кошек, может быть, тоже извлекали иногда электрическую искру. Однако мы прославляем не их, а тех, кто дал огненные зрачки мертвым головам фонарей и тысячи рук поющим дугам трамваев.

Весь вечер был построен в форме диспута. Слово предоставлялось поочередно то представителю футуристов, то кому-нибудь из их противников. Каждый докладчик имел своего оппонента. К концу вечера страсти накалились до того, что казалось, еще немного, и зал, уже разделившийся на два враждующих лагеря, вот-вот сцепится во всеобщей свалке.

Стекла в окнах дребезжали от дружного свиста. (Вместе с билетами касса продавала в обязательном порядке и свистки. И болельщики не отказывали себе в удовольствии воспользоваться ими.) Но и в этой обстановке Владимир умудрялся сохранять олимпийское спокойствие, которое доводило его противников буквально до исступления.

— «Натура» проводилась для всех классов одновременно. Рисуем около часа. Рядом — Маяковский. Сосредоточен. Краешком глаза пытаюсь рассмотреть, что у него на мольберте. Знаю ведь, он отлично владеет кистью. Заглядываю и ужасаюсь. Сплошь рубленые линии. В них и не угадать то милое создание, что позирует перед нами. А цвета выбрал!.. Сплошь зелено-коричневые оттенки.

— Тогда я еще не понимал дружбы Маяковского с футуристом Бурлюком,— говорит Г. Ф. Котляров.— Ведь я хорошо помнил, как отстаивал Володя интересы художников-реалистов на XXXIII выставке училища. В жюри выставки большинство занимали модернисты. И если бы не настойчивость Маяковского, вряд ли сторонники реализма были бы представлены на выставке.

И вдруг эта дружба с Давидом Бурлюком, которого Маяковский еще недавно, по словам того же Бурлюка, буквально преследовал «как кубиста».

Немногие из нас тогда знали, что юноша Маяковский попал в училище, пройдя пусть короткий, но тернистый путь революционера-подпольщика, что жил Володя мыслью о непременном приходе революции и что в училище он пришел с единой целью — готовить себя к созданию искусства революции.

Маяковский отстаивал реализм, выступал против сторонников модернизма в училище. Но... против «ле-

вых» же выступало и начальство, принимая крикливые лозунги футуристов за «крамолу», причем выступало с позиций ненавистного Маяковскому «академизма».

И вот эти гонимые начальством демагогствующие «левые» постепенно начинали казаться Володе революционерами в искусстве. И он, как говорил позже сам, «ревинстинктом стал за выгоняемых». А в феврале 1914 года был исключен и сам «за крамольные публичные выступления». Маяковский шел в «левый» псевдореволюционный лагерь, субъективно преследуя свои, революционные цели, он надеялся обрести здесь ту новаторскую художественную форму, искал которую давно.

Конечно, сыграли здесь роль и антибуржуазная фразеология Давида Бурлюка, и то, что Бурлюк, обладавший бо́льшим, чем Володя, житейским и профессиональным опытом, внимательно отнесся к молодому художнику.

Д. Бурлюк часто любил говорить по поводу своих отношений с Маяковским идиллически: «один бедняк преданно, бескорыстно любил другого».

— Но мы-то знали, что Давид не таков, каким рисовался перед Володей,— говорит Г. Ф. Котляров.— Нам приходилось слышать от него и другое.

— Все человеческие отношения,— философствовал он в минуту откровения,— основаны только на выгоде. Любовь и дружба — это слова. Отношения крепки в том случае, если людям выгодно друг к другу хорошо относиться.

А дружба с Маяковским была именно выгодна Бурлюку.

Лишь года два спустя поймет это сам Володя. И тогда уже верно оценит Бурлюка, сказав, как всегда, прямо, без обиняков: «Предприниматель, подрядчик: я работаю, он антрепренер, я пролетарий, а он богач».

С началом первой мировой войны Григорий Котляров, как и многие из училища, был призван в армию. Там и застал его Октябрь.

Пролетели годы. Не довелось Котлярову больше встретиться с Маяковским, но, когда он бывает в Москве, обязательно приходит на площадь его имени.

Огромная многометровая скульптура. Монументально спокойный и в то же время весь — энергия и движение.

Именно таким он запомнился Григорию Филипповичу в жизни. Таким он останется и в памяти поколений.

Григорий Филиппович осторожно извлекает из кармана свернутый в трубочку листок ватмана:

— Вот посмотрите, может, пригодится. Рисовал по памяти...

Ю. КАЗАРОВ.

Это было зимой 1916 года, в предреволюционном Петрограде. В Петрограде, как и во всей России, очень распространены были литературные кружки. В одном из таких кружков участвовал молодой двадцатитрехлетний Маяковский. Он часто выступал на вечерах, на эстраде, в артистических кафе типа «Комедиант» и «Бродячая собака». Об одном из таких выступлений — в Тенишевском училище — я и хочу рассказать.

Вечер был интересен тем, что программа объединяла самые разнородные литературные элементы. Выступили на вечере Маяковский, Куприн, Игорь Северянин, Айхенвальд, профессор Бердяев. В зале присутствовал Максим Горький. Выступление Маяковского разделило зал на два враждующих лагеря. Буйный молодой задор Маяковского вызывал шумное одобрение молодежи, в основном передовой, революционной, но не мог, естественно, нравиться убеленным сединами обывателям, пришедшим послушать мирного Куприна, слащаво-певучего Северянина, интеллигента-упадочника Айхенвальда.

В перерыве молодежь столпилась вокруг Горького — очень важно было узнать его мнение. Подошел к Горькому и Маяковский. Меня поразило полное преображение молодого поэта. Ни следа не осталось от задора и пыла, с которыми несколько минут назад выступал он на сцене. Он стоял, как школьник, вытянув руки по швам, исключительно скромный, и с большим, глубоким напряжением вслушивался в каждое слово Горького. А тот, высокий, сутулящийся, с нависшими усами, оставался спокойным. Правую руку он держал в кармане,

левой перекатывал папиросу из одного угла рта в другой и, по-волжски «окая», отечески упрекал Маяковского за излишний задор, вспыльчивость. Волжское «о» особенно удлинялось, когда Горький говорил о том, как нравятся ему талантливые стихи Маяковского. Это была поразительная картина: буревестник революции учил молодого птенца летать, благословлял его в далекий и славный полет.

В Париже Маяковский был после посещения Америки — в ноябре 1925 года. Ему не удалось получить для своего выступления специального зала, и он выступал в кафе, в рабочем районе Парижа. Ни скромность помещения, ни отдаленность района от центра не помешали собраться огромному количеству народа. Публика восторженно встречала каждое стихотворение Маяковского, провожала его бурной овацией. Поражал он не только своими стихами — их содержанием и мастерством, но и манерой исполнения. Я много слушал исполнителей Маяковского, в том числе таких, как В. И. Качалов. Но никто не достигал силы и выразительности чтения самого автора. Мне вспомнился 1916 год — какая разница! Это уже не дерзкий птенец, не школьник — это был зрелый и мощный гений.

Ф. ВАРСЛАВАН, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР.

В поэтических кружках и студиях Дома искусств все чаще и чаще звучало имя, определявшее новый период литературы. Кто произносил его с недоумением и неприязнью, кто с увлечением и надеждой. Это было имя Владимира Маяковского. Хотя он вырос как поэт в довоенном и военном Петрограде, был введен в его литературную среду А. М. Горьким, Маяковский долго оставался для обитателей Дома искусств невоплощенной легендой. Работа его протекала в Москве. В те времена — и это было, как можем сказать сейчас, совершенно справедливо — Маяковский казался символом молодой советской поэзии, страстным и верным ее пророком. Его «Окна РОСТА», журнальная сатира, острая полемическая лирика и широкие просторы социальных поэм производили впечатление грандиозных архитек-

турных построений, в которых угадывались черты грядущего величественного здания.

Я помню один из ранних приездов Маяковского в Петроград и чтение им еще не напечатанной тогда поэмы «150 000 000». Белый, весь в завитушках рококо, зал Дома искусств был набит до отказа. Уже не хватило приставных стульев. Слушатели плотной толпой стояли в проходах, заполнили все подоконники, сгрудились на ступеньках эстрады. Стенные зеркала многократно увеличивали гудящую, долго не желавшую успокоиться толпу. Кого только не было здесь! И вся литература, и Академия наук, и Эрмитаж, и студенчество. Преобладала, конечно, молодежь, но нередко попадались и седые головы, типичные интеллигентские пенсне и бородки. В передних рядах теснились модные платья и старо-либеральные адвокатские манжеты и манишки. В воздухе чувствовалось нарастание скандала, без которого редко обходились тогдашние выступления Маяковского. Его имя, памятное еще со времен «футуристов» в дореволюционном Петербурге, уже заранее накаляло атмосферу. Оно всегда казалось вызовом общественной благопристойности, нарушением общепринятых литературных вкусов.

Зал разделен был незримой, но резко проведенной чертой. И черта эта определялась «принятием» или «непринятием» нового социального мира. Маяковский отвечал не только за себя. Он говорил, как полпред будущего. Он обращался к тому, кто еще только готовился его услышать. А со старой публикой, наполнявшей зал, у него были старые счеты.

Эстрада долго пустовала. Как хороший актер, Маяковский, прислушиваясь за кулисами к гулу толпы, выжидал точки наивысшего напряжения. Наконец широко и свободно он шагнул на подмостки и, подойдя к самой рампе, остановился в позе боксера, готового к решительному прыжку. Голова его ушла в плечи, стиснутые кулаки явно обозначались в плотно натянутых их тяжестью карманах пиджака. Зал медленно затихал. Наконец его сковало напряженное молчание. Огромное тело Маяковского выпрямилось, как бы отдыхая. В два-три шага он пересек расстояние, отделявшее его от столика, быстро сбросил пиджак и остался в жилете, едва сходившемся на его широко развернутой груди. Потом не-

сколько исподлобья опять окинул зал и вытянул вперед правую руку.

150 000 000 говорят губами моими.
Ротационкой шагов
в булыжном верже площадей
напечатано это издание.

Трудно передать очарование этого неторопливого, отяжеленного выразительной уверенностью голоса. Вначале он мог бы показаться несколько назойливым и однообразным, но, по мере того как развертывались стиховые ритмы, этот голос креп, поднимался, падал, сплетался в узор гибких, увлекающих за собой интонаций. Порою звенел он торжественно и глухо, порою сверкало в нем острие колкой насмешки. Широкое, неудержимое течение речи влекло за собой весь зал. Так идет река после ледохода, налитая до краев, тяжелая, уверенная, спокойная и властная, каждой каплей чувствующая близость необъятного моря.

Маяковский читал, и все яснее и яснее становилось движение этой реки. Нет, то не река, то действительно неповторимая поступь 150 миллионов, неудержимое шествие народа, двинувшегося в далекое кочевье. Какая могущественная сила влечет его? Что перед этой силой наспех воздвигнутые преграды, козни и черные помыслы врагов! Маяковский мимоходом едва удостаивает их презрительной насмешки, он бьет смехом и сарказмом. Так, почти частушкой, почти приплясывая, он рисует облик сверхиндустриальной Америки:

Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.

В его отрывистых слогах слышатся лихая балалайка и удалой посвист. И вновь плясовые ритмы сменяются густой и величественной мелодией нарастающего стихийного гнева. Это уже не голос Маяковского. Это дыхание широкого, неудержимо катящегося многомиллионного прибоя.

Идем!
Идемидем!
Го, го...

Последние слова поэмы слились с ревом и плеском всего зала, взбудораженного до дна.

Маяковский стоит спокойно, как гранитная глыба, почти как памятник. Он глядит куда-то повыше голов, и только по его лбу, покрытому мелкими каплями пота, видно, как он устал и опустошен в эту минуту. Наконец он проводит по виску широкой ладонью и, перекинув на руку пиджак, уходит за кулисы. Ему нет уже дела до того, как беснуется в зале толпа, как рядом с возгласами восторга мешается злобное и ироническое шипение. Он стоит в соседней комнате мрачный, сосредоточенный, и только упругие, узловатые желваки играют под плотно обтянутыми скулами. Его тотчас же обступают восторженные поклонники и поклонницы. Медленно подходят «солидные» фигуры.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал.

— У вас коллективный герой. Он лишен человеческих индивидуальных черт. Он безлик.

— Зато он похож на каждого из нас. И тот, кому нужно, себя в нем узнает.

— Что же это за сила, которую вы так яростно воспеваете?

— Если вы ее не узнали, вам предстоит оставаться глухими всю свою жизнь. Купите себе слуховой рожок!

— Почему в поэзии вы отказываетесь от всяких оттенков и всему предпочитаете грубость?

— Почему вы думаете, что я отказываюсь от оттенков? Вы стоите ко мне слишком близко, и потому они вам не видны. Отступите на полшага. И вообще большая стена требует и большой фрески. Я не хочу кисточкой расписывать вокзалы. Я работаю не для лорнета. А то, что вам кажется грубостью, это сила. Мне нужно перекрывать большие пространства. Мне нужна не скрипка, а труба. Я хочу говорить так, чтобы меня каждый мог услышать.

— Вы хотите сказать, что сейчас не время для оттенков?

— Не время. К старости я и сам буду писать, как Фет. Если хотите, я сейчас могу прочесть вам наизусть о ветре и ласточках.

Так говорил он устало и несколько раздраженно. Друзья увели его от назойливых спрашивателей. Через час я уже видел, как он в бильярдной, в домашней пи-

жаме и стоптанных туфлях, склоняясь всем корпусом над зеленым сукном и крепко захватив углом губ дымящуюся папироску, меланхолически целился кием в одинокий глянцевитый шар.

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

В 1925 году, будучи еще ученицей девятого класса, я услышала «Левый марш» Маяковского в коллективном исполнении артистов Москвы в нашем Драматическом театре. Помню, как глубоко меня и моих товарищей по школе захватил бодрый, маршеобразный ритм этого стихотворения. Каким глубоким оптимизмом, непоколебимой верой в непобедимость нашего строя веяло от этих строк:

Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

А в 1927 году в здании Политехнического музея в Москве мне пришлось увидеть и услышать самого Владимира Маяковского. Зал был переполнен. Хорошо помню, как на сцену вышел высокого роста человек. Непокорная прядь черных волос падала на его высокий лоб. Лицо подвижное, нервное. Раздался неистовый шум: аплодисменты, крики «ура». И вдруг среди этого невообразимого шума прозвучал громовой голос:

— Товарищи, выступает поэт Маяковский. Буду читать отрывки из своей поэмы «Хорошо!».

Зал сразу замер. Владимир Маяковский никогда не пользовался услугами конферансье, он всегда сам был ведущим на своих вечерах. Отсюда возникала тесная связь со слушателями. Маяковский выступал перед слушателями не только как поэт, но и как прекрасный импровизатор-рассказчик. В этот вечер поэт подтрунивал над администрацией, которая боялась, что не будет никаких сборов от вечера, остроумно высмеивал маститых критиков из РАППа, которые хотели прийти... и не пришли. Его критика была меткой, острой.

Отрывки из поэмы «Хорошо!» в исполнении Маяковского запомнились мне на всю жизнь. Поэма «Хорошо!» — это эпопея Октябрьской революции, патриотическая поэма о любви к нашей советской Родине.

Помню, как торжественно, проникновенно звучали у Маяковского строки его стихов:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Н. СОКОЛОВА, научный сотрудник краеведческого музея.

Занавес был раздвинут, и на освещенной сцене стоял маленький стол, рядом стул. Ждали появления Маяковского, который после поездки за границу объезжал крупные города Советского Союза и читал новые стихи. Зрительный зал городского театра Воронежа был переполнен. Здесь много учащихся, красноармейцев. Ведь Маяковский — их любимый поэт. Но пришли и старые интеллигенты, пришли «посмотреть» Маяковского и обыватели, для которых он был ни больше, ни меньше — «литературная аномалия».

Ждали, что Маяковский появится из-за драпировки в центре сцены. Многим, в том числе и мне, он представлялся человеком с «поэтической наружностью», непременно с длинными вьющимися волосами и в какой-то необыкновенной одежде. И вдруг из-за боковой кулисы быстрой походкой вышел совсем обычный высокий человек, стриженный под машинку, в сером легком костюме спортивного покроя. В руке недокуренная папироса. Лицо свежее и загоревшее.

Владимир Владимирович поклонился залу, в ответ раздались аплодисменты. Без всяких предисловий он начал читать стихи о загранице. Никаких пояснений не

требовалось: каждое стихотворение — короткий рассказ поэта о виденном на Западе. С гневом и горечью рассказывал он о бесправии «черных» и об алчности «белых», о страшной судьбе парижских женщин, о всей «прелести» жизни за границей. Но восторженно рассказывал поэт о природе, которую он видел на другом полушарии, об Атлантическом океане, обо всем, что поразило его своей необычностью и новизной.

Маяковский читал стихи на память, не жестикулируя. Эмоциональные строки подчеркивал интонационно своим прекрасным, незабываемым басом. Читал долго, с большим подъемом и, видимо, устал; тогда он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку стула, ослабил узел яркого, пестрого галстука.

Чтение стихов заканчивалось. На столе выросла гора записок. Маяковский стал отвечать на вопросы. Они были разные: серьезные, наивные; были и провокационные. После каждого короткого, но остроумного ответа раздавались аплодисменты и восторженный смех молодежи. Среди вопросов был и такой: «Маяковский, почему ты так плохо одет?» Маяковский сделал изумленное лицо и взялся за лацканы пиджака.

— А собственно говоря, почему плохо? — переспросил поэт.— Костюм, правда, не первосортный, но у меня в Москве есть ха-а-роший черный костюм, а в дорогу, на работу сгодится и этот!

Маяковский не в первый раз упоминал, что он приехал сюда на работу, а не в качестве концертного гастролера. Ходили слухи, что Маяковский беспощаден к поэтам, творчество которых беспредметно, отвлеченно от насущных задач партии и народа. Очевидно, с провокационной целью вызвать его на скандальный спор, была послана записка: «Нравятся ли вам стихи А.?» Маяковский ответил:

— У А. есть хорошие стихи и плохие. Хорошие нравятся, плохие — нет.

Из ложи бенуара раздался визгливый голос:

— Маяковский, ваши стихи неприятно слушать, хочется уйти с вечера!

Поэт пожал плечами:

— О качестве моих стихов мне говорить неудобно, но знаю, что с моих вечеров еще никто не уходил!

В это время раздался шум отодвинутого стула, и в ложе хлопнула дверь.

— Видите, Маяковский, все же уходят! — несется из ложи.

— Но товарищ же не ушел, он убежал от меня! — отпарировал Владимир Владимирович.

Когда на все записки были даны ответы, Маяковский сложил их в пачки и, раскладывая по карманам, сказал, обращаясь к залу:

— Записки читателей очень ценный материал для меня. Выберу время — непременно напишу книгу о них.

К сожалению, поэт так и не осуществил своего замысла.

Вечер окончился... Мы вышли. Оживленно разговаривая, люди группами шли по заснеженной улице. Впереди в сером коротком пальто, надвинув на лоб кепку и потирая рукой уши, широким шагом шел Маяковский. Он возвращался в гостиницу.

В. ОЛЕЙНИКОВ.

Мне посчастливилось дважды присутствовать на выступлениях В. В. Маяковского. Это было в Самаре. По случаю приезда поэта местное литературное общество «Слово» организовало тогда два его творческих вечера.

Как сейчас, помню один из них. Огромный зал переполнен. Только передние два-три ряда оставались незанятыми.

Точно в назначенный час, минута в минуту, на сцену вышел Маяковский. И лицо, и весь его облик показались мне какими-то необыкновенными. Из-под чуть насупленных бровей великана глянули на публику живые, строгие глаза.

Зал дрогнул от рукоплесканий.

Широко шагая, Маяковский шел к рампе. На ходу он снял серый пиджак и повесил его на спинку приготовленного стула.

Подойдя к самому краю сцены, он на некоторое время остановился и, засунув руки в карманы, стоял молча, разглядывая зал, словно изучая аудиторию. Затем, сделав широкий жест правой рукой, попросил:

— Товарищи, проходите ближе!

Не переставая рукоплескать, молодежь двинулась к рампе, занимая передние ряды стульев.

Маяковский сразу же начал свое выступление. Он читал без устали, без отказа. Мощный голос поэта проникал в самые дальние уголки зала, звучал, как набат. Трудно передать восторг, буквально неистовство, с которым принимал переполненный зал каждую новую вещь.

После чтения стихов Маяковский отвечал на письменные и устные вопросы. Его ответы были хлесткие, подчас грубоватые, но всегда меткие, разящие прямо в цель.

Многое стерло время, но воспоминания о встречах с величайшим поэтом советской эпохи навсегда останутся в памяти.

Н. ЖОГОЛЕВ.

Могучая фигура бойца-трибуна, немного суровый взгляд, чеканное слово поэта, агитатора... Тот, кто встречался с Владимиром Маяковским, навсегда сохранил в памяти образ незабываемого человека и великого мастера поэзии.

Украинские рабочие, интеллигенция в годы гражданской войны и восстановления народного хозяйства слышали страстный голос Маяковского, обращенный к Украине. Гремели бои... Враги наседали на молодую Республику Советов, копыта коней белополяков топтали поля Украины, и именно в это время прозвучал могучий призыв поэта: «У русских и украинцев клич один: «Да не будет пан над рабочим господин!»

Много прекрасных страниц жизни Маяковского связаны с рабочим классом Украины. Поэта видели на заводах и фабриках, в аудиториях вузов. «Езжу по городам и читаю»,— писал он. Маяковский выступал в Харькове и Киеве, Одессе и Полтаве, Днепропетровске и Луганске, Сталино и Виннице. Его творчество закалялось, выковывалось в глубинах народной жизни, он всегда чувствовал себя в рабочем строю.

Украина! Маяковский не раз говорил в своих выступлениях, каких гигантов художественного слова и

мысли дала миру Украина. Поэт восхищался революционными подвигами арсенальцев Киева и машиностроителей Харькова, угольщиков Донбасса и металлургов Днепропетровска. Старые рабочие киевских предприятий с любовью вспоминают, как они слушали живой голос поэта, читавшего им свои стихотворения. Бурные аплодисменты раздавались в зале, когда он с увлечением читал, оттачивая пики слов, беспощадно разивших врагов Советской власти, когда он пел гимн партии, народу. Выступления Маяковского на Украине, как вспоминает П. Тычина, многому научили украинских поэтов, в частности замечательному умению «говорить с народом откровенно», умению создавать прекрасное искусство современности.

...Это было в Москве на встрече москвичей с писателями Украины. Вот вышел на трибуну Маяковский и, как всегда громко, начал читать стихотворения. Как же велико было удивление присутствующих, когда поэт перешел на украинский язык и прочитал строки из Павла Тычины:

Вставай, хто серцем кучерявий!
Нова респубiко, гряди!
Хлюпни нам, море, свiжi лави!
О земле, велетнiв роди.

Своим пафосом, революционной энергией лучшие стихотворения Тычины были близки ему, автору «Левого марша». Любовь Маяковского к украинскому народу, его литературе и богатому народному языку проявлялась в теплых отзывах поэта об Украине. Выражая мысли великого русского народа в стихотворении «Долг Украине», он писал об украинском языке:

Разучите
эту мову
на знаменах —
лексиконах алых,—
эта мова
величава и проста...

Встречи Маяковского с украинскими рабочими, с творцами украинской культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию, способствовали дальнейшему укреплению братской дружбы двух народов. Именно за то, что поэт глубоко выражал думы советского народа, что он, «великий рабочий поэзии»

(как называли его киевские рабочие), всегда был в передовых рядах бойцов — строителей социализма, за действенную силу его стихотворений, призывавших «рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в шагу», трудящиеся горячо полюбили поэта-трибуна.

Любовь Маяковского к рабочему классу прошла через все его творчество. Он призывал трудящихся страны в первые годы Советской власти помогать Донбассу: «Дайте хлеб, чтоб шахтеру не было туго, и будет сталь, коль будет уголь». Маяковский пишет о Днепрогэсе, он видит «красное от дыма небо», любуется индустриальными пейзажами республики, всей страны. Вместе со своим героем литейщиком Иваном Козыревым, который вселяется в новую квартиру, восхищается завоеваниями социализма.

Поэт и гражданин, Маяковский и сегодня говорит с нами, как живой с живыми. Его страстное слово бойца, отдавшего народу все «сто томов» своих партийных книжек, служит нержавеющим оружием в борьбе за коммунизм.

М. ЛОГВИНЕНКО.

Это было в Саратове, в январе 1927 года...

Я был тогда студентом Саратовского государственного имени Н. Г. Чернышевского университета. И вот однажды иду на лекции в университет, и на пути во многих местах — афиша с одним словом: «МАЯКОВСКИЙ». Через неделю появилось подробное объявление — программа двух вечеров Владимира Маяковского.

...Я в зале Народного дворца. Зал переполнен. Слушатели: рабочие, студенческая молодежь, профессора, учителя; врачи, юристы, инженеры — все в ожидании.

Медленно открывается занавес. Из-за кулис выходит высокий, широкоплечий Маяковский. Буря аплодисментов. Аудитория стоя приветствует поэта. Стихло. Еще мгновенье — и зал поглощен всеохватывающим голосом поэта:

— Я выступаю здесь с лекцией «Лицо левой литературы» как профессионал, как литератор, поэт Владимир Маяковский!

Маяковский сделал еще шаг в сторону зрителей, подался корпусом вперед, раздвинул в стороны на высоте плеч руки, как бы удерживая надвигающуюся на него лавину, величественно и покоряюще начал:

— Слава, слава, слава героям!!!

Около двух часов неизменно держал он внимание слушателей. Кончил чтение и объявил перерыв. В минуты перерыва находился в фойе зрительного зала. Стоял у голландки, несколько опершись на нее, заложив руки за спину. Мы, студенты, полукольцом стояли в некотором отдалении, никто из нас не решался заговорить с ним — сознавали, что ему после двухчасовой напряженной лекции нужно отдохнуть.

Антракт прошел. Маяковский снова на сцене. Закончив лекцию, отвечал на записки. В них были колкие вопросы и в адрес поэта. Он метко отвечал, остроумно.

Из аудитории слышно:

— Ваши стихи непонятны!

— А кого же понимаете? — спрашивает Маяковский.

— Вот, например, Пушкина всего понимаем,— отвечает тот же голос.

— А-а! Понимаете Пушкина!.. Кто говорит: «Понимаю Пушкина»?!

— Я! — отозвалось из аудитории.

— Лезьте на сцену! — зовет Маяковский.

Неизвестный, лет сорока, «лезет» на сцену. Маяковский «понимающему Пушкина» читает наизусть отрывки из произведений Пушкина. Прочитав первый отрывок, спрашивает:

— Понимаете?

— Нет.

Маяковский читает второй отрывок:

— Понимаете?

— Нет.

Маяковский читает третий, четвертый, пятый отрывки из Пушкина, и каждый раз следует один и тот же ответ: «Нет». И оказалось, «понимающий Пушкина» не понимал Пушкина...

Записки на столике лежали пачками.

— Нет возможности отвечать на все,— сказал Маяковский, собирая записки и засовывая их в карманы.—

Завтра читаю лекцию и стихи о моем путешествии из Испании в Нью-Йорк,— закончил он.

Второй вечер. Билетов также не хватило, как и на первом вечере. Молодежь и пожилые толпились в дверях и у подъезда Народного дворца, чтобы как-нибудь попасть в зал, но нет мест.

В момент, когда я вошел в зал, Маяковский описывал свой путь из Испании в Нью-Йорк:

— Я огибаю Азорские острова и, как это ни странно, мне, никогда не грустящему, впервые в жизни взгрустнулось: я плыву — и Азорские острова плывут... И впервые в жизни я задумался о жизни, о прожитом и написал...

Он продолжил чтением стихотворения, которое заканчивается словами:

Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

По ходу лекции были также прочитаны стихотворения: «Атлантический океан», «Блэк энд уайт» и др.

Маяковский кончает свою речь. Один из слушателей хотел было раньше времени выйти из зала. Маяковский заметил это и полным голосом зовет:

— Э-эй! Синяя блуза! (Выходящий был в синей толстовке.) Я требую порядка!

«Синяя блуза» продолжал шагать. Маяковский с силой:

— Эй! Блуза! Остановись! Замри!

И гражданин в синей толстовке действительно замер в дверях. Ошеломленный, растерянный, скованный на месте, стоя он ждал конца речи. Маяковский закончил ее и, направив взгляд и руку к «синеблузнику», заключил:

— А теперь можете идти!

Велико было впечатление от литературных вечеров Владимира Владимировича Маяковского.

Живой, вдохновенный образ Владимира Маяковского остался в моей памяти навсегда. Я вижу его и слышу его голос агитатора, поэта, оратора.

И. КРИВОШЕЕВ, мордовский поэт.

Шел февраль 1927 года. Тула по вечерам казалась тогда тихой, но на этот раз город словно ожил. По улице Коммунаров к Дому Советов (теперь Дом офицеров) непрерывно подходили туляки, оживленно разговаривая. Из газеты все знали о прибытии в Тулу В. В. Маяковского, а из афиш — о том, что поэт сделает доклад о своей поездке в Америку.

В. В. Маяковский был широко известен. Его стихи часто печатались в центральных газетах и журналах, славили дело Коммунистической партии, бичевали бескультурье, зазнайство, подхалимство, поражали, как каленые стрелы, врагов народа. Естественно, встреча с поэтом ожидалась с нетерпением.

В назначенное время, без всякого официального открытия вечера, без рекомендации, на сцену вышел Маяковский.

Поэта узнали все, стали аплодировать. Он, засунув в карманы руки, пронизывающим взором обвел присутствующих, сказал громко:

— Не успел я приехать в Тулу, не успел чаю с плюшкой выпить, как из местной газеты узнал: буржуазия меня не читает потому, что не переваривает; рабочие не читают потому, что будто не понимают. Что ж, попробую почитать вам. Может, что-нибудь и выйдет.

И стал читать «Атлантический океан».

Ритм стиха, интонация, мощный голос донесли до слушателя грохот океанских волн, размах могучей водной стихии. Публика бурно аплодировала. Маяковский сказал:

— Это стихотворение было напечатано в «Известиях». Кто за то, чтобы подобные стихи печатались в наших газетах,— прошу поднять руку.

Руки поднялись дружно. Потом поэт спросил:

— Кто против?

Поднялась одна рука. Маяковский потребовал, чтобы голосовавший «против» встал. Когда тот поднялся с места, поэт обратился к аудитории:

— Один голос против — дело не страшное. Боюсь только, что этот гражданин — работник газеты. Мало того, что он стихи не будет помещать, но еще свое мнение опубликует в печати и введет в заблуждение всех читателей.

Пристыженный действительно оказался работником одной из тульских газет.

У входных дверей раздался шум. Маяковский громко спросил через весь зал:

— Что такое? Кто там?

— Товарищ Маяковский,— ответил контролер,— ничего не могу поделать. Рабфаковцы без билетов хотят пройти.

Глаза Маяковского заблестели.

— Немедленно пустите!

Гурьба молодежи шумно ворвалась в зал, много студентов появилось и на балконе, они отовсюду кричали:

— Прочтите «Левый марш»!

Маяковский поднял руку, давая знак, что согласен. Аудитория затаила дыхание.

И на весь зал загремел могучий голос поэта-трибуна:

— Разворачивайтесь в марше.

По требованию слушателей Маяковский читал «Левый марш» вторично. Затем читал стихи об Америке: «Бродвей», «Небоскреб в разрезе» и др.

Чтение стихов перемежалось разговором с публикой. Потом Маяковский объявил, что с ним приехал поэт Асеев, который хочет прочитать свои стихи. Аудитория согласилась. Асеев читал «Конную Буденного», «Синие гусары». Затем публикой снова завладел Маяковский. Читал много. Аплодировали ему все больше. Поэт сказал:

— Стихов у меня еще много, но боюсь, не хватит времени на записки ответить.

И он поднял пачку записок.

Беседа длилась долго. Разговор прерывался смехом, аплодисментами. Остроумие поэта было неистощимо. На дельные вопросы Владимир Владимирович отвечал вежливо и обстоятельно. Тех же, кто старался задеть поэта, он буквально сражал своими ответами.

Аудитория долго не хотела отпускать любимого поэта. По просьбе присутствующих он читал еще и еще. Затем снова отвечал на вопросы. Говорил о Горьком, о литературе. Бичуя старое, отжившее, Владимир Владимирович горячо отстаивал все новое, прогрессивное.

М. КОЛЬЧУГИН.

Утром 19 февраля 1927 года на курских улицах были расклеены яркие афиши с меткими, остроумными заголовками, возвещавшие о приезде в Курск Владимира Маяковского. Сами афиши эти не оставляли людей равнодушными. Тут же, у афиш, возникали споры, обмен мнениями.

Рабочих, учащуюся молодежь, знавшую и любившую Маяковского, радовала возможность увидеть знаменитого поэта, услышать стихи в исполнении автора. Но были и такие, кому творчество поэта-агитатора было чуждо. Эти собирались прийти на литературный вечер, чтобы задать каверзные вопросы, учинить скандал. Они постарались использовать в своих грязных целях и печать. Рассматривая творчество Маяковского с резко враждебных, рапповских позиций, авторы некоторых статей пытались отрицать значение Маяковского как пролетарского поэта, поэта революции, облыжно заявляя, что он «вдохновитель русского футуризма».

Много и горячо спорили в те дни в Курске о творчестве Маяковского. Все понимали, что предстоящий вечер будет необычным, что в зале не будет пассивных слушателей, что предстоит жестокая схватка нового со старым, выходящая далеко за пределы споров об искусстве. Было ясно, что многочисленные враги Маяковского — мещане, обыватели, сынки лабазников, торгаши, люди вчерашнего дня — не упустят случая попытаться сорвать вечер поэта революции.

Задолго до начала концерта большой зал рабочего дворца был переполнен. Во всем чувствовалась особая приподнятость, все возбуждены в ожидании чего-то очень интересного, значительного.

Наконец открылся занавес, и на сцену вышел Маяковский — высокий, широкоплечий. Взрывом аплодисментов приветствовали его рабочие, служащие, передовая интеллигенция, учащиеся.

Но вдруг послышался свист — небольшая группка врагов поэта устроила ему «встречу». На них закричали, зашикали. А Маяковский стоял с высоко поднятой головой, широко расставив ноги, глубоко засунув руки в карманы — такой большой, сильный, спокойный! И как жалки и ничтожны показались те, кто пытался освистать поэта.

Маяковский подошел ближе к рампе и просто сказал своим мощным голосом:

— Здравствуйте!

Начало выступления было необычным для литературного концерта. Поэт рассказывал о социалистическом строительстве, об огромных достижениях, которые он видел в Москве и других городах. Ярый враг застоя и тишины, Маяковский выступил против мещанской затхлости, которая тогда еще сильно давала себя знать в Курске.

Но он видел и главное — новый, советский Курск: бодрую, пытливую молодежь, рабочих и работниц, совершающих трудовые подвиги, молодых способных поэтов.

На вечере Маяковский выступил с докладом-беседой «Лицо левой литературы».

— Левая литература — литература революционная по мысли и высококачественная по форме,— говорил поэт.

Он рассказывал о задачах советской литературы, об огромной ответственности писателя перед страной, перед народом. Он говорил, что писатель должен смотреть на свой труд как на дело большой государственной важности. Резко обрушивался Маяковский на поэтов, которые производят литературный брак. На ярких примерах он показывал, что небрежное отношение к форме уродует стих, зачастую искажает его политический смысл.

Говоря о недостатках молодой советской литературы, Маяковский отмечал и успехи пролетарских поэтов. Безукоризненным произведением назвал он, например, «Гренаду» Светлова.

— Борьба за квалификацию литературы,— говорил он в заключение,— борьба за ее существование и существование поэта.

Слушатели узнали из доклада о важнейших вопросах развития советской поэзии тех лет, о творчестве самого Маяковского.

Метко, остроумно отвечал Маяковский на враждебные вопросы, замечания его противников. Во время доклада какая-то дама демонстративно встала и направилась к выходу.

— Что это за из ряда вон выходящая личность? —

гремит вслед ей насмешливый бас Маяковского. И, подождав, пока в зале стихнет смех, он спокойно продолжает развивать свою мысль.

Вот на сцену выбежал молодой человек. Взъерошив волосы, он принимает воинственную позу и начинает:

— Из вашего доклада мы ничего не поняли, читайте уж лучше стихи, хотя у меня от них руки и ноги отнялись.

Маяковский обмеривает его взглядом.

— Молодой человек со взором горящим, не удивительно, что вы ничего не поняли, вы — недоучка!

Хохот в зале, и сконфуженный «оратор» поспешно водворяется на свое место.

— Правильно, Маяковский, так его! — раздаются возгласы.

Второе отделение. Маяковский читает свои стихи. Многие, кто слышал его, до сих пор вспоминают это удивительное чтение, своеобразную дикцию, замечательное мастерство поэта.

Он читал отрывки из поэмы «В. И. Ленин» и стихотворения «Сергею Есенину», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение...», которое он при чтении назвал «Поэт и солнце», и др. Со своими стихами выступил тогда также поэт Николай Асеев.

Чтение перемежалось ответами на записки. Куряне спрашивали Маяковского о его творчестве, о дальнейших планах, о поездках за границу, о его отношении к Есенину, Демьяну Бедному, Жарову, Безыменскому и к другим поэтам. В некоторых записках содержались приглашения еще приехать в Курск, выступить специально перед рабочими и т. д. «Рад Вашему приезду. Прочтите «Версаль» и «Обращение к Пушкину»,— говорилось в одной из записок.

Стихи принимались слушателями так горячо, что даже лица, настроенные враждебно к Маяковскому, вынуждены были признать, что об их «недоступности широким массам» говорить не приходится.

На следующий вечер состоялось второе выступление поэта, названное «Идем путешествовать!».

На этот раз народу было меньше, но вечер прошел

теплее. Недруги Маяковского, осмеянные им накануне, не рискнули прийти вторично.

Маяковский рассказывал о своей поездке за границу. Поэт говорил, что он путешествует, чтобы глазами советского человека взглянуть на жизнь в капиталистических странах. Всюду, где он бывал,— в Германии, Франции, США, Испании, Гаванне — он видел социальное угнетение, классовое неравенство, расовую дискриминацию. Прерывая доклад, поэт читал стихи «Испания», «Версаль», «Шесть монахинь», «Негр Вилли» (так назвал он стихотворение «Блек энд уайт»), «Барышня и Вульворт», «Прощание».

В тот вечер Маяковский много читал, сообразуясь не столько с афишей, сколько с желаниями публики, которая просила «Левый марш», отрывки из «Облака в штанах», «Сергею Есенину», «Юбилейное».

Особенный интерес вызвала прочитанная Маяковским поэма «Рабочим Курска, добывшим первую руду». Это произведение было написано в конце 1923 года, когда наша страна только еще переходила на рельсы мирного строительства. Партия и правительство заинтересовались Курской магнитной аномалией. В ответ на сообщение печати о первых исследованиях в КМА Маяковский и написал свою поэму, прославляющую подлинных героев истории — рабочих и работниц, трудом которых создаются материальные ценности.

Маяковский показывает, как изменится лицо страны, когда она получит миллионы тонн железной руды. Будущее — в технике, в реконструкции всей страны, в тысячах станков, автомобилей, паровозов, тракторов. Под мудрым воздействием человека изменится даже природа:

Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,
шла плотвою флотов
речка Ту́скарь:
курс на Курск...

Поэма Маяковского — пламенный гимн в честь простого советского человека — труженика, героя наших дней. Только человек творческого самоотверженного труда достоин настоящей славы:

Двери в славу —
двери узкие,
но, как бы ни были они узки,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске
добывал железные куски.

Гром аплодисментов наполнил зал: рабочие благодарили Маяковского за «курскую» поэму.

Многие из курян, видевшие Маяковского, хранят память о нем в своем сердце. Мы гордимся тем, что Маяковский был и в нашем городе, что рабочим Курска он посвятил свою поэму, что голос великого поэта революции звучал и под курским небом, что по улицам нашего древнего города ходил Владимир Маяковский — большой человек и поэт.

Т. ИГОРЕВА.

В конце марта 1927 года приятель-рабфаковец сказал мне:

— Хочешь послушать Маяковского?

— Еще бы! — обрадовался я.

Мы отправились во 2-й Московский государственный университет, на Девичье поле. Как говорилось в афише, там должен состояться литературный диспут. В числе участников были названы писатели Пантелеймон Романов, Сергей Малашкин, критик Вячеслав Полонский, литературовед В. М. Фриче и поэт Владимир Маяковский.

Тема этого диспута — об упадочничестве — сейчас кажется и странной и непонятной. Но тогда еще был нэп, и упадочнические настроения среди некоторой, наименее устойчивой части молодежи действительно имели место. В некоторых своих произведениях Пантелеймон Романов и Сергей Малашкин отразили эти настроения, сгустив краски.

Большая аудитория, где парты, как места в цирке, лесенкой и полукругом поднимались вверх, была битком набита студентами. Писатели П. Романов, С. Малашкин и литературовед В. Фриче по каким-то причинам не приехали. Внизу за широким столом сидели журналист Михаил Левидов, двое незнакомых нам лиц

и Владимир Маяковский, на которого были устремлены взоры всех.

Критик В. Полонский, стоя за кафедрой, читал доклад. Мы зорко следили за мимикой, за каждым жестом и движением Маяковского. Он был острижен наголо, под машинку, одет в светло-серый костюм. Лицо энергичное и приятное. На нем появлялось то суровое, то скучное выражение. Слушая доклад, поэт несколько раз позевывал.

— Смотри, позевывает, как лев,— шепнул мне товарищ.

Кончился доклад, вопросов к докладчику не оказалось, и Маяковский попросил слово.

Он встал из-за стола и шагнул к кафедре — высокий, широкоплечий, весь собранный и подтянутый. Зорко окинул взглядом аудиторию. Все притихли.

— Товарищи! — раздался громовой бас поэта. Он сделал паузу.— Некоторые «моралисты» относят к упадочничеству то, что к нему не относится, раздувают его. (Пауза.) Например. Зашел человек в пивную, выпил кружку пива — ничего. Выпил другую — тоже ничего. Выпил третью — упадочник!

Маяковский правой рукой быстро согнул мизинец на левой руке, как бы что-то отсчитывая, и продолжал:

— Полюбил человек одну — ничего. Полюбил другую — тоже ничего. Полюбил третью — упадочник! (Здесь он согнул еще один палец.)

Маяковский серьезно и остроумно раскритиковал некоторые положения доклада, сделал несколько иронических замечаний. Потом сказал:

— Я вам, товарищи, прочитаю свое стихотворение, которое пока нигде не напечатано.

Он прочитал стихотворение «За что боролись», которое потом, 27 марта 1927 года, было помещено в «Комсомольской правде».

Слух идет
              бессмысленен и гадок,
трется в уши
              и сердце ёжит.
Говорят,
              что воли упадок
у нашей
              у молодежи.

Как Маяковский читал — передать трудно. Много раз потом слышали мы мастеров художественного слова, читавших стихи Маяковского. Отлично они читают. Но таких точных интонаций, как у самого автора, мы у них не находили. В голосе Маяковского слышались то большая дружеская боль, то негодование, то укор, то товарищеское наставление.

Н. СУИЛИН.

Впервые я увидел Маяковского в белорусском городе Витебске в марте 1927 года. Молодежь города сильно была взбудоражена приездом любимого поэта, и областной Драматический театр не смог вместить всех желающих встретиться с ним. В числе счастливых, получивших пригласительный билет, оказался и я. На всю жизнь запомнилась картина при входе в тесное фойе театра: справа в углу, под лестничной клеткой, согнувшись, за столиком сидел большой и оживленный Владимир Маяковский. Он сам продавал брошюры со своими стихами и еле успевал ставить на них автографы. Долгое время берег и я заветную книжку с надписью Маяковского и только в войну потерял ее.

Партер, все ярусы и балконы театра были заполнены шумливой молодежью — рабочей, студенческой, красноармейской,— перед которой всегда с удовольствием выступал поэт. Все стихло, как только на сцене появился Маяковский. Через толщу десятилетий трудно вспомнить все, что тогда читал нам Владимир Владимирович. Но помню, он читал стихи, посвященные знаменательному тогда событию — подготовке страны к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Я нахожу их в одном из томов полного собрания сочинений — «Наше новогодие». Такими знакомыми и современными кажутся строки:

Наших дней
значенью
и смыслу
подвести итоги пора.
Серых дней
обыдённые числа,
на десятый
стройтесь
парад!

Скоро
всем
нам
счет предъявят:
дни свои
ерундой не мельча,
кто
и как
в обыдённой яви
воплотил
слова Ильича?

Читал Маяковский по-своему, по-особому, совсем отлично от других поэтов. Он не просто читал,— он действовал, или, как любил выражаться, «работал». Его голос, интонация, выражение лица, жестикуляция, движения — все было теснейше связано, гармонировало с идеей и содержанием рассказываемого, как бы подчеркивало и выпячивало главные мысли. И это захватывало и вело слушателей, сливало их и поэта в единый коллектив единомышленников. Без такой «работы» на сцене и такого слияния с массами слушателей невозможно представить себе Владимира Владимировича Маяковского.

После чтения стихотворений начиналось не менее, а то и самое интересное — ответы на вопросы. Стол президиума был завален записками. Все, даже те, кто никогда ранее не видел Маяковского, знали, как остроумно умел отвечать он на вопросы и реплики своих слушателей, как охотно шел всегда навстречу желающим поговорить и поспорить с ним. И на этот раз, беря со стола записки, Маяковский дружески подхватывал все, что было в них здорового, патриотического, и беспощадно разил злые мещанские подковырки. Эта часть вечера имела свое особое, самостоятельное значение.

С пребыванием Маяковского в Витебске связано одно из его стихотворений. Прогуливаясь по городу, он увидел вывеску: «Раки и пиво завода имени Бебеля». Старшее поколение советских людей помнит, что Август Бебель в свое время был виднейшим деятелем германского и международного рабочего движения, является автором известного марксистского труда «Женщина и социализм». Маяковского задело неумное сочетание имени Бебеля с... пивом и раками. В стихо-

творении «Пиво и социализм» он едко высмеял поклонников «зеленого змия» и

...привычку
(глупая привычка!) —
приплетать
ко всему
фамилию вождя.

Второй раз я видел и слушал Маяковского в Москве. Тогда, в расцвете творческих сил, поэт часто выступал на литературных вечерах и диспутах в самых различных аудиториях. Одно из таких выступлений состоялось в январе 1929 года в Доме печати (Доме журналиста). Я в то время учился в Москве и попал на этот вечер. В небольшом зале собралось полторы-две сотни человек. На эстраде — Владимир Маяковский. Поэт читал нам свою незадолго до того написанную комедию «Клоп». Маяковский называл пьесы орудием нашей борьбы. «Клоп» была ярко публицистическая, проблемная пьеса, беспощадно и остро разоблачавшая пережитки капитализма, мещанство и бюрократизм, угодничество и подхалимство.

Стоя во весь свой огромный рост, иногда прохаживаясь по сцене, Владимир Владимирович читал, меняя интонации, жестикулировал. Он словно жил и боролся на сцене, как жил и боролся во всей своей недолгой жизни. И картина за картиной, образ за образом возникали, строились, развивались перед нами, воздействовали на нас, его слушателей. Вот тогда по-настоящему близко увидел я его, молодого и мужественного, такого простого, доступного и в то же время строгого и всегда мобилизованного для борьбы поэта-революционера, поэта-бойца.

Г. УСАТЕНКО.

Летом 1927 года в городе Владимире появилось скромное объявление о встрече В. В. Маяковского с читателями. Более двадцати двух лет прошло с того времени, но я и сейчас ясно помню, какой огромный интерес, особенно среди молодежи, вызвало это сообщение. О предстоящей встрече говорили в библиотеках, на комсомольских собраниях, в техникумах и школах,

к ней готовились как к огромному событию в культурной жизни города.

В день приезда Владимира Владимировича зал гарнизонного клуба был переполнен желающими увидеть и послушать Маяковского.

Через долгие годы пронес я в памяти эту, на всю жизнь запомнившуюся картину. Одетый в простой темно-серый костюм, Владимир Владимирович неторопливо прошел до середины возвышения, легким движением руки отодвинул в сторону тяжелую трибуну, снял пиджак, повесил его на спинку стула и с улыбкой взглянул на нас. Читал он не с трибуны, а во весь рост стоя перед зрителями.

Атлетического телосложения, с красиво и гордо посаженной головой, с шапкой черных волос, пряди которых падали на бледный лоб, Маяковский был красив. Но больше всего запоминались и притягивали к себе его глаза, темневшие при раздражении и сверкавшие задорными искорками, когда он высмеивал кого-нибудь.

Зал напряженно молчал. Надо признаться, что в то время еще многие из нас не совсем понимали, зачем Маяковский

себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне,

какие страсти обуревали этого гиганта литературы, что нового он нес с собой в поэзию.

Читая стихи, он отвечал на вопросы, которые задавали ему из зала, просматривал передаваемые записки, едкой фразой обезоружил какого-то старичка, попытавшегося сказать речь о том, будто Маяковский нарушает правила стихосложения.

Вся молодежь, присутствовавшая на вечере, жадно ловила каждое слово поэта, бурно рукоплескала и требовала повторять стихи по нескольку раз. Хотелось вскочить с места и, протянув ему руку, горячо поблагодарить за все то, что силой своего таланта он пробуждал в наших сердцах.

С огромным воодушевлением Владимир Владимирович читал «Левый марш»:

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

И каждая фраза этого замечательного произведения «весомо, грубо, зримо» откладывалась в нашем сознании, вызывала желание смести с пути все, что мешало нашей Родине победно двигаться вперед.

А Маяковский уже переходил к «Необычайному приключению...». Казалось, только такому человеку доступно разговаривать с солнцем, как равному с равным.

И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами.»

Помню, у Маяковского появилась в руках бумажка. Он прочел ее, недоуменно пожал плечами и, обращаясь к слушателям, сказал:

— Спрашивают, почему я пишу для Моссельпрома. Да кто вам сказал, что я пишу для него? Я для вас пишу. Разве вы не хотите, чтобы советская промышленность и торговля развивались? Ну, кто не хочет?

Мы в один голос закричали, что среди нас таких нет.

— Вот то-то же,— продолжал Владимир Владимирович.— Я тоже хочу, чтобы они быстрее развивались,

поэтому и пишу, как могу, подталкиваю это развитие, а кому не нравится — не читайте. Ищите другое.

Гром аплодисментов был ответом на эти слова поэта.

Пожалуй, ни один самый интересный концерт мы не оставляли с таким сожалением, как вечер встречи с Владимиром Владимировичем Маяковским. Долго еще на улице, возле клуба, стояла толпа молодежи и обсуждала выступление поэта, его стихи и остроты. Кажется, у всех было тогда одно желание: пойти в книжный магазин, купить сочинения Маяковского и читать, читать. Уверен, что большинство участников встречи на другой же день выполнило это и, читая произведения Владимира Владимировича, все больше убеждалось в силе его таланта, в той беззаветной любви, которую питал этот человек к своей великой социалистической Родине.

А. МОЧКИН.

Маяковский приехал в Свердловск в конце января 1928 года. В городе тогда еще только закладывали фундаменты новых заводов, строили первые многоэтажные дома. Старый, уездный Екатеринбург уступал место «новорожденному городу Свердлова».

Как и всегда в своих поездках по стране, Маяковский встречался в Свердловске с множеством советских людей. Первой была его встреча с рабкорами, журналистами и писателями в клубе рабкоров редакции «Уральский рабочий», который помещался в те дни по улице Вайнера, в доме № 12 (на втором этаже здания, в котором располагается ресторан «Русская кухня»).

Маяковский читал свои новые стихи, беседовал с рабкорами и поэтами о поэзии, охотно рассказывал им о своих творческих планах и замыслах. Он призывал их активнее сотрудничать в газете, ярче, правдивее писать о замечательных достижениях нашей жизни, остро, гневно бичевать непорядки. Долго и подробно рассказывал поэт о своей работе в газетах «Известия» и «Комсомольская правда».

Помнится, кто-то на этой встрече упрекнул поэта в том, что он слишком много пишет стихов по заказам редакций и что это, дескать, не делает ему чести

как поэту. Маяковский с гневом отверг это обвинение.

— То, что мне велят писать,— это хорошо. Очень хорошо, товарищи! И я хочу так, чтобы мне больше велели. Это самое трудное, но и самое важное для поэта: писать о наших сегодняшних буднях, исправить все негодное, что мешает нам с вами строить новое...

На этом вечере в клубе рабкоров присутствовала старая журналистка В. Окончив в дореволюционное время гимназию, она была воспитана на старой, «классической» поэзии, произведениях Гумилева, Северянина и других представителей «чистого искусства». Она откровенно выступила против поэзии Маяковского.

— Немузыкально, грубо, очень грубо звучат ваши стихи,— извиняющимся тоном, нежным голоском говорила бывшая гимназистка.

— Да, грубо, но зато зримо, а главное — то, что нужно сегодня, сейчас. А вот насчет того, что немузыкально,— не согласен.— И в подтверждение Маяковский прочитал несколько отрывков из поэмы «Хорошо!».— Разве это немузыкально? — спрашивал он.— А то, что я пишу не о цветочках и закатах над речкой, а о жизни будничной, считаю правильным. Вот у вас в городе водопровод и канализацию строят, все улицы изрыты траншеями. Вздумай я, например, написать об этом — опять, скажете, грубо? А ведь город двести лет жил без канализации. А теперь будет водопровод и канализация. Хорошо! Очень хорошо, хотя и грубо — поэзия и канализация.

Любительница «чистой» поэзии была посрамлена.

Несколько выступлений В. Маяковский устроил платных, как он сам говорил: «Для всех желающих, для широкой публики». Проходили они в Деловом клубе (сейчас здание филармонии).

Маяковский, как известно, был большим другом молодежи. И когда студенты Свердловского горного института попросили его выступить у них, он охотно согласился. Автору этих строк посчастливилось сопровождать Маяковского на этот литературный вечер. Зимним тихим вечером мы шли по улице Вайнера. Тротуары с обеих сторон были завалены землей, вынутой из глубоких канав, вырытых для прокладки водопроводных труб. Пришлось идти по середине улицы.

Огромный жилой дом, где теперь в нижнем этаже помещается магазин «Гастроном», стоял в лесах, ярко освещенных электричеством: строители работали и ночью. Высоко над лесами в свете прожекторов полыхал «как будто ожог», «временам на память — в свердловском небе красный флажок». Владимир Владимирович остановился, залюбовался этой прекрасной картиной созидания.

Идем дальше. Улица Вайнера слабо освещена, темно. На перекрестке улицы Малышева, пробираясь через груды земли, Маяковский чертыхался и восхищенно говорил:

— Черт знает, что творится! Кругом траншеи, леса — не город, а сплошная строительная площадка.

...Актовый зал Горного института набит до отказа, не вмещает всех желающих послушать выступление поэта, люди стоят в дверях, в коридоре. Маяковский пытается пробраться в зал через одну дверь — невозможно: студенты стоят плотной стеной. Идет в другую — такая же картина.

— Да пропустите же, ребята! Я — Маяковский. Не пропустите, и вечер не состоится,— шутит он.

Стихает в зале боевая комсомольская песня, слышатся шутки, смех. И вот на небольшую сцену выходит Маяковский. Наступает тишина. Он стоит и усталым, но твердым взором изучает аудиторию, прищурив свои умные глаза. Он как бы снова разыскивает своих постоянных противников. Но их здесь нет, собрались его друзья. Внезапно от легкой улыбки усталое лицо его стало светлым, сердечным. Задорно, по-мальчишески откинув гладко остриженную голову назад, Маяковский вдруг сделал решительный шаг по сцене и застыл, широко расставив ноги, словно капитан на капитанском мостике корабля. Чувствовалось, что он налился огромной внутренней силой. Выражение его рта подчеркнулось до резкости благодаря своеобразному жесту, каким он решительно поднял руку. Маяковский чуть покачался на высоких ногах, затем отвел руку за спину, и углы его губ нервно дернулись книзу.

— Читаю «Хорошо!» — громко объявил он.

Студенты после чтения шумно приветствуют своего любимого поэта, как всегда, ему задавали множество

вопросов, на сцену летели записки. Остроумные ответы Маяковского вызывали дружный смех, настраивали аудиторию на теплый, дружеский лад.

Зажав большую пачку записок в руке, Маяковский шутил:

— А на эти вопросы сейчас сразу дать ответ не смогу, надо подумать. Приходите за ответом через сто лет...

Зал снова разражается смехом, гремят аплодисменты.

Возвращаясь с вечера в гостиницу, усталый и довольный, с тяжелой тростью, повешенной на руку, Владимир Владимирович крепко пожал мне руку, сказал:

— Пройдусь еще по улицам... Хочется написать о Свердловске.

Кто знает, может, именно в эту ночь и родилась у поэта тема широко известного нам теперь стихотворения: «Екатеринбург — Свердловск».

Пребывание в Свердловске также дало тему для другого широко известного патриотического стихотворения — «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру».

И наконец, третье, весьма интересное стихотворение об Урале — «Император» Маяковский написал о всенародном суде над последним царем-самодержцем Николаем Романовым.

И. ЕГАРМИН.

К десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции Вл. Маяковский написал поэму «Хорошо!» — одно из лучших произведений советской литературы. Он выступал с чтением ее на многочисленных собраниях студентов, интеллигенции и рабочих Москвы и Ленинграда, совершил длительную поездку по городам Украины, Северного Кавказа и Закавказья. 21 января 1928 года поэт выехал с чтением ее по маршруту Казань, Свердловск, Пермь, Вятка.

Маяковский имел письмо наркома просвещения А. В. Луначарского: «Поэт Владимир Владимирович Маяковский направляется в города СССР с чтением своей октябрьской поэмы «Хорошо!». Считая эту поэму

имеющей большое художественное значение, прошу оказывать тов. Маяковскому полное содействие в устройстве его публичных выступлений».

2 февраля 1928 года Маяковский приехал в Вятку. Когда поезд подошел к перрону вятского вокзала, Маяковский посмотрел в окно вагона и с удивлением сказал:

— С нами, наверное, едет власть. Смотрите — бегут к вагону встречать.

Большая группа школьников, с учителями во главе, направилась к вагону, в котором ехал Маяковский. Школьники передали поэту приветствие от учащихся вятских школ. Поэт был очень тронут таким вниманием, ласково поговорил с ребятами и пригласил их в театр на свой вечер.

С вокзала Маяковский проехал в гостиницу. Здесь его тоже ожидала встреча с группой студентов пединститута и молодых рабочих-литкружковцев.

Первое выступление Маяковского в Вятке состоялось 2 февраля 1928 года в городском театре.

По городу были развешаны афиши:

ВЯТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТР
ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЭТА СОВРЕМЕННОСТИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
МАЯКОВСКОГО

1-е отделение. Поэт прочтет лекцию-доклад на темы: современная поэзия; как я работаю над стихом; мое отношение к Пушкину, Есенину; мои впечатления о загранице и т. д.

2-е отделение. Поэт прочтет свои произведения и ответит на вопросы слушателей.

Театр был переполнен. Маяковского знали, о нем много говорили.

С большим волнением ожидали зрители встречи с Маяковским. Вот на сцене появился высокий, широкоплечий мужчина в темно-сером костюме, подстриженный под бобрик. Он прошел на авансцену, все время сохраняя обе руки глубоко погруженными в карманах, остановился у рампы, сделал широкий, размашистый жест правой рукой и громовым голосом красивого, бархатного тембра произнес:

— Владимир Маяковский.

В зале раздались дружные аплодисменты.

В своем докладе-лекции, занявшем все первое отделение вечера, Маяковский говорил о поэзии тех дней, о поэтах-современниках Каменском, Уткине, Жарове, Бедном...

— Поэт — это не певец, воспевающий красивые вещи. Красивое и так красиво. Поэзия — это оружие борьбы, и неплохое оружие.

Говорил он также о своем отношении к классикам, о том, как упорно он работает над своими произведениями. Постепенно Маяковский подчинил себе всю аудиторию.

Во время антракта поэт вышел в фойе и остановился у книжного киоска, где продавались книги его стихов. Маяковского сразу же окружила огромная толпа почитателей, и каждый просил автограф на книжке его стихов. Маяковский достал из кармана вечное перо и весь антракт писал автографы; все книги в киоске были раскуплены.

Второе отделение вечера было посвящено чтению собственных произведений Маяковского. Маяковский читал много: «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Юбилейное», «Сергею Есенину» и многие другие стихи. Перед чтением отрывка из поэмы «Хорошо!» Маяковский сделал небольшое вступление, в котором передал содержание всей поэмы. И когда прозвучали прекрасные строки октябрьской поэмы, зал загремел от восторга.

Выступление Маяковского, как и всегда, сопровождалось большим количеством вопросов. Враждебно настроенные к поэту элементы пользовались случаем задать ему ядовитые вопросы, на которые Маяковский отвечал быстро и убийственно метко.

Заканчивая свое первое выступление в Вятке, Маяковский провел оригинальное голосование:

— Кто придет, если я завтра буду выступать вторично?.. А кто не придет?

Сидящий в первых рядах партера какой-то мужчина один поднял руку.

— Смотрите на этого из ряда вон выходящего субъекта,— обратил внимание всех зрителей Маяковский.

И действительно, «субъект», толстый и красный, под смех присутствующих, вышел из зала.

На следующий день Маяковский, тепло встреченный, выступал на происходившем тогда 12-м общегубернском съезде профсоюзов в помещении Дворца труда.

Вечером Маяковский выступал в клубном зале педагогического института. Здесь присутствовали не только студенты и преподаватели института и рабфака, но и много городской публики. Вечер имел исключительный успех. Молодежь горячо аплодировала своему поэту.

Уезжая из Вятки, Маяковский сказал:

— Такой небольшой город, а сколько удовольствия!

С. ШИШКИН.

Мне посчастливилось видеть и слышать Маяковского в 1928 году. Тогда я была студенткой, а работала на заводе.

И вот объявили, что в два часа дня Маяковский выступит перед рабочими и прочтет свою пьесу «Клоп». Зал битком набит.

Вышел на сцену большого роста человек, красивый, с громовым голосом, и стал вдохновенно читать свое произведение. Через минут пятнадцать Маяковский прервал чтение, снял пиджак и повесил его на спинку стула. По залу прокатился шумок.

Маяковский, обращаясь к аудитории, заявил:

— В чем дело? Мне жарко стало, ведь я на своем производстве, а вы, если жарко, разве не снимаете верхнюю одежду?

После того как поэт окончил чтение, задали ему уйму вопросов. Один вопрос, который мне запомнился, был таким:

— Скажите, Владимир Владимирович, кто выше, вы или Демьян Бедный?

Маяковский, со свойственным ему юмором, ответил:

— По росту я, а по ширине Демьян Бедный...

Долго аплодировали рабочие его находчивым и остроумным ответам.

Таким неповторимым, обаятельным остался Маяковский в моей памяти.

В. МАЙОРОВА.

1929 год. Москва. Политехнический музей. Диспут о культурной революции. Докладчик — А. В. Луначарский. Десятка полтора крупнейших поэтов и писателей — участники диспута. В их числе — Маяковский. Раз участвует Маяковский — значит, диспут будет горячий, живой и страстный. Билет достать трудно.

Задолго до начала диспута аудитория Политехнического музея полна. Наконец, с опозданием на сорок минут, начинается доклад Луначарского. В президиуме маститые литераторы. Маяковского среди них нет. Плавно льется речь докладчика. Тишина. И вдруг пронесся вихрь аплодисментов и приветствий, головы повернулись налево. Анатолий Васильевич Луначарский на полуслове оборвал свою речь, растерянно огляделся, ища глазами причину столь бурного нарушения тишины...

Из маленькой двери на сцену еле выбрался саженный Маяковский, смущенно заулыбался, замахал руками, призывая аудиторию к порядку, приложил руку к сердцу и извинительно поклонился Луначарскому, как бы говоря, что он никак не виноват в случившемся.

Аплодисменты не смолкали. Совершенно сконфузившийся Маяковский укоризненно покачал головой, показав руками в сторону докладчика, и, наконец, сел на самый задний стул, пытаясь скрыть свою голову за спинкой впереди стоящего стула.

А докладчик? А докладчик стоял, улыбаясь, у трибуны и хлопал вместе с аудиторией...

Как-то на вечере в Политехническом музее Маяковский сказал, что он сейчас упорно и настойчиво одолевает Маркса. Во второй части вечера, в прениях, взял слово заведующий Гослитиздатом и крикливым, менторским голоском, считая себя, видимо, сверху донизу марксистом, начал поучать Маяковского.

— Наконец-то Маяковский за ум взялся...

Что он хотел сказать дальше — осталось неизвестным, так как потерявший терпение Маяковский прервал оратора фразой:

— Я за свой ум взялся,— интересно, за чей вы возьметесь?!!

В начале марта 1930 года мне было поручено организовать вечер Маяковского для пионеров и школьников Москвы. Где организовать? Как организовать? Пошел в Радиотеатр хлопотать об аудитории. Обещали. Тогда иду в Клуб писателей, где в это время была выставка «20 лет работы» Маяковского, чтобы спросить мнение самого поэта.

Он разгуливает по комнатам, держа в одной руке стакан крепкого чая, а в другой папиросу. Делает одну или две затяжки и запивает чаем. Подхожу к нему и излагаю свою просьбу.

Выслушав внимательно, он спросил, где собираемся устроить вечер. Отвечаю, что предполагаем в Радиотеатре. Он просветлел:

— Люблю Радиотеатр. Прекрасная аудитория. А главное — слушают тысячи.

Затем Владимир Владимирович начал спрашивать о дне, на который намечается вечер, о примерной программе вечера, кто будет докладчиком и т. д.

Я ответил, что лучшего докладчика, чем он сам, не найти. Тогда он сказал, что у нас на вечере будет слишком однообразное меню:

— Я — на первое, я — на второе и я — на третье.

Дальше я начал довольно сбивчиво говорить о том, что так как вечер для пионеров и школьников, то билеты должны быть дешевыми и т. д. Маяковский сразу понял и перебил меня:

— Цены на билеты устанавливайте самые дешевые, чтобы только хватило заплатить за помещение.

Дальше он просил предупредить его заранее о дне вечера и напоследок, почти нежно, сказал:

— Нужно будет помочь — помогу. Звоните, заходите! — и протянул руку.

После этого я ушел с сердцем, наполненным любовью к этому ласковому и отзывчивому человеку. Но вечеру не суждено было состояться: через несколько дней Маяковского не стало.

Мне посчастливилось четыре раза слышать, как Маяковский читал, незадолго до смерти, свое последнее произведение — «Во весь голос». Этих выступлений мне не забыть. Слушаешь и чувствуешь, что находишься в безраздельной власти большого человека с огромным

сердцем. До сих пор я вижу Маяковского, стоящего на краю сцены, высоко выбросившего руку и читающего свое обращение к потомкам:

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди,—
пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Р. ТЕРСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Маяковская Александра Алексеевна — мать поэта. Воспоминания ее впервые опубликованы в 1953 году Детгизом — А. А. Маяковская «Детство и юность Владимира Маяковского». Текст, помещенный в настоящем сборнике, сверен с рукописью и в соответствии с нею в него внесены некоторые поправки.

Маяковская Людмила Владимировна — старшая сестра поэта. Публикуемое послесловие к воспоминаниям А. А. Маяковской подготовлено для настоящего сборника.

Махарадзе (Смольнякова) Нина Прокофьевна — учительница, впоследствии жена видного деятеля Советского государства Ф. И. Махарадзе. Воспоминания публикуются впервые.

Цулукидзе Платон Георгиевич — заслуженный учитель школы Грузинской ССР. В сокращенном виде воспоминания опубликованы в сборнике «Дни и встречи», Тбилиси, 1963 г. Здесь печатаются полностью.

Табидзе Галактион Васильевич — народный поэт Грузии. Воспоминания, представляющие черновой набросок незаконченной работы, печатаются по книге «Дни и встречи».

Табидзе Тициан Иустинович — поэт. Воспоминания печатаются по книге «Дни и встречи».

Киселев Михаил Тихонович — двоюродный брат В. В. Маяковского. Воспоминания публикуются впервые.

Ставраков Христофор Николаевич — заслуженный учитель школы РСФСР. Воспоминания публикуются впервые.

Карахан (Караханов) Иван Богданович — партийный и общественный деятель. Воспоминания публикуются впервые.

Хлестов Николай Иванович — оперный певец и педагог. Воспоминания публикуются впервые.

Каменский Василий Васильевич — поэт. Публикуемые отрывки взяты из его книги «Юность Маяковского», Тифлис, 1931 г.

Аралов Семен Иванович — дипломат. Воспоминания публикуются впервые.

Десницкий Василий Алексеевич — литературовед. Воспоминания печатаются по сборнику «Маяковский», Л., 1940 г.

Симонов Рубен Николаевич — народный артист СССР. Воспоминания подготовлены для настоящего сборника.

Денисовский Николай Федорович — художник. Воспоминания публикуются по «Литературной газете», 1937 г., № 19 (655).

Чиковани Симон Иванович — поэт. Воспоминания печатаются по книге «Дни и встречи».

Леонидзе Георгий Николаевич — народный поэт Грузии. Воспоминания печатаются по книге «Дни и встречи».

Тихонов Николай Семенович — поэт. Воспоминания печатаются по «Литературной газете», 26 марта 1940 г.

Тычина Павел Григорьевич — поэт. Воспоминания печатаются по газете «Сталинское племя», Киев, 19 июля 1953 г.

Мамед Рагим — поэт. Воспоминания печатаются с сокращением по газете «Бакинский рабочий», 19 июля 1953 г.

Хузангай Петр (Педер) Петрович — народный поэт Чувашии. Воспоминания печатаются по газете «Советская Чувашия», Чебоксары, 13 апреля 1955 г.

Ток (Крылов) Александр Иванович — марийский поэт. Воспоминания печатаются по газете «Марийская правда», Йошкар-Ола, 14 апреля 1950 г.

Форш Ольга Дмитриевна — писательница. Воспоминания печатаются по газете «Известия», 5 февраля 1940 г.

Шухаев Василий Иванович — художник, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, профессор Тбилисской академии

художеств; *Шухаева Вера Федоровна* — его жена. Воспоминания печатаются впервые.

Артоболевский Георгий Владимирович — чтец. Воспоминания печатаются в сокращении по журналу «Ленинград», 1940 г., № 4.

Яхонтов Владимир Николаевич — мастер художественного чтения. Воспоминания печатаются по его книге «Театр одного актера», М., 1958 г.

Ратманова-Кольцова Елизавета Николаевна — жена журналиста М. Е. Кольцова. Воспоминания печатаются по журналу «Новый мир», 1961 г., № 4.

Веревкин Борис Иванович — журналист. Воспоминания печатаются по журналу «Смена», 1937 г., № 4.

Потапов Николай Максимович — журналист. Воспоминания печатаются в сокращенном виде по его книге «Встречи без стенограмм», М., 1962 г.

Филиппов Борис Михайлович — общественный деятель. Воспоминания подготовлены для настоящего сборника.

Татарийская Людмила Семеновна — машинистка. Воспоминания публикуются впервые.

Вачнадзе Наталия (Нато) Георгиевна — народная артистка Грузинской ССР. Воспоминания печатаются по книге «Дни и встречи».

Агачева-Нанейшвили Вера Николаевна — двоюродная сестра В. В. Маяковского. Воспоминания публикуются впервые.

Якуб Колас (псевдоним, настоящее имя — Константин Михайлович Мицкевич) — народный поэт Белорусской ССР. Воспоминания печатаются по «Литературной газете» от 14 апреля 1945 года.

Лавинская Елизавета Александровна — художница. Воспоминания написаны незадолго до смерти и не были закончены. Публикуются впервые с небольшими сокращениями.

«Помню Маяковского...» В этом разделе использованы с некоторыми сокращениями следующие публикации:

Ю. Казаров. Помню Маяковского... Газ. «Комсомолец», Ростов-на-Дону, 30 ноября 1963 г.

Ф. Варславан. Две встречи. Газ. «Советская Латвия», 14 апреля 1946 г.

Всеволод Рождественский. Маяковский читает стихи. Из воспоминаний. Газ. «Вечерний Ленинград», 5 июля 1946 г.

Н. Соколова. Выступления поэта. Газ. «Мичуринская правда», Мичуринск, 13 апреля 1953 г.

«Маяковский читает стихи». Газ. «Коммунист», Серпухов, 30 июня 1963 г.

Н. Жоголев. Маяковский в Самаре. Газ. «Волжский комсомолец», Куйбышев, 13 апреля 1955 г.

М. Логвиненко. Друг рабочих. «Рабочая газета», Киев, 19 июня 1958 г.

И. Кривошеев. Встречи с Маяковским. Газ. «За социализм», село Ичалки-Кемля Мордовской АССР, 6—10 апреля 1960 г.

М. Кольчугин. Маяковский в Туле. Газ. «Шахтерская правда», Тула, 13 апреля 1955 г.

Т. Игорева. Маяковский в Курске. Газ. «Курская правда», 13 апреля 1955 г.

Н. Суилин. Выступает Владимир Маяковский. Газ. «Пензенская правда», 17 апреля 1954 г.

Г. Усатенко. Три встречи. Газ. «Адыгейская правда», Майкоп, 19 июля 1963 г.

А. Мочкин. Незабываемая встреча. Газ. «Рабочий край», г. Иваново, 14 апреля 1950 г.

И. Егармин. Маяковский в Свердловске. Газ. «Вечерний Свердловск», 18 июля 1963 г.

С. Шишкин. Маяковский в Вятке. Газ. «Кировская правда», 4 февраля 1948 г.

В. Майорова. Помню Маяковского. Газ. «За коммунистический труд», Раменское Московской обл., 1 августа 1963 г.

Р. Терский. Воспоминания о Маяковском. Газ. «Пролетарская правда», Рига, 13 апреля 1941 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Маяковский в воспоминаниях родных и друзей.
М., «Московский рабочий», 1968.
432 с. 8Р2

Редактор *Н. Далада*
Художественный редактор *П. Зубченков*
Художник *Виктор Иванов*
Технический редактор *Л. Маракасова*
Корректор *К. Андронова*

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, пр. Владимирова, 6.

Л70192. Подписано к печати 20/VI 68 г. Формат бумаги 84 × 108 1/32. Бум. л. 7,0. Печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 21,99. Тираж 75 000. Тем план. 1967 г. № 182. Цена 1 р. 03 к. Зак. 1231.

Типография «Красный пролетарий».

Москва, Краснопролетарская, 16.

